Г Ю Н Т Е Р

Грасс

Луковица памяти

THE BEST OF ИНОСТРАНКА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Гюнтер Грасс, лауреат Нобелевской премии по литературе, завоевал мировую славу полвека назад романом «Жестяной барабан», блистательно экранизированным в 1979 году Ф. Шлендорфом (фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале и «Оскара» как лучший иностранный фильм). Бестселлеры Грасса «Кошка и мышь», «Собачьи годы», «Траектория краба», «Из дневника улитки» переведены на десятки языков. «Луковица памяти» — книга автобиографическая. Рассказывая о своей юности, Грасс не умолчал и о нескольких месяцах службы в войсках СС, что вызвало грандиозный скандал вокруг его имени.

- Гюнтер Грасс
  - Пергамент под пергаментом
  - Инкапсулы
  - Его звали Нельзя-нам-этого
  - Как я страху учился
  - С гостями за столом
  - На земле и под землей
  - Третий голод
  - Как я стал курильщиком
  - Воздух Берлина
  - Пока рак бесшумно…
  - Что мне подарили на свадьбу
  - Феномен Грасса
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26

Гюнтер Грасс
Луковица памяти

Посвящается всем, у кого я учился

Пергамент под пергаментом

В настоящем или прошлом всегда есть соблазн спрятаться за местоимение третьего лица: когда ему было двенадцать лет, а он все еще любил сидеть на коленях у матери, началось и закончилось нечто. Есть ли точная дата у начала и конца? Если речь идет обо мне, то мое детство закончилось на весьма узком пятачке, там же, где я вырос, и произошло это, когда сразу с нескольких сторон полыхнула война. Нельзя было не услышать залпы бортовых орудий линкора и рев пикирующих бомбардировщиков над Новым портом, напротив которого находилась польская военная база Вестерплатте, вдалеке два бронетранспортера прицельно обстреливали Польскую почту в Старом городе, а с буфета «народное радио» — приемник, стоявший в нашей квартире на первом этаже трехэтажного доходного дома на улице Лабесвег в Лангфуре, — отчеканило

фразы, возвестившие об окончании моего детства.

Незабываемо даже точное время суток. С этого времени на аэродроме Вольного города, раскинувшемся возле шоколадной фабрики «Балтик», взлетали и садились не только гражданские самолеты. Из чердачных окон нашего дома был виден черный дым над портом, который усиливался при повторных авианалетах, а потом рассеивался легким северо-западным ветром.

Но стоит ли обращаться к воспоминаниям о далеких орудийных раскатах линкора «Шлезвиг-Гольштейн», практически отслужившего свое ветерана морского сражения при Скагерраке, а впоследствии учебного корабля для кадетов, или о многоголосом вое, издаваемом моторами пикирующих бомбардировщиков, названных так, поскольку при подлете к цели они сваливались набок, закладывали вираж и бросались в пике, открыв бомбовые люки? Всякий раз возникает вопрос: а зачем вообще вспоминать детство, точную дату его окончания, если все, что произошло со мной в промежутке между появлением молочных и постоянных зубов — включая начальную школу, игру в камешки, ссадины на коленках, исповедальные секреты и последующие религиозные сомнения, — однажды попало в рукопись и прилипло к персонажу, который, едва возникнув на бумаге, не пожелал расти, зато обнаружил способность разбивать пронзительным криком стекло, обрел широкую известность благодаря двум палочкам и жестяному барабану и с тех пор обретается под книжным переплетом, позволяя извлекать оттуда цитаты и претендуя на бессмертие на не знаю скольких языках?

А затем, что некоторые воспоминания надо дополнить. Что иногда слишком очевидны пробелы. Что нужно вернуть на место выплеснутого с водой ребенка. Что какие-то вещи понимаешь лишь задним умом: подстилаешь соломку там, где уже упал, сознаешь причину своего безудержного роста, разговариваешь с утраченными предметами. И еще одна причина: я хочу сохранить за собой последнее слово.

Воспоминания любят по-детски играть в прятки. Таятся. Склонны к лести и прикрасам, часто безо всякой на то нужды. Препираются со сварливой памятью, которая с мелочным педантизмом пытается доказать свою правоту.

Память, если донимать ее вопросами, уподобляется луковице: при чистке обнаруживаются письмена, которые можно читать — букву за буквой. Только смысл редко бывает однозначным, а письмена выполнены зеркальным шрифтом или еще как-нибудь зашифрованы.

Под первой, сухо шуршащей пергаментной кожицей находится следующая, которая, едва отслоившись, открывает влажную третью, под ней, перешептываясь, ждут свой черед четвертая, пятая… И на каждой пленочке проступают давно хранившиеся слова или витиеватые знаки, будто некий тайнописец начертал их тогда, когда луковица еще только нарождалась.

Сразу возникает тщеславное желание разгадать эти закорючки, взломать секретный код. И вот уже опровергается то, что еще недавно претендовало на правду: ведь ложь и ее младшая сестра подделка составляют наиболее устойчивую часть воспоминаний; если записать их на бумаге, они выглядят достоверными и не скупятся на подробности, убеждающие своей фотографической точностью: разогретый июльским солнцем толь на крыше сарая во дворике нашего дома пахнет в безветренные дни солодовыми леденцами…

Моющийся целлулоидный воротничок фройляйн Шполленхауэр, учительницы моей начальной школы, стискивает ее горло так туго, что шею морщинят складки…

Банты-пропеллеры у девочек, гуляющих на сопотском променаде под бойкие мелодии полицейского оркестра…

Мой первый белый гриб…

Когда из-за жары отменили школьные занятия…

Когда у меня вновь распухли гланды…

Когда на языке вертелся вопрос, но так и не был задан…

У луковицы не одна пергаментная кожица. Их много. Снимешь одну — появляется новая. Если луковицу разрезать, потекут слезы. Луковица говорит правду только при чистке.

Все, что случилось со мной — и в детстве, и после, — подсовывает мне под нос факты, оказывается хуже, чем хотелось бы, и требует, чтобы о нем рассказывали то так, то эдак, подбивая меня на небылицы.

Когда поздним летом, после многих дней прекрасной погоды в Данциге и его окрестностях разразилась война, когда после семидневной обороны польские защитники Вестерплатте капитулировали, в Новом порту, куда можно было быстро доехать на трамвае через Заспе и Брёзен, я насобирал пригоршню осколков от бомб и снарядов, чтобы мальчуган, которым, похоже, был я в ту пору, пока война, казалось, состояла из одних лишь экстренных информационных сообщений по радио, мог поменять эти осколки на почтовые марки, разноцветные картинки из сигаретных пачек, зачитанные или новенькие книжки, среди которых была, например, книга Свена Хедина о путешествии в

пустыню Гоби, и еще на всякую всячину.

Неточные воспоминания иногда приближают к правде, пусть даже окольными путями и всего лишь на длину спички.

Чаще всего мои воспоминания отталкиваются от каких-то определенных вещей, от которых, скажем, на коленях ноют давние ссадины или во рту возникает тошнотворный привкус гари: кафельная печка… Стойки для выбивания ковров на заднем дворе… Туалет на промежуточной площадке между лестничными маршами и двумя этажами… Чемодан, найденный на чердаке… Кусок янтаря величиной с голубиное яйцо…

Кто помнит, каким был на ощупь материнский гребень, как отец в жару завязывал четырьмя узелками носовой платок, чтобы прикрыть голову, или что можно было выменять на осколок от бомбы и снаряда, тому приходят на ум — пусть даже в качестве забавных отговорок — истории более правдивые, чем сама жизнь.

Картинки, которые я, будучи ребенком, а затем подростком, не без усердия коллекционировал, рассылались в обмен на купоны из сигаретных пачек; закончив работу за прилавком, мама доставала вечером из пачки свою «сигаретку», чтобы выкурить ее с рюмкой «Куантро», считая подобный грешок вполне простительным.

Мне нравилось собирать эти цветные репродукции, знакомившие с историей европейской живописи. Довольно рано я узнал имена Джорджоне, Мантеньи, Боттичелли, Гирландайо и Караваджо, хотя произносил их порой неверно. Голая спина женщины, лежащей перед зеркалом, которое держит крылатый мальчуган, с самого детства связана для меня с именем Веласкеса. Из «Поющих ангелов» Яна ван Эйка мне больше всего запомнился профиль последнего ангела — хотелось иметь такие же кудрявые локоны, как у него или у Альбрехта Дюрера. Его автопортрет, висевший в мадридском Прадо, вызывал вопросы: почему Дюрер изобразил себя в перчатках? Почему на нем такой странный колпак и почему правый рукав-«фонарик» отделан внизу темной продольной полосой? Отчего художник столь уверен в себе? Зачем под нарисованным подоконником указан возраст — двадцать шесть лет?

Сегодня я знаю, что эти замечательные репродукции в обмен на купоны высылало агентство табачной фирмы, обосновавшейся в Гамбургском районе Баренфельд; у этого же агентства можно было заказать и специальные квадратные альбомы для них. Благодаря моему нынешнему любекскому галеристу, который содержит антикварный и букинистический магазин на Кёнигсштрассе, я вновь стал обладателем всех трех альбомов, а потому мне доподлинно известно, что тираж альбома,

посвященного искусству Ренессанса, достиг к тридцать восьмому году четырехсот пятидесяти тысяч экземпляров.

Листая страницу за страницей, я вижу, как сижу в комнате за столом и вклеиваю репродукции в альбом. На сей раз это картины художников позднего Средневековья, среди них — «Искушение святого Антония» Иеронима Босха: Антоний окружен человекообразным зверьем. Едва из фирменного желтого тюбика «Уху» выдавливается капелька клея, начинается священнодействие.

Должно быть, в ту пору многим коллекционерам, страстным любителям искусства, пришлось сделаться заядлыми курильщиками. Мне же купоны перепадали от тех курильщиков, которым они не были нужны. Репродукций накапливалось все больше, я их собирал, выменивал, наклеивал в альбом, мое сокровище разрасталось; поначалу я обращался с ним по-детски беспечно, но со временем — все бережнее. Мне, двенадцатилетнему мальчику, мерещилось, как я, вроде ангела на картине Пармиджанино, льну к правому колену высокой и тонкой Мадонны, чья головка-бутон возвышается над колоннадой на заднем плане, устремленной к небесам.

Я жил внутри этих картин. А поскольку я упорно стремился собрать полный комплект репродукций, мама снабжала меня не только купонами из небольшого количества выкуриваемых ею сигарет — она предпочитала марку «Ориент» с золотым ободком, — но и добавляла к ним купоны тех покупателей, которые хотели оказать ей любезность и которых совершенно не интересовало искусство. Иногда вожделенные купоны привозил отец из поездок за товарами для своей лавки колониальных товаров. Подмастерья моего деда, владевшего столярной мастерской, также прилежно курили на благо моей коллекции. Альбомы с пробелами между столбцов пояснительного текста, куда надлежало вклеивать иллюстрации, мне дарили, видимо, на Рождество или дни рождения.

Наконец, я стал обладателем всех трех альбомов, которые берег как величайшую драгоценность. Синий альбом представлял живопись готики и раннего Ренессанса, красный был посвящен Высокому Возрождению, а желто-золотой — искусству барокко; последний оставался, к сожалению, неполным. Пробелы существовали там, где отводилось место Рубенсу и ван Эйку. Новые поступления репродукций прекратились. С началом войны иссяк приток купонов. Гражданские лица превратились в солдат, куривших свои «Р-6» или «Юно» вдалеке от родного дома. Извозчик «Акционерной пивоварни», регулярно снабжавший меня купонами, погиб в боях за крепость Молдин. К тому же появились

другие серии: картинки с животными, цветами, изображениями великих событий немецкой истории, загримированными лицами популярных киноактеров.

С началом войны каждой семье стали выдавать продуктовые карточки, затем были наложены ограничения на потребление табачной продукции. Но, благодаря сигаретной фирме «Реемтсма», солидная основа моей познавательной художественно-исторической коллекции была заложена еще в довоенные годы, поэтому введение карточной системы не слишком больно ударило по моему собранию. Кое-какие пробелы удалось восполнить. Например, одну из двух рафаэлевских Мадонн из Дрезденской картинной галереи я обменял на амура кисти Караваджо; впрочем, эта сделка оправдала себя лишь позднее.

Уже в десять лет я мог с первого взгляда отличить Ханса Бальдунга по прозвищу Грин от Матиаса Грюневальда, Франса Халса от Рембрандта и Филиппо Липпи от Чимабуэ.

Кто написал «Богоматерь в беседке из роз»? А «Мадонну с синим платком, яблоком и ребенком»?

Я просил маму, чтобы она, прикрыв двумя пальцами название картины и фамилию художника, проэкзаменовала меня; ответы всегда оказывались верными.

В этой занимательной угадайке, да и в школе, если речь шла об искусстве, я всегда был отличником; правда, с пятого класса, когда в учебной программе появились математика, физика и химия, я безнадежно отстал; устный счет давался мне легко, но вот решить на бумаге уравнение с двумя неизвестными получалось редко. До шестого класса меня держали на плаву отличные и хорошие отметки по немецкому, английскому, истории и географии. Не раз я удостаивался похвал за рисунки карандашом, акварелью и тушью, выполненные с натуры или без таковой; но когда в седьмом классе мне поставили «неуд» за латынь, пришлось вместе с другими второгодниками пережевывать всю программу снова. Это больше беспокоило моих родителей, чем меня самого, поскольку я с детских лет предпочитал витать в облаках.

Моих внуков, которые огорчаются сегодня из-за плохих отметок или страдают из-за беспомощной суеты учителей, вряд ли утешит призна-, ние деда, что сам он был отчасти ленивым, отчасти честолюбивым, но в общем-то неважным учеником. Они стонут, будто им приходится нести на себе тяжкое бремя педагогики, будто их школа превратилась в каторгу, будто необходимость учебы лишает их сладчайших грез; а вот в мои

сны школьные стрессы никогда не вторгались ночными кошмарами.

Когда я был совсем маленьким, еще не носил красную гимназическую фуражку и не коллекционировал цветные картинки, то в летнюю пору, которая казалась бесконечной, я любил строить на пляжах, каких было много на берегах Данцигского залива, замки из сырого песка — с высокими крепостными стенами и башнями, населенные фигурами, которые порождала моя фантазия. Море снова и снова смывало песочные постройки. Бесшумно рушились высокие башни. Мокрый песок уходил меж пальцев.

«Песочный город» — так называлось длинное стихотворение, написанное в шестидесятые годы, когда я, сорокалетний отец троих сыновей и одной дочери, вроде бы обрел прочное социальное положение; подобно герою своего первого романа, автор сделал себе имя, упрятав собственное удвоенное «я» в книги, отданные рынку.

Стихотворение повествует о родном крае, о шумах Балтики и задается вопросом: «Родился — где и когда, почему?» Поток незаконченных фраз обращается к памяти за тем, что утрачено, словно в бюро находок: «Чайки — вовсе не чайки, а…»

Стихотворение о ранних годах моей жизни меж иконой Святого Духа и портретом Гитлера, о начале войны, памятками которого стали осколки снарядов и орудийный огонь, кончалось тем, что детство мое убежало, как песок. Лишь Балтика продолжает шуметь по-немецки, по-польски: блубб, пфф, пшшш…

Войне исполнилось всего несколько дней, когда дядя Франц, мамин кузен, служивший почтальоном и потому участвовавший в обороне Польской почты, вскоре после окончания непродолжительного боя был расстрелян по приговору военно-полевого суда вместе почти со всеми уцелевшими ее защитниками. Судья, который вынес, огласил и подписал смертный приговор, еще долгие годы после войны продолжал спокойно работать судьей в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, вынося и подписывая новые приговоры. Это было вполне в порядке вещей для времен канцлера Аденауэра, казавшихся нескончаемыми.

Позднее, используя вымышленные имена героев и эпический стиль, я рассказал об обороне Польской почты, многословно описал, как обрушился карточный домик; а вот в нашей семье ни единым словом не вспоминали неожиданно пропавшего дядю, которого, несмотря на все политические перипетии, у нас любили

и который часто приходил по воскресеньям в гости к родителям вместе со своими детьми Ирмгард, Грегором, Магдой и маленьким Казимиром на чашку кофе с пирожным или заглядывал вечерком перекинуться в картишки. Его имя забыли, будто дяди никогда и не было на свете, будто все, что касалось его самого и его семьи, нельзя произносить вслух.

Тягучий говор кашубской родни с материнской стороны тоже почему-то — почему? — умолк.

И хотя с началом войны мое детство закончилось, я не пытался задавать вопросы.

А может, я как раз потому не задавал вопросы, что перестал быть ребенком?

Неужели только дети, как в сказке, способны задавать правильные вопросы?

Об этом позоре, который все тщится стать незаметным, можно прочесть на шестой или седьмой пергаментной кожице той обычной, всегда имеющейся под рукой луковицы, которая оживляет память. Вот я и пишу о позоре, о стыде, что ковыляет за ним следом. Редкие слова, их выговариваешь задним числом, пока мой взгляд — то снисходительный, то вновь суровый — продолжает изучать мальчугана, которому любопытно все, что от него скрывают, и который в то же время не решается спросить: «Почему?»

И пока двенадцатилетний мальчуган подвергается допросу с пристрастием, без скидок на возраст, я взвешиваю в стремительно убегающем настоящем каждый шаг по лестничным ступенькам, слышу собственную одышку и кашель, двигаясь — жизнерадостно, елико возможно, — навстречу смерти.

Расстрелянный дядя Франц Краузе оставил жену и четверых детей, которые были моими ровесниками, чуть старше или двумя-тремя годами моложе. Играть с ними больше не разрешалось. Им пришлось освободить служебную квартиру на Брабанке, в Старом городе, и переехать в сельскую местность между Цукау и Рамкау, где у матери имелся клочок земли с хибаркой. Там, в холмистой Кашубии, дети почтальона, которых донимают обычные старческие недуги, ютятся по сей день. У них — иные воспоминания. Им не хватало отца, а мне, наоборот, отец досаждал тем, что был рядом в нашей тесной квартире.

Служащий Польской почты был робким человеком и заботливым семьянином, совсем непригодным к тому, чтобы пасть смертью героя, чье переиначенное имя: Франтишек Крауз — увековечено на мемориальной плите из бронзы.

В марте пятьдесят восьмого, выхлопотав после некоторых

сложностей польскую визу, я отправился из Парижа через Варшаву в Гданьск, чтобы среди растущего из руин города отыскать следы бывшего Данцига; там я разглядывал сохранившиеся фасады домов, гулял по берегу в Брёзене, сидел в городской библиотеке, побывал в уцелевшей школе имени Песталоцци и вдоволь наслушался двух выживших почтовых служащих, наговорился с ними, после чего поехал в деревню к оставшимся родственникам. Там, в крестьянской хибаре, меня встретила мать расстрелянного почтальона, моя двоюродная бабка Анна, и произнесла нечто неопровержимое: «Ну, Гюнтерхен, совсем большой стал…»

Но сначала мне пришлось развеять ее сомнения, даже предъявить паспорт, до того чужими оказались мы друг другу — воистину два иностранца. Зато потом она отвела меня на картофельное поле, которое сегодня заняла взлетно-посадочная полоса гданьского аэродрома.

Летом следующего года война приобрела мировые масштабы, поэтому мы, старшеклассники, проводя летние каникулы на балтийском пляже, болтали уже не о местных новостях, а уносились далеко за границу; разговоры вертелись почти исключительно вокруг оккупации Норвегии нашей армией, а раньше — вплоть до июля — экстренные информационные выпуски сообщали о ходе французской кампании и о завершении «блицкрига» капитуляцией заклятого врага: Роттердам, Антверпен, Дюнкерк, Париж, Атлантическое побережье… Так продвижение немецких войск расширяло нашу школьную географию: прорыв за прорывом, победа за победой.

Перед купанием или после него мы продолжали с восторгом говорить о «героях Нарвика». Мы валялись на песке, загорали в семейной купальне, однако больше всего на свете хотели очутиться там, на Крайнем Севере, чтобы сражаться среди фьордов. Мы мечтали покрыть себя славой, а вместо этого изнывали от каникулярной скуки, намазываясь пахучим кремом «Нивеа».

Мы толковали о героизме нашего военно-морского флота, о слабаках-англичанах и снова о наших, потому что кое-кто, в том числе и я, собирался года через три-четыре, если война не кончится, пойти на флот — лучше всего в подводники. Лежа в плавках, мы состязались в перечислении великих побед на море от Веддинга и его подлодки «U-9» в годы Первой мировой войны до капитан-лейтенанта Прина, затопившего британский линкор «Ройял оук», после чего опять воодушевлялись «трудной победой» в сражении под Нарвиком.

И тут один из мальчиков — его звали Вольфганг Хайнрихс, он с удовольствием и очень здорово исполнял баллады, а если попросить, то мог спеть даже оперную арию; вот только левая рука была у него повреждена, отчего мы ему сочувствовали, так как он считался «негодным» к службе на флоте, — внятно произнес: «Ерунду городите!»

Затем мой школьный товарищ — а он и правда со мной учился, — загибая пальцы здоровой руки, начал перечислять наши эсминцы, потопленные или серьезно поврежденные под Нарвиком. Едва ли не профессионально владея предметом, он оперировал точными данными, рассказал, например, что один боевой корабль водоизмещением в тысячу восемьсот тонн — он привел и название судна — пришлось посадить на мель. Пальцев здоровой руки не хватило.

Он знал мельчайшие тактико-технические подробности, вплоть до вооружения и количества узлов у английского дредноута «Уорспайт»; впрочем, и мы, дети портового города, могли назубок отбарабанить характеристики как своих, так и вражеских кораблей: водоизмещение, численность экипажа, количество и калибр орудий, наличие торпедных аппаратов, год спуска на воду. Тем не менее его осведомленность о сражении под Нарвиком нас поразила, поскольку он знал гораздо больше, чем можно было почерпнуть из каждодневных сводок, которые передавались по радио.

«Ни черта вы не знаете, что там было на самом деле. Тяжелые потери. Очень тяжелые!»

Несмотря на наше изумление, никто не возразил, и вопросов, откуда ему все это так доподлинно известно, мы не задавали — я не задавал.

Спустя полвека, когда обозначились первые последствия наспех свершившегося «объединения Германии», мы посетили родину моей жены Уты, свободный от автомобилей остров Хиддензее. Он вытянулся неподалеку от берега присоединенной Восточной Германии, уютно расположившись между морем и «бодденом», то есть морским мелководьем, поэтому угрожают острову не столько сильные штормы и вызванные ими наводнения, сколько разлившиеся повсеместно потоки туристов.

После долгой прогулки по окрестным лугам мы заглянули в Нойендорф, чтобы навестить друга детских лет моей жены — Мартина Груна, который некогда отважился на побег из ГДР в Швецию на надувной лодке, однако через несколько лет вернулся в рабоче-крестьянское государство, вышел на пенсию и угомонился. Сейчас он выглядит настолько домашним,

привязанным к насиженному месту, что ни за что не подумаешь, будто он способен на авантюры.

За кофе с пирожным мы болтали о том о сем: о его менеджерской карьере на Западе, о многочисленных командировках от концерна «Крупп» в Индию, Австралию и так далее. Он поведал о неудачной попытке создать совместное восточно-западное предприятие и о том, что теперь он отдает все свое время последнему увлечению — вершевой рыбалке в прибрежных водах.

Затем довольный, судя по всему, жизнью «возвращенец» вспомнил знакомого, который живет в Фитте, одной из трех деревень острова, и который упорно твердит, что, мол, когда-то был в Данциге моим одноклассником. Фамилия его — Хайнрихс, имя — Вольфганг.

После моих уточняющих расспросов подтвердилось, что у этого знакомого повреждена левая рука и что он хорошо поет: «Да, поет до сих пор, хотя теперь все реже».

Потом они с Утой перешли к местным историям, где живые и мертвые общались друг с другом на здешнем диалекте. Мартин Грун, исполнивший свое юношеское желание повидать мир, не без гордости показал нам диковинные маски, пестрые ковры, деревянные украшения, развешенные на стенах. Напоследок мы выпили по рюмке шнапса.

Вернувшись по лугам в Фитте, Ута и я разыскали там стоящий за дюной дом, где жил Хайнрихс с женой. Дверь открыл высокий грузный мужчина, страдающий одышкой; опознавательной приметой служила для меня искалеченная рука. Чуть помедлив, бывшие одноклассники растроганно обнялись.

Потом мы сидели на веранде, старались выглядеть бодрыми и веселыми, а позже отправились в ресторан, где вчетвером ели рыбу — жареную камбалу. Спеть — например, «Лесного царя», как это бывало раньше, — он не захотел. Но понадобилось совсем немного времени, чтобы мы вернулись к пляжному разговору, который состоялся летом сорокового года и оставил у меня незаданные вопросы.

Теперь мне хотелось получить запоздалый ответ: «Почему ты знал больше нас и сказал, что мы ерунду городим? Откуда тебе стало известно точное количество немецких судов, затопленных или поврежденных под Нарвиком? Например, что устаревшая береговая артиллерия норвежцев несколькими прямыми попаданиями потопила тяжелый крейсер „Блюхер“, да еще в Осло-фьорде по нему выпустили — причем тоже с берега — две торпеды?»

На мрачноватом лице Хайнрихса наметилось подобие улыбки. Он поведал, как отец отлупил его дома за рассказ о нашей глупости и неосведомленности. Подобное бахвальство могло плохо кончиться. Доносчиков хватало, в том числе среди гимназистов. Отец каждый вечер слушал вражескую британскую радиостанцию, а потом под строжайшим секретом передавал содержание передач сыну.

«Верно! — сказал он. — Отец был настоящий антифашист, а не самозванец, которых потом столько появилось». Он произнес это таким тоном, будто и сам принадлежал к их числу.

И тут я услышал историю о хождениях по мукам, которая была изложена сдавленным голосом и когда-то прошла мимо меня, потому что я не задавал лишних вопросов, не спрашивал даже тогда, когда Вольфганг Хайнрихс исчез, неожиданно перестал приходить в школу, в нашу достопочтенную гимназию «Конрадинум».

Вскоре после летних каникул, когда из наших волос еще не высыпались песчинки, наш школьный товарищ куда-то подевался, хотя вроде бы никто и не заметил его отсутствия, только кто-то бросил мимоходом: «Пропал без вести», а я опять поперхнулся вопросом «Почему?», не посмев произнести его вслух.

И вот теперь я услышал: за отцом Хайнрихса, бывшим во времена Вольного города депутатом ландтага от Независимой социал-демократической партии Германии и схлестнувшимся в городском сенате с тогдашними партийными боссами Раушнингом и Грайзером, которые сформировали коалиционное правительство из нацистов и Немецкой национальной народной партии, установили слежку, а в начале осени его арестовало гестапо. Он попал в концентрационный лагерь, созданный — вскоре после присоединения Данцига к Рейху — на берегу залива Фриш-Хаф; назывался лагерь по имени соседней рыбацкой деревушки — Штутхоф. От Вердеровского вокзала в Данциге туда можно было отправиться по узкоколейке до Шивенхорста, а дальше — на пароме через Вислу; все это занимало не больше трех часов.

После ареста отца мать решилась на самоубийство. Вольфганга с сестрой отослали к бабушке в деревню, так что одноклассники забыли о нем. Из концлагеря отец попал на фронт, где штрафников использовали на саперных работах по разминированию. Такие «команды смертников» несли очень высокие потери, зато давали возможность перебежать к русским.

Когда в марте сорок пятого 2-й Белорусский фронт взял Данциг, представлявший собой груду обгоревших развалин, туда вместе с вошедшими победителями вернулся отец моего

школьного друга. Он искал и нашел своих детей, а вскоре после окончания войны покинул с ними Польшу в поезде, безопасность которого обеспечивала охрана, так как на нем ехали немецкие антифашисты; местом будущего проживания для уцелевших членов семьи был избран портовый город Штральзунд в советской оккупационной зоне.

Отца назначили директором ландтага. Сохранив свои политические взгляды, несмотря на лагерное промывание мозгов, он сразу же основал местное отделение социал-демократической партии, куда пошли люди; но после насильственного объединения социал-демократов и коммунистов в СЕПГ у отца начались проблемы. Он сопротивлялся решению, принятому наверху. На него давили, пугали арестом, намекали на концентрационный лагерь Бухенвальд, наполнившийся теперь новыми заключенными.

Отца Хайнрихса ожесточило отношение товарищей, а через несколько лет он умер. Сын же, закончив школу, вместе со своим одноклассником Мартином Груном поехал учиться дальше в Росток и вскоре стал заниматься экономической наукой, в то время как Грун, совершивший побег на весельной лодке, изучал экономику сначала в университете Лунда, а потом в Гамбурге у Карла Шиллера; Хайнрихс сделал карьеру во всемогущей партии, благополучно пережив все перемены ее курса, даже вираж от Ульбрихта к Хонеккеру. С годами он дорос до поста директора Института экономики при Академии наук, заняв тем самым столь высокую должность, что, едва Стена пала и диктатура рабоче-крестьянского государства прекратила свое существование, исторические победители из Западной Германии сразу же сочли необходимым провести переаттестацию Хайнрихса, то есть выкинуть его на улицу.

Так произошло со многими, чья биография была признана неправильной; люди с правильной биографией всегда знали, какую признать неправильной.

Когда мы встретились с моим школьным другом в Фитте, он уже был тяжело болен. Его жена намекнула, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем: теснит грудь, одышка. Однако, по ее словам, он время от времени подрабатывал в Штральзунде налоговым консультантом, научившись отыскивать лазейки в законодательстве.

По немецким меркам неудачник, Вольфганг Хайнрихс умер через несколько месяцев после нашей встречи от легочной эмболии, но остался в памяти школьным другом моих юных лет — на выпускном вечере он исполнил балладу «Часы» Карла Леве, да и в военно-морских делах разбирался лучше одноклассников, а

я довольствовался полузнанием или ложным знанием, был по-детски глуп, молча воспринял его исчезновение, не решился спросить «почему», и теперь, когда я снимаю с луковицы одну пергаментную кожицу за другой, тогдашнее молчание гулко звенит у меня в ушах.

Признаться, эта боль не слишком мучительна. Но сожалеть о том, что Вольфгангу Хайнрихсу повезло с отцом — он оказался стойким, а мой — стал членом национал-социалистической партии в тридцать шестом году, когда к вступлению принуждали еще не слишком сильно, было бы нелепо, к тому же мой внутренний голос обычно ехидно посмеивается, когда слышатся подобные отговорки: «Если бы мы тогда… Если бы нам тогда…» Но никаких «если» не случилось..

Пропал мой дядя, исчез школьный друг. Зато ясно и отчетливо мне видится мальчуган, которого я и ищу, — видится там, где творилось ужасное. Примерно за год до начала войны. Погром — среди белого дня, при свете пожара.

Когда вскоре после моего одиннадцатого дня рождения в Данциге и других местах загорелись синагоги, а от булыжников стали вдребезги разлетаться витрины магазинов, я сам в погроме не участвовал, но был любопытным зрителем и видел, как неподалеку от моей гимназии «Конрадинум» на улице Михаэлисвег толпа молодчиков из СА разграбила, осквернила и подожгла лангфурскую синагогу. У меня, ставшего очевидцем этой шумной акции, на которую невозмутимо и безучастно взирала полиция (возможно, потому, что огонь толком не разгорался и настоящего пожара не получилось), все это вызвало лишь некоторое удивление.

Не более того. Сколько бы я ни ворошил опавшую листву моих воспоминаний, увы, не находится ничего, что послужило бы мне оправданием. Похоже, мои детские годы не были омрачены сомнениями. Скорее, я легко поддавался соблазну всего того, что повседневный быт предлагал в качестве увлекательных примет «новой эры».

Таких примет было много, они вызывали живейший интерес. В спортивных радиорепортажах и кинохронике побеждал боксер Макс Шмелинг. Перед универмагом «Штернфельд» звенели мелочью кружки сборщиков пожертвований на «зимнюю помощь»: «Никто не будет голодать! Никто не будет мерзнуть!» Немецкие автогонщики — например, Бернд Роземайер — были самыми быстрыми на своих «Серебряных стрелах». Проплывающие над городом дирижабли «Граф Цеппелин» и «Гинденбург» появлялись на глянцевых почтовых открытках. В еженедельных киножурналах

показывали, как наш «Легион Кондор» с помощью новейшего оружия освобождал Испанию от «красной угрозы». На школьном дворе мы играли в осаду Алькасара. А несколькими месяцами раньше мы восторженно следили за дождем золотых медалей на Олимпийских играх. Позднее нашим кумиром стал бегун на средние дистанции Рудольф Харбиг. В киножурналах Германский рейх сиял под лучами прожекторов.

Еще в последние годы Вольного города — мне было десять — мальчик с моими именем и фамилией вполне добровольно вступил в «Юнгфольк», детскую организацию, которая являлась подготовительной ступенью для «Гитлерюгенда». Нас называли «волчатами». Я попросил, чтобы на Рождество мне подарили форму с пилоткой, галстуком, ремнем и портупеей.

Не скажу, что я был особенно активен, рвался носить вымпел, выступать с трибуны или хотел стать командиром отряда, с аксельбантами, но во всех мероприятиях участвовал охотно, хотя мне действовали на нервы вечное распевание маршей и тупая дробь барабанов.

Привлекала не только форма. Привлекательному девизу «Молодежью должны руководить молодые!» соответствовали и сами проводимые мероприятия: палаточные лагеря, военно-спортивные игры, костры среди валунов, которыми в холмистых окрестностях на юге города отделили круглую площадку для проведения больших торжественных сборов-«тингов», праздник летнего солнцестояния под звездным небом, зоря на лужайке, открытой на восток. Мы пели с таким энтузиазмом, будто наше пение возвеличивало Рейх все больше и больше.

Командиром моего отряда был парень из рабочей семьи, проживавшей в поселке Новая Шотландия. Отличный парень, старше меня года на два, не больше, смышленый, еще и ходить на руках умел. Я восхищался им, смеялся, когда смеялся он, бегал за ним по пятам, слушался во всем.

Все это тянуло меня прочь от косного мещанского быта, от семейных обязанностей, от отца, от болтливых клиентов перед прилавком, от тесноты двухкомнатной квартиры, где в моем личном распоряжении находилась лишь небольшая ниша под подоконником правого окна в гостиной — узкое пространство, которым приходилось довольствоваться.

Там, на полках, стояли книги и альбом, куда я вклеивал репродукции. Там нашли свое пристанище пластилин, из которого я лепил свои первые фигурки, блокнот фирмы «Пеликан» с рисовальной бумагой, ящичек с гуашью двенадцати цветов, довольно случайная коллекция марок, всякая всячина и тайные тетради с моей писаниной.

Оглядываясь назад, я немногое вижу так отчетливо, как эту нишу под подоконником, которая годами служила моим прибежищем; сестре Вальтраут, которая была на три года младше, отводилась левая ниша.

Следует, пожалуй, заметить, что я был не только «волчонком», не только маршировал и распевал «Наше знамя реет впереди», но и любил посидеть, повозиться в нише со своими сокровищами. Даже в общем строю я оставался одиночкой, чем, однако, не привлекал к себе особого внимания; шагая в ногу со всеми, я витал мыслями где-то далеко.

Из начальной школы я перешел в гимназию «Конрадинум». Отдать меня туда решили родители; я носил традиционную красную фуражку, украшенную золотой литерой «С», мог гордиться и хвастать тем, что являюсь учеником этого достопочтенного заведения; родители платили за это деньги, достававшиеся немалым трудом, — не помню, какой была плата, но для семьи она оказалась ежемесячным бременем, хотя сын знал о нем только по намекам.

Дела в лавке колониальных товаров, откуда узкий, похожий на кишку коридор вел к двери нашей квартиры и где умело хозяйничала моя мать Хелена Грасс, а мой отец Вильгельм (его называли Вилли) декорировал витрину, договаривался с оптовиками, надписывал ценники, — шли так себе, а то и вовсе плохо. Во времена, когда платежным средством служил «данцигский гульден», торговлю осложняли таможенные ограничения. На каждом углу работали конкуренты. Чтобы получить разрешение на продажу дополнительного количества молока, сметаны, масла и творога, пришлось пожертвовать доброй половиной кухни; взамен осталась каморка без окон, но с газовой плитой и холодильным шкафом. Все больше клиентов переманивала сеть магазинов «Кайзерс Каффее». Поставки осуществлялись лишь после своевременной оплаты всех прежних счетов. Зато чересчур много клиентов хотели покупать в долг. Особенно любили покупки в кредит жены чиновников таможни, почты или полиции. Они клянчили, торговались, выпрашивали скидку. Каждую субботу, закрыв лавку, родители подводили итог: «Опять почти без выручки».

Мне следовало бы понять, что у мамы попросту нет возможности еженедельно выдавать мне деньги на карманные расходы. Когда мое нытье ей надоело — одноклассникам родители на карманные деньги не скупились, — она сунула мне потрепанную тетрадку, где записывались долги всех клиентов, которые, по словам матери, «жили взаймы». Как сейчас вижу

перед собой эту тетрадку, открываю ее.

Аккуратным почерком в ней записаны фамилии, адреса, а также — с точностью до последнего пфеннига — суммы задолженностей, иногда ненадолго снижающиеся, но потом неизменно вновь растущие: бухгалтерия добросовестной хозяйки, у которой есть все основания беспокоиться за судьбу своей лавки, и одновременно зеркало, отражающее общее положение дел в экономике из-за усилившейся безработицы.

«В понедельник заявятся посредники от поставщиков, им нужна наличность», — постоянно твердила мама. Однако она никогда не попрекала ни сына, ни позднее дочку деньгами, которые приходилось платить за учебу, никогда не корила словами вроде: «Я жертвую собой ради вас. А что взамен?»

Когда мы с сестрой ссорились чересчур шумно, мама, которой не хватало времени на все тонкости воспитания с учетом отдаленных педагогических последствий, извинялась перед покупателями: «Минутку!», прибегала из лавки, но никогда не спрашивала: «Кто первый начал?», а молча отвешивала обоим по затрещине, после чего с приветливой миной возвращалась к покупателям; она, ласковая, добрая, готовая сентиментально всплакнуть, она, склонная помечтать в редкую минуту досуга и все, что ей нравилось, называвшая «таким романтичным», она, заботливейшая из матерей, вручила однажды сыну потрепанную тетрадку и предложила пять процентов от каждого гульдена и пфеннига тех долгов, которые мне удастся взыскать с должника одной лишь силой красноречия, — а ее мне было не занимать! — с этим испещренным цифрами реестром мне предстояло вечером или в другое время, свободное от занятий в «Юнгфольке», которые мама считала детскими глупостями, обходить должников, дабы требовать от них если не полного погашения, то хотя бы частичной выплаты накопившегося кредита.

Мама посоветовала мне уделить особое внимание вечерним часам определенного дня недели: «Жалованье платят по пятницам, тут уж иди по домам и бери деньги».

Так в десять или одиннадцать лет, учась в пятом или шестом классе, я сделался не только ушлым, но и вполне успешным сборщиком долгов. От меня нельзя было отделаться яблочком или дешевой конфеткой. Я находил слова, способные пронять должника. Слух мой не внимал елейным увещеваниям. Если дверь пытались захлопнуть, я просовывал в щель башмак. По пятницам я проявлял особую настойчивость, напоминая, что должнику как раз выплатили жалованье. Даже воскресенья не были для меня святы. А на малых и больших каникулах я работал целыми днями.

Вскоре я начал сдавать матери такие суммы, что она из педагогических соображений урезала мою долю с пяти процентов до трех. Я поканючил, но вынужден был согласиться. А она сказала: «Чтоб не зарывался!»

В конце концов, денег у меня набиралось побольше, чем у одноклассников, живших на улицах Упхагенвег или Штеффенсвег, в виллах под крышами из двойных рядов черепицы, с колоннадами, балконными террасами и отдельным входом для прислуги, — отцы их были адвокаты, врачи, торговцы зерном, даже фабриканты и судовладельцы. Мои доходы хранились в жестянке из-под табака, спрятанной в нише под подоконником. Я покупал про запас блокноты для рисования и книги, приобрел несколько томов бремовской «Жизни животных». Страстному любителю кино теперь был доступен любой кинотеатр в Старом городе, хватало денег даже на то, чтобы добраться до «Рокси» в дворцовом парке Оливы, заплатив еще и за проезд на трамвае в оба конца. Я не пропускал ни одной новой кинокартины.

Тогда, во времена Вольного города, перед художественным фильмом еще показывали хроникальный журнал «Фокс — Еженедельное звуковое кинообозрение». Меня восхищал Гарри Пиль. Я хохотал над Толстым и Тонким — Оливером Харди и Стэном Лорелом. Золотоискатель Чарли Чаплин съедал ботинок вместе со шнурками. Звезда американских детских фильмов Ширли Темпл казалась мне глупенькой и не слишком привлекательной. У меня хватило денег, чтобы несколько раз посмотреть немой фильм с Бастером Китоном, чьи комические трюки настраивали меня на грустный лад и чья печальная физиономия вызывала у меня смех.

Когда это произошло, на мамин день рождения или в День матери? Во всяком случае, у меня еще до войны появилась мысль подарить ей нечто особенное, импортное. Я долго размышлял перед витриной, наслаждался муками выбора, колебался между овальным хрустальным блюдом в универмаге «Штернфельд» и электроутюгом.

Наконец победило изящное изделие фирмы «Сименс», насчет цены которого мать устроила мне строгий допрос, чтобы потом хранить эту тайну от родственников, будто речь шла о смертном грехе мотовства; отцу, гордившемуся предприимчивостью сына, также не разрешалось выдавать секрет моего неожиданного богатства. Каждый раз после глажки утюг тотчас исчезал в буфете.

Сбор долгов обогатил меня еще в одном отношении, проявившемся десятилетиями позже в реалистичности моей

прозы.

Я поднимался и спускался по лестницам доходных домов, где на каждом этаже царили свои ароматы. Запах квашеной капусты перебивался вонью от кипящих баков с бельем. Выше этажом разило кошками и детскими пеленками. От каждой квартиры пахло по-особому. Кислым или горелым, если хозяйка, скажем, как раз укладывала волосы с помощью завивочных щипцов. Запах пожилых дам: нафталиновые шарики от моли и лаванда фирмы «Уральт». От овдовевших пенсионеров несло перегаром.

Обонянием, слухом, зрением я постигал бедность и заботы многодетных рабочих семей, спесь чиновников, ругавшихся весьма литературно, выспренне и из принципа не желавших платить долги, потребность одиноких женщин хоть немного поболтать за кухонным столом, грозное молчание или затяжные ссоры между соседями. Все это складывалось в мою внутреннюю копилку: отцы, пьяными или трезвыми лупящие своих детей, визгливая брань матерей, молчаливые или косноязычные дети, одышка, хронический кашель, вздохи и проклятья, слезы и рыданья, ненависть к людям и любовь к собакам, канарейкам, бесконечная притча о блудном сыне, судьбы пролетариев и мещан, одни — рассказанные на нижненемецком диалекте с вкраплениями польских слов, другие — на языке бюрократическом, с канцеляризмами и аббревиатурами, рассказы об изменах и истории о силе духа и слабости плоти, подлинный драматизм которых стал мне понятен лишь позднее.

Это и еще многое другое — не только тумаки, доставшиеся мне при сборе долгов, — обогатило меня, создало запас на те времена, когда профессиональный рассказчик начал испытывать дефицит материала, нехватку слов. Мне было достаточно всего лишь повернуть время вспять, почувствовать старые запахи, заняться сортировкой вони, пройти вверх и вниз по лестницам, нажимая кнопки дверных звонков или стучась в двери — особенно часто пятничными вечерами.

Возможно, рано благоприобретенное умение обращаться с гульденами Вольного города и расчеты с точностью до пфеннига, а после тридцать девятого года и начала войны — переход на рейхсмарки (особым спросом пользовались серебряные монеты достоинством в пять марок) — настолько прочно засели во мне, что после войны я легко и без малейшего зазрения совести освоил на черном рынке торговлю таким дефицитным товаром, как кремни для зажигалок и бритвенные лезвия, а позже проявлял настырную требовательность как автор на переговорах о контрактах с тугоухими издателями.

У меня немало причин благодарить маму за то, что она рано

научила меня трезвому отношению к деньгам, пусть даже за счет сбора долгов. Когда в начале семидесятых я работал над «Дневником улитки», мои сыновья Франц и Рауль упросили меня составить словесный автопортрет, и я написал, что «получил вполне приличное дурное воспитание». Это был намек на сбор долгов.

Я забыл хотя бы мимоходом упомянуть воспаление миндалин, которое на излете детства частенько освобождало меня на несколько дней от школы, но зато удерживало и от ревностного взыскания дани с должников. Выздоравливающему сыну мама приносила в постель гоголь-моголь — взбитый яичный желток с сахаром.

Инкапсулы

Одно слово перекликается с другим. Долги и вина. Близкие понятия, прочно укорененные в питательной почве немецкого языка. Однако если с долгами можно как-то расквитаться — хотя бы в рассрочку, как это делали материнские должники, — то вина, доказанная ли, скрытая от глаз или даже только предполагаемая, не исчезает. Ее часы продолжают тикать. От нее никуда не деться. Она твердит свою речовку, не боясь повторов, но иногда милостиво позволяет забыть о себе, чтобы перезимовать в ночных снах. Она вроде осадка на донышке, вроде нестираемого пятнышка, неосушаемой лужицы. Она с ранних лет учится, каясь, искать прибежище в ушной раковине, ссылаться на срок давности или состоявшееся прощение, преуменьшать себя,

превращаться почти в ничто, но потом появляется вновь, и, когда луковица теряет одну пергаментную оболочку за другой, на самой свежей кожице обнаруживаются ее неистребимые письмена — то крупным шрифтом, то петитной сноской или примечанием, то опять вполне отчетливо, а то снова в виде иероглифов, которые трудно разобрать или вовсе невозможно расшифровать. Моя надпись коротка и разборчива: я молчал.

Но ведь молчали многие, поэтому велико искушение вовсе пренебречь собственным грехом со ссылкой на всеобщую вину или упомянуть себя лишь косвенно, в третьем лице: мол, да, он видел и молчал… А точнее — ушел в себя, где много места для игры в прятки.

Стоит мне только вызвать из прошлого себя тогдашнего, тринадцатилетнего, подвергнуть его строгому допросу, испытывая соблазн устроить над ним суд, будто это кто-то посторонний, чьи беды оставляют меня равнодушным, как я вижу перед собой мальчугана в коротких штанах и гольфах, который постоянно корчит гримасы. Он уклоняется от вопросов, не хочет под суд, не желает быть осужденным. Он бежит под защиту матери, к ней на колени. Говорит: «Я же был еще ребенок, всего лишь ребенок…»

Тогда я стараюсь успокоить его, прошу помочь чистить луковицу, но он противится, не дает ответов, не хочет, чтобы я использовал себе на потребу свой ранний автопортрет. Он отказывает мне в праве «вершить расправу» над ним, да еще глядя на него «свысока».

Вот теперь он слегка щурится, поджимает губы, нервно кривит рот, строит разные гримасы, склоняется над книгой, чтобы тут же унестись мыслями туда, где его не достать.

Вижу, как он читает. На это у него хватает терпения, только на это. Читая, он затыкает указательными пальцами уши, чтобы отрешиться от тесной квартиры, от веселого голоска сестры. Вот она что-то напевает, подходит ближе. Надо быть начеку, потому что сестра любит захлопнуть его книжку, желая поиграть, ей всегда хочется играть, она настоящий вихрь. Сестру он любил только издали.

Книги очень рано стали для него чем-то вроде дырки в заборе, через которую можно было прошмыгнуть в иные миры. Вижу, как он корчит гримасы, застыв среди меблированной гостиной с настолько отсутствующим видом, что мать вынуждена спросить: «Да где ты опять? Снова что-то насочинял?»

Где же я бывал на самом деле, когда сидел с отсутствующим видом? В каких эмпиреях витал гримасничающий мальчик, не

покидая гостиной или школьного класса? Куда закатывался его нитяной клубочек?

Путешествуя в прошлое, я, алчный до кровавых внутренностей Истории, сходил с ума по мрачному Средневековью или барочной эпохе Тридцатилетней войны.

Так для мальчика, который звался моим именем, дни шли чередой костюмированных исторических эпизодов, которые возникали в его фантазии. Мне всегда хотелось быть кем-то другим, жить в иных временах, наподобие персонажа по прозвищу Напеременускор, с которым я встретился несколько лет спустя в финале романа, когда зачитывался дешевым изданием «Симплициссимуса»: зловещий и в то же время притягательный персонаж, с которым можно было сменить мушкетерские шаровары на грубую рясу отшельника.

Хотя я был отлично осведомлен о текущих событиях, наполненных речами Вождя, блицкригами, героями-подводниками и летчиками-асами, удостоенными высших наград, — мои географические познания расширились вплоть до Черногории и греческих архипелагов, а с лета сорок первого, благодаря продвигающемуся фронту, уже до Смоленска, Киева и аж до Ладожского озера, — однако одновременно я уходил с крестоносцами к Иерусалиму, служил оруженосцем императора Барбароссы, сражался в рядах Тевтонского ордена против балтийского племени пруссов, подвергался папскому отлучению от церкви, находился в свите Конрадина и безропотно погибал вместе с последним Гогенштауфеном.

Оставаясь слепым к каждодневным преступлениям, которые творились у самого нашего города, на берегу Вислинского залива, — на расстоянии всего лишь двух деревень от никельвальдовского летнего филиала нашей гимназии «Конрадинум», все разрастался и разрастался концентрационный лагерь Штутхоф, — я горячо возмущался злодеяниями папской власти и жестокостью инквизиции. С одной стороны, меня поражало искусное применение каленого железа, щипцов и тисков, но с другой — я мнил себя мстителем за сожженных ведьм и еретиков. Я ненавидел Григория IX и других пап. А в Западной Пруссии сгонял с земли польских крестьян вместе с женами и детьми; я же пребывал вассалом Фридриха II, который поселил в Апулии верных ему сарацин и разговаривал по-арабски со своими соколами.

Оборачиваясь назад, можно было бы подумать, что гримасничающий гимназист просто увел питаемое книгами чувство справедливости на резервные позиции в средневековые тылы. Вероятно, поэтому мой первый — задуманный весьма

объемистым — писательский опус обращался к событиям, далеким от депортации последних данцигских евреев из гетто на улице Маузегассе в концентрационный лагерь Терезиенштадт и от всех «котлов», где шли сражения летом сорок первого года; середина тринадцатого века должна была послужить временем сюжетных хитросплетений совершенно невероятного свойства.

Журнал для школьников «Хильф мит» объявил литературный конкурс. За сочинения юным авторам были обещаны призы.

Итак, гримасничающий мальчик (или мое предполагаемое, но все более теряющееся в мемуарной вязи «я») начал писать в девственно чистом дневнике не рассказ, нет, а сразу огромный роман, который — и это вполне достоверно — назывался «Кашубы». Собственно говоря, я ведь состоял с ними в родстве.

В годы моего детства мы часто ездили за границу Вольного города в сторону Кокошкен и Цукау, чтобы навестить мою двоюродную бабку Анну, которая жила с другими четырьмя членами семьи в тесной хибарке под низким потолком. Ватрушка, студень, маринованные огурчики и грибы, мед, чернослив и куриные потроха — желудочек, сердце, печенка, — сладкое и кислое, а также картофельная самогонка — все это сразу ставилось на стол, за которым одновременно плакали и смеялись.

Зимой дядя Йозеф, старший сын двоюродной бабки, забирал нас на санной упряжке. Было забавно. Границу Вольного города пересекали у Гольдкруга. Дядя Йозеф приветствовал таможенников по-немецки и по-польски, а от людей в обеих формах вместо ответного приветствия неслась только брань. Это было уже не так забавно. Говорят, будто незадолго до войны он, вытащив из шкафа польский штандарт и флаг со свастикой, сказал: «Вот начнется война, полезу на дерево и буду смотреть, кто придет первым. Тогда и флаг вывешу — хоть тот, хоть этот…»

И позднее, спустя довольно много времени, мы продолжали видеться с матерью и братьями расстрелянного дяди Франца, но уже тайком, когда наша лавка закрывалась. В военные годы из-за продуктового дефицита был весьма удобен натуральный обмен: кур и свежие яйца меняли на изюм, пекарный порошок, нитки и керосин. В нашей лавке возле сельдяной бочки возвышался керосиновый бак в рост человека, керосин лился из краника; запах не выветрился для меня до сих пор. Перед глазами стоят и сценки визитов моей двоюродной бабки Анны с товаром для обмена: она вытаскивала из-под юбок ощипанного гуся, бросала его на прилавок, приговаривая: «Фунтов на десять потянет, не меньше…»

Словом, кашубская речь была мне знакома. А когда кашубская родня переходила со своего древнего славянского

наречия на здешний нижненемецкий диалект, чтобы поведать о собственных чаяниях или бедах, то они опускали артикли и вопреки немецкой грамматике употребляли двойное отрицание. Их тягучий говор напоминал густую простоквашу, куда они любили подмешивать черные сухари и сахарный песок.

С незапамятных времен остатки кашубов осели среди холмистых окрестностей Данцига, а сменяющиеся правители никогда не считали их ни настоящими поляками, ни настоящими немцами. Из-за последней войны они вновь попали под власть Германии; правительственным указом кашубы были отнесены к третьей этнической категории немцев. Это произошло под давлением властей с расчетом на то, что в будущем кашубы сумеют стать полноценными «рейхснемцами»: молодые женщины — пригодными для Имперской службы труда, а молодые мужчины, вроде дяди Яна, которого теперь звали Ханнес, — для армейской службы.

Конечно, следовало бы рассказать о том, что было рядом, о нынешних кашубских бедах. Но сюжет моего романа-первенца, полного смертей и убийств, был перенесен в тринадцатый век, который Шиллер назвал «бесцарственным» и «грозным»; это объяснялось моим пристрастием к самым мрачным главам истории. Мой опус был посвящен не столько живописанию древних славянских нравов и обычаев, сколько средневековым судилищам, жестокому насилию и произволу, воцарившимся после падения Гогенштауфенов.

От моего опуса не сохранилось ни единого слова. В памяти не осталось даже намека на какое-либо ужасающее злодеяние, которое требовало ответной кровной мести. Ни одного имени, которым я наделил своих персонажей — рыцарей, крестьян, нищих. Ни одного неправедного суда, совершенного церковниками, ни единого вопля ведьмы. Но кровь там наверняка текла рекой, громоздились костры для еретиков, поджигаемые смоляными факелами, ибо к концу первой главы все герои были умерщвлены: обезглавлены, повешены, посажены на кол, сожжены или четвертованы. Более того, не выжил никто, кто мог бы отомстить за погибших героев.

Подобным литературным кладбищем завершилась моя ранняя проба сочинительства. Но если бы рукопись сохранилась, она могла бы представить интерес разве что для фетишистов, разыскивающих подобные документы.

Повешенные, обезглавленные, сожженные, подвергнутые четвертованию — все эти трупы, болтающиеся на дубовых сучьях или брошенные на съедение воронью, могли бы сделаться призраками, чтобы появиться в следующих главах, пугая

очередных персонажей, однако мне такая мысль в голову не приходила — я никогда не любил историй с привидениями. Но возможно, ранний опыт неэкономного обращения с придуманными лицами, застопорившего мое писательство, впоследствии привел к тому, что, став уже расчетливым автором, я гораздо рачительнее относился к героям моих романов.

Оскар Мацерат уцелел, сделавшись медийным магнатом. Его бабка дожила до ста семи лет; ради нее и вместе с ней он затеял поездку в Кашубию — действие происходит в романе «Крысиха», где прошлое переплетается с будущим, — чтобы отпраздновать там ее день рождения.

О ранней смерти Туллы Покрифке говорилось только предположительно — на самом деле семнадцатилетняя Тулла, беременная на последнем месяце, хотя и попала на борт затонувшего океанского лайнера «Вильгельм Густлофф», который перевозил беженцев, но сумела спастись, — поэтому когда повесть «Траектория краба» созрела наконец для написания, семидесятилетняя Тулла пригодилась в качестве персонажа. Она стала бабушкой юноши с праворадикальными взглядами, который восхваляет в интернете нацистского «мученика».

То же самое относится и к моей любимице Йенни Брунис, которая — пусть сильно покалеченная и навек простуженная — смогла пережить «Собачьи годы»; ведь меня тоже судьба пощадила, чтобы я опять и опять находил себе новое поприще.

А тот не знавший меры мальчик — я сам, но такой, каким мне еще предстояло себя отыскать, — все же не принял участия в конкурсе иллюстрированного журнала для школьников «Хильф мит». Тут можно усмотреть положительные обстоятельства: ведь, пожалуй, это уберегло меня от успеха на смотре юных литературных дарований национал-социалистического рейха. Допустим, меня удостоили бы второй или третьей премии, не говоря уж о первой; подобное начало моей писательской карьеры приобрело бы коричневый оттенок — сущая находка для журналистов, которые неизменно жаждут компромата. На меня навесили бы соответствующий ярлык, окрестили бы юным нацистом или, по крайней мере, оппортунистом по отношению к тогдашнему режиму. Судей хватило бы.

Только я и сам могу найти на себя компромат, сформулировать обвинение и вынести себе приговор. Да, я состоял в организации «Гитлерюгенд», был юным нацистом. До конца веровал в идеи национал-социализма. Фанатиком, правда, не был, не маршировал в первой шеренге, однако, подчиняясь некоему рефлексу, держал равнение на знамя, о котором говорилось в песне, что оно значит «больше, чем смерть», и шагал

в общем строю. Мою веру не омрачали сомнения, меня не может оправдать ничто, хоть сколько-нибудь похожее на саботаж или тайное распространение листовок. Я не вызывал подозрений анекдотами о Геринге. Напротив, я действительно считал, что мое отечество находится в опасности, поскольку его окружают враги.

С тех пор, как меня ужаснула «Бромбергская резня», статьями о которой в первые дни войны полнились страницы газеты «Данцигер форпостен», клеймившей всех поляков как подлых убийц, любая акция Германии казалась мне оправданным возмездием. Мое негодование адресовалось разве что местным партийным бонзам, так называемым «золотым фазанам», которые трусливо уклонялись от фронта, отсиживались в тылу, донимая нас пустопорожними речами с трибун во время парадов, постоянно произнося всуе святое имя Вождя, которому мы верили, нет, в которого лично я верил, не утруждая себя лишними вопросами, верил до тех пор, пока, как предсказывал наш гимн, все не пошло прахом.

Вот таким я вижу себя в зеркале заднего вида. Этого не сотрешь, как надпись на грифельной доске, где всегда под рукой влажная губка. Это остается. До тех пор, пока хотя бы отдельной строчкой сидят в памяти песни того времени: «Вперед, вперед зовут фанфары…»

Оправдывая мальчика, то есть меня, даже не скажешь: «Нас совратили!» Нет, это мы позволили, я позволил себя совратить.

Ах, могла бы сюсюкнуть луковица, обнаруживая пробелы на восьмой пергаментной кожице: тебе повезло, ты был мал и глуп, не сделал ничего плохого, не ябедничал, не донес на соседа, рискнувшего рассказать анекдот о толстом рейхсмаршале Геринге, не выдал приехавшего на побывку фронтовика, хваставшего, как ловко он увернулся от возможности совершить подвиг, достойный Рыцарского креста. Нет, ты не донес на учителя истории, который осмелился вскользь высказать на уроке сомнение в «окончательной победе» и назвал немецкий народ «стадом баранов», хотя этот штудиенрат был жутким занудой и его ненавидели все ученики.

Пожалуй, это правда. Стучать блокварту, районному партийному начальнику, школьному педелю — было не в моих правилах. Но когда мой учитель латыни, бывший к тому же священником, которого полагалось называть «монсиньоре», перестал строго спрашивать с нас латинские вокабулы, поскольку внезапно исчез, я вновь не задавал вопросов, хотя в это время у всех на устах появилось страшное слово «Штутхоф».

Вскоре мне исполнилось четырнадцать лет; наш

радиоприемник все чаще передавал сопровождаемые сигналом фанфар экстренные сообщения о победах, об окружении, куда попал противник в российских степях. Под надоедливо звучавшие изо дня в день «Прелюдии» Листа происходили события, которые расширяли мои географические познания, зато с латынью дела у меня обстояли плохо.

После очередной смены школы я вижу себя учеником гимназии имени Святого Иоанна, которая находилась в Старом городе, на улице Фляйшергассе, неподалеку от городского музея и церкви Святой Троицы. У этого учебного заведения имелись готические подвалы, его подземные ходы будоражили мое воображение вплоть до тех пор, пока я не стал писать «Собачьи годы». Поэтому мне было нетрудно отправить персонажей моего романа, друзей и одновременно врагов Эдди Амзеля и Вальтера Матерна, именно в эту гимназию, чтобы там из раздевалки спортивного зала они перебрались в подземные ходы францисканцев..

Когда через несколько месяцев мой учитель латыни монсиньоре Стахник вернулся из концлагеря и стал вновь преподавать в гимназии Святого Иоанна, я так и не стал задавать вопросов и требовать ответов, хотя прослыл учеником не только упрямым, но и дерзким.

Впрочем, ответить он мне все равно бы не смог. Обязательство молчать распространялось на всех, кого выпускали из концлагеря. Вопросы лишь добавили бы проблем Стахнику, в котором не ощущалось видимых перемен.

Но вероятно, мое молчание все же тяготило меня, иначе в моем принципиально обращенном к прошлому романе «Палтус» я не стал бы воздвигать памятник моему учителю латыни, бывшему председателю Партии центра в Вольном городе, неустанному борцу за беатификацию отшельницы Доротеи из Монтау.

Он и готическая отшельница. Его усилия по ее беатификации. На лице у монсиньоре появлялась восторженная мина, когда мы заводили разговор о ее строжайшем посте. Нам легко удавалось отвлечь его от хитроумных конструкций латинской грамматики, достаточно было спросить о блаженной Доротее.

Что отравило ее семейную жизнь с оружейником?

Какие чудеса приписываются ей?

Почему она повелела, чтобы ее заживо замуровали в стену собора в Мариенвердере?

Сохраняла ли она, истощав, свою прежнюю красоту?

Все это, да еще его глухой круглый воротничок пришли мне на ум, когда я вспомнил моего учителя латыни.

Мои запоздалые дифирамбы, пожалуй, понравились бы монсиньоре Стахнику только отчасти. Слишком уж разнились точки зрения, с которых мы оценивали жизнь и голодную смерть исполненной раскаяния Доротеи из Монтау. Когда в середине семидесятых я с женой ездил в Мюнстерланд, чтобы собрать материал о местных достопримечательностях барочных времен для моей новеллы «Встреча в Тельгте», мы навестили Стахника, обосновавшегося на склоне лет в женском монастыре, где его просторная и комфортабельно обставленная келья располагала к беседе. В ходе разговора я избегал конфликтных тем, связанных с католицизмом. Ута, вышедшая из протестантской среды, была несколько удивлена тем, что пожилой господин проводил свои тихие дни среди женщин, избравших монастырский образ жизни; укутанные сверху донизу в свои одеяния монахини попались нам только на входе.

С кокетством, которого я никогда не замечал за учителем латыни, монсиньоре Стахник шутливо назвал себя «петухом в курятнике». Он сидел передо мной гораздо более упитанный, чем я его помнил, — видно, монастырская кухня шла ему впрок.

Мы немного поболтали о завершившемся наконец процессе беатификации. В политике он до сих пор отстаивал центристские позиции, которых, как он считал, нынешние христианские демократы придерживаются недостаточно строго. Он с похвалой отозвался о патере Винке, моем бывшем исповеднике, поскольку, мол, этот священник «воистину отважно защищал рабочих-католиков своего прихода». Он вспоминал преподавателей гимназии Святой Троицы, ее директора, оба сына которого «нашли», как он выразился, смерть на затонувшем линкоре «Бисмарк».

Но к прошлому он возвращался неохотно. «Трудные тогда были времена… Нет, нет, никто на меня не доносил».

Он великодушно запамятовал, что я плохо учил латынь.

Мы беседовали о том Данциге, когда город со всеми башнями и фронтонами еще выглядел как на почтовых открытках. Мой краткий отчет о неоднократных поездках в Гданьск он выслушал с удовлетворением: «Говорят, восстановлена церковь Святой Троицы, смотрится не хуже прежнего…» Однако когда я затронул тему моего молчания в школьные годы, заговорил о вине, не признающей срока давности, монсиньоре Стахник лишь отмахнулся с улыбкой. Мне почудилось, будто он произнес: «Ego te absolvo».

Не отличаясь чрезмерной набожностью, мать лишь изредка побуждала меня к посещению церкви, однако католическое

воспитание рано наложило на меня свой отпечаток; это как крестное знамение между исповедальней, главным алтарем и алтарем Богоматери. Мне нравилось звучание слов «дароносица» и «дарохранительница», поэтому я с удовольствием повторял их. Но во что же я верил до того, как начал верить только в Вождя?

Святой Дух был для меня более реальным, нежели Бог Отец и Сын. Многофигурные алтари, пропитанная ладаном химера церкви Сердца Христова питали мою веру, которая была не столько христианской, сколько языческой. Будто во плоти видел я Деву Марию; словно оборотень по имени Напеременускор, я становился архангелом, «познавшим» ее.

А духовно окормляли меня те истины, которые вели свою многоликую жизнь в прочитанных книгах; на этой почве зарождались мои фантазии. Но что, собственно, читал четырнадцатилетний подросток?

Уж, во всяком случае, не религиозную литературу, не пропагандистские брошюрки и не вирши с набившими оскомину рифмами, которые прославляли «кровь и почву». Серии приключенческих книг о Томе Миксе с Дикого Запада меня не захватывали, не увлекали и выходившие том за томом романы Карла Мая, хотя им зачитывались мои одноклассники. Начал я с того, что, на мое счастье, стояло в мамином книжном шкафу.

Примерно год назад мне вручали в столице Венгрии литературную премию — каминные часы в свинцово-серой оправе, которые выглядели так, словно должны были напоминать собой о «свинцовых временах»; я поинтересовался у Имре Барны, редактора моего венгерского издательства, именем писателя, чей роман «Искушение в Будапеште» поразил меня в юные годы.

Немного позднее мне доставили от букиниста объемистую книгу. Написал ее Франц Кёрменди, теперь уже забытый автор. Выпущенный в тридцать третьем году берлинским издательством «Пропилеи», его роман повествует на пятистах страницах об искателях счастья, мужчинах, которые после Первой мировой войны скучали в столичных кафе, о назревающей пролетарской революции и контрреволюции, а также о бомбистах-анархистах. Но прежде всего книга рассказывала о герое, лишившемся своих корней, бедном, но стремящемся сделать карьеру; покинув раскинувшийся по обеим сторонам Дуная город, он странствует по миру и возвращается домой с богатой женой, чтобы здесь, в Будапеште, поддаться искушению обманчивой и ненадежной любви.

Этот роман, который до сих пор читается так, будто написан совсем недавно, я нашел среди маминых книг, весьма пестрого собрания литературы, быстро проглоченного сыном; названия

других книг пока упоминать не буду, ибо вижу себя, стремящегося утолить неутихающий голод в читальном зале городской библиотеки, находившейся неподалеку от школы Святого Петра.

Эта школа послужила промежуточной остановкой; я был переведен туда по решению педсовета после того, как мне пришлось уйти из лангфурской гимназии «Конрадинум»: не чуравшийся рукоприкладства учитель физкультуры, который мучил нас упражнениями на брусьях и турнике, пожаловался — о чем в письменном виде были уведомлены мои родители — на мое «упрямство и вызывающую наглость».

Но что означает «вижу себя в городской библиотеке»? С помощью немногочисленных фотографий, которые сумела сберечь мама и после войны увезти с собой на Запад, мне удалось набросать еще один подростковый автопортрет. Прыщиков, которые я потом безуспешно пытался вывести каплями «Питралон» и «миндальными отрубями», пока еще нет, однако выпяченная нижняя губа — результат врожденной прогении — делает выражение моего лица уже не слишком детским. Серьезный, даже мрачноватый, я похож на рано достигшего переходного возраста юнца, которому учителя приписывают упрямство и непослушание; если такого разозлить, он может и рукам волю дать.

Так оно и получилось, когда толстый учитель музыки исполнил своим жиденьким фальцетом народную песню «Дикая роза», а мы принялись изображать джазовый аккомпанемент и подергиваться, на что он отреагировал бранью в мой, и только в мой адрес и даже рискнул встряхнуть меня за плечи; я схватил его левой рукой за галстук и стал душить до тех пор, пока галстук, оказавшийся бумажным сообразно дефициту военного времени, не оборвался под узлом, в результате чего вновь возникли обстоятельства, требовавшие перевода в другую школу, — это была педагогически превентивная мера, позволявшая к тому же замять неприятный инцидент; так меня перевели из школы Святого Петра в школу Святого Иоанна. Не удивительно, что я замкнулся в себе, сделался неприступным даже для мамы.

Итак, я вижу, как иду с угрюмым выражением лица в городскую библиотеку, кстати говоря, весьма богатую, ибо, следуя ганзейским традициям, горожане заботились о муниципальных культурных учреждениях. Я предполагал, что библиотека сгорела вместе с городом, когда город был испепелен пожаром в конце войны. Однако когда весной пятьдесят восьмого я вновь приехал в теперь уже польский Гданьск, отыскивая следы

Данцига, то есть ведя счет потерям, я обнаружил, что городская библиотека уцелела; все в ней было по-старому, сохранились даже деревянные панели стенной обшивки, поэтому мне было легко представить себе подростка в коротких штанах, сидящего за одним из столов среди богатого собрания книг: все верно, прыщиков еще нет, на лоб свисает прядь волос, подбородок и нижняя губа выпячены. На спинке носа наметилась горбинка. Он все еще гримасничает, причем не только когда читает.

Время откладывает слой за слоем. То, что они закрывают собой, можно разглядеть лишь сквозь щели. Через подобную щель во времени, которую, приложив усилие, приходится немного расширить, я вижу себя и его.

Я уже в годах, он — бессовестно юн; он читает, набирается ума на будущее, меня настигает прошлое; мои проблемы ему чужды; то, чего он не стыдится и что не жжет его позором, приходится искупать мне, связанному с ним более чем родственными узами. Между нами страница за страницей ложится прошедшее время.

Пока тридцатилетний отец совсем недавно родившихся сыновей-близнецов, пытающийся с некоторых пор прикрыть усами выпяченную нижнюю губу, занимается поисками подробностей из истории и жизни Данцига для ненасытной рукописи романа, юное «я» подростка не дает отвлечь себя ничем и никем, в том числе не позволяет сделать это и взрослому мужчине в вельветовом костюме.

Мой взгляд рассеян. Листая архивные подшивки газет за тридцать девятый год, я лишь вскользь отмечаю для себя любопытные заметки из «Данцигер форпостен» о повседневных событиях начального периода войны. Повзрослевшее «я» чиркает в свою тетрадь, какие фильмы шли на первой сентябрьской неделе в кинотеатрах Лангфура и Старого города — например, в «Одеоне» на улице Доминиксвалл показывали кинодраму «Вода для Канитоги» с Хансом Альберсом, — однако одновременно этот рассеянный взгляд обнаруживает четырнадцатилетнего мальчика, который, сидя через три стола от меня, ушел с головой в богато иллюстрированную монографию издательства «Кнакфус».

Рядом громоздятся другие тома этой серии, посвященной различным художникам. Похоже, ему хочется узнать побольше о художниках, с которыми он познакомился по своей коллекции картинок, полученных на купоны от сигарет. Не поднимая головы, он откладывает монографию о Максе Клингере, чтобы тут же открыть следующий том.

Пока повзрослевший собиратель подробностей рассеянно

переписывает из экономического раздела газеты «Данцигер форпостен» рыночные цены и биржевые курсы — цена на бамбергский шелк не изменилась, оживилась конъюнктура зернового рынка — и пока его вновь ужасают репортажи на целую полосу о «Бромбергской резне», которую якобы учинили третьего сентября «польские нелюди», он видит себя самого, нет, того мальчика, который, читая кнакфусские монографии, сначала восхищается творческим путем Клингера — живописца, скульптора, графика, — потом успевает испытать весьма сильное впечатление от тома о Караваджо, особенно от бурной судьбы этого художника, а теперь мечтает оказаться учеником Ансельма Фейербаха. На данный момент он отдает предпочтение «немецким римлянам». Он сам хочет стать художником, причем обязательно знаменитым.

Повзрослевшему путешественнику, который добрался сюда из Парижа и который уже стал художником, скульптором, хотя еще не знаменитым, кажется, что его юный двойник витает где-то далеко-далеко. Даже если его сейчас окликнуть, он вряд ли отзовется.

Подобную встречу с самим собой можно вообразить и при других обстоятельствах. Таким же отрешенным от мира я вижу себя и в иных местах, например, в Иешкентальском лесу, на ступеньках чугунного памятника Гутенбергу. Перед началом летнего сезона я брал библиотечные книги на пляж, садился в плетеное кресло с тентом и читал. Но любимейшим местом для чтения оставался чердак нашего дома, где свет шел лишь из чердачного окошка. А в нашей тесной двухкомнатной квартире я вижу себя у маминого книжного шкафа; он гораздо отчетливей стоит у меня перед глазами, чем любой другой предмет обстановки гостиной.

Небольшой шкафчик, ростом с меня, занавески защищают корешки книг, чтобы они не выцвели от солнечного света. Декорированный резными планками, весь из орехового дерева, книжный шкаф был экзаменационной работой одного подмастерья, который стоял за верстаком в столярной мастерской моего деда по отцовской линии и закончил этим изделием свою учебу незадолго до свадьбы моих родителей, из-за чего шкаф стал свадебным подарком.

С этих пор шкаф находился в гостиной справа, рядом с нишей, которая принадлежала мне. Под подоконником левого окна, дававшего свет для пианино, где лежали открытые ноты, в другой нише хранились альбом стихов, куклы и мягкие игрушки моей сестры, которая не гримасничала и не читала, отличалась

веселым нравом, была папиной любимицей и не доставляла родителям никаких хлопот.

Моя мать, закончив работу в лавке, не только исполняла на пианино музыкальные пьески, похожие на медленную капель, она была еще и любительницей чтения, состояла в книжном клубе, уж не помню каком. Но однажды она вышла из этого клуба, распространявшего книги по подписке, во всяком случае, вскоре после начала войны к нам перестали поступать новые книги, ранее пополнявшие нашу библиотеку.

В шкафу стояли «Бесы» Достоевского рядом с «Хроникой Воробьиной улицы» Вильгельма Рабе, шиллеровские стихи рядом с «Сагой о Йёсте Берлинге» Сельмы Лагерлёф. Какой-то роман Германа Зудермана соседствовал корешок к корешку с гамсуновским «Голодом», «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера с романом другого Келлера «Отдых от самого себя». А роман Фаллады «Что же дальше, маленький человек?» занимал место где-то между «Голодным пастором» Рабе и «Всадником на белом коне» Теодора Шторма. Рядом с «Битвой за Рим» Дана стоял и иллюстрированный фолиант под названием «Распутин и женщины», к которому я для контраста добавил «Избирательное сродство» Гёте, снабдив впоследствии этими двумя сочинениями моего персонажа, помешанного на книгах по совсем иным причинам; чтобы научиться грамоте, он сумел превратить гремучую смесь из обоих авторов в свою азбуку и первую хрестоматию.

Все это и многое другое утоляло мой читательский голод. Стояли ли за шторками книжного шкафа «Хижина дяди Тома» или «Портрет Дориана Грея»? Были ли там книги Диккенса и Марка Твена?

Уверен, что мама, у которой из-за растущих трудностей с ведением дел в лавке колониальных товаров оставалось все меньше времени для чтения, не знала, как и ее сын, что один из романов из книжного шкафа принадлежал к числу запрещенных книг: «Студентка химии Хелена Валльфюр» писательницы Викки Баум. Вокруг этого романа еще в тридцатые годы разразился скандал, поскольку речь там шла о целеустремленной, но бедной студентке, о любовной драме, разыгравшейся в идиллическом университетском городке, а также о том, что беременной студентке приходится делать выбор и речь заходит о подпольном аборте, который согласно параграфу 218 являлся тогда прямым уголовным преступлением.

Видимо, мама не удосужилась прочитать роман и проследить судьбу отважной студентки, поэтому, когда ее четырнадцатилетний сын, сидя за столом и не обращая никакого

внимания на происходящее вокруг, сочувствовал бедам молодой женщины, а потом ее материнским радостям, маму это ничуть не смущало, и она спокойно позволяла мне «витать в облаках».

Позднее я прочитал и другие книги Викки Баум, например, ее экранизированный роман «Люди в отеле». А когда в начале восьмидесятых годов я работал над своей повестью о путешествиях «Головорожденные, или Немцы вымирают», где предугадал такие явления, как нежелание иметь детей у современных супружеских пар, предпочитающих личную самореализацию, широко культивируемый ныне эгоцентризм, старение населения ФРГ и обусловленный этим старением затяжной кризис пенсионной системы, унылая повседневность бездетных супругов, — для создания мелодраматического фона мне весьма помогла книга Викки Баум «Любовь и смерть на Бали». Впрочем, с таким самозабвением, как в юные годы, я уже никогда не поддавался чарам писательского таланта Викки Баум, чьи книги совершенно напрасно относят к разряду исключительно развлекательной беллетристики.

Когда наступало время накрывать стол к ужину, отец говорил: «Чтением сыт не будешь!»

Маме нравилось, что я «читал взахлеб». Она была деловой женщиной, которую любили клиенты и торговые агенты, но при этом ей была свойственна грустная мечтательность, сочетавшаяся, однако, с веселым нравом и даже некоторым озорством; мама с удовольствием устраивала маленькие розыгрыши, которые называла «каверзами», — например, ей нравилось продемонстрировать какой-либо гостье, скажем, приятельнице из тех времен, когда они были ученицами в сети магазинов «Кайзерс Каффее», насколько страницы печатных книг могут поглотить ее сына, — для этого вместо намазанного джемом хлеба, от которого я, увлекшись чтением, откусывал краешек за краешком, она подсовывала мне мыло «Палмолив».

Скрестив руки на груди, она с улыбкой — поскольку была уверена в успехе — ожидала результата произведенной подмены. Ее забавляла ситуация, когда сын, надкусив мыло, успевал прочесть три четверти страницы, прежде чем сообразить, что случилось, на потеху всем присутствующим.

С этих пор мне известен вкус мыла под названием «Палмолив».

Мальчику с выпяченной нижней губой приходилось, видимо, не раз отведать мыла, ибо память сохранила различные вариации подобного события — подменялся то бутерброд с колбасой, то с сыром, то пирог с изюмом. Что же касается выпяченной губы, то с

ее помощью было весьма удобно сдувать нависавшую на глаза прядь волос. А такое происходило при чтении постоянно. Иногда мама укрепляла мои слишком мягкие волосы заколкой, которую вынимала из своей тщательно уложенной прически. Я не возражал.

Я был для нее всем на свете. Как бы я ее ни огорчал тем, что меня оставляли на второй год или из-за моей строптивости переводили из одной школы в другую, она неизменно продолжала гордиться своим постоянно что-то читающим или рисующим сыночком, которого только окриком можно было пробудить от устремленных в прошлое мечтаний, после чего он, к обоюдному удовольствию, охотно садился к маме на колени.

Мои безудержные фантазии, всегда начинавшиеся словами: «Когда я разбогатею и прославлюсь, то мы вместе с тобой…» — ласкали ей слух. Кажется, ничто так не радовало ее, как мои щедрые обещания: «Совершим путешествие из Рима в Неаполь». Она, всей душой тянувшаяся к прекрасному, в том числе к печально-прекрасному, любившая принарядиться и пойти в городской театр, часто одна и иногда в сопровождении мужа, называла меня своим «маленьким Пером Гюнтом», когда я снова начинал фантазировать о кругосветных странствиях и обещать ей чуть ли не луну с небес. Эта безмерная и безрассудная любовь, доставшаяся завиральному маменькиному сыночку, объяснялась, вероятно, тем, что мама сама была многим обделена в юные годы.

Если отцовская родня жила буквально за углом, на Эльзенштрассе, где с утра до ночи визжала циркулярная пила дедовской столярной мастерской, и из-за этой близости я едва ли мог уклониться от нескончаемых родственных распрей, которые лишь изредка прерывались краткими перемириями, — так что непрестанно раздавалось: «Слова с ними больше не скажу!», «На порог не пущу!» — то маминых родителей, трех ее братьев и единственную сестру я знал лишь по маминым рассказам и немногочисленным семейным реликвиям. Если не считать сестры по имени Элизабет, которую все звали Бетти, вышедшей замуж и «уехавшей в Рейх», мама осталась совсем одна.

Конечно, были у нее еще и кашубские родственники, но те жили в деревне, настоящими немцами не считались и вообще не шли в счет с тех пор, как появились причины умалчивать даже само их наличие. Ее родители, которые, будучи городскими кашубами, сумели вписаться в мещанскую среду, умерли рано: отец был убит в начале Первой мировой войны под Танненбергом. После того как двое ее сыновей погибли во Франции, а последний сын, тоже солдат, умер от гриппа,

скончалась и мать, не хотевшая больше жить.

Артуру было всего двадцать три. Пауль погиб в двадцать один год. Грипп унес Альфонса, когда ему исполнилось девятнадцать. Но мама, урожденная Хелена Кнопф, всегда говорила о братьях так, будто они еще живы.

Однажды — мне было уже лет четырнадцать, а может, только двенадцать? — я забрался на чердак нашего доходного дома на улице Лабесвег, приютившего девятнадцать семей, в свою любимую тайную читальню — прибежище с продавленным креслом под чердачным окном-люком; здесь, в нашей кладовке, зарешеченной досками, такой же, как у других соседей, я или тот мальчик, который с ранних лет накапливал материал для последующих повествований, обнаружил судьбоносную находку — обвязанный бечевками чемодан. Да, среди всяческого барахла и старой мебели меня ждал особенный чемодан: во всяком случае, именно так я расценил тогда свою находку.

Извлек ли я его из-под драных матрасов?

Или на его коже ворковал голубь, упорхнувший сквозь чердачное окно?

Оставил ли голубь, которого я спугнул, свежий комочек помета на чемодане?

Принялся ли я распутывать бечевку?

Или достал перочинный нож?

А может, заробел и удержался?

Отнес чемодан вниз и как благовоспитанный ребенок отдал его маме?

Вероятны и любые другие варианты. В середине сорок второго были выпущены официальные инструкции по соблюдению мер противопожарной безопасности, которые предписывали расчистить чердаки. Видимо, при расчистке чемодан нашелся и его открыла мама, или я, или еще кто-то. Там хранилось скромное наследство, оставшееся от двух братьев, которые погибли в Первую мировую войну, и от младшего брата, которого унесла эпидемия гриппа, не разбиравшая, кто свой, а кто враг.

Содержимое чемодана подтверждало то, о чем со слезами на глазах от боли невозвратимых утрат рассказывала мама: всем троим не посчастливилось реализовать при жизни свои таланты.

Три лежавшие в чемодане свертка, перевязанные шелковыми ленточками, свидетельствовали: старший брат Пауль хотел стать художником и оформителем театральных постановок. В его свертке хранились эскизы декораций и костюмов к операм «Вольный стрелок» и «Летучий голландец». А может, к «Лоэнгрину»; перед глазами у меня стоит эскиз лебедя —

конструкции, вполне пригодной для сценического воплощения; выполненные цветными карандашами наброски явно принадлежали моему дяде Паулю, павшему в боях на Сомме. Ордена между набросками не нашлось.

Младший брат Альфонс, умерший от «испанки», успел поучиться на повара; он мечтал с помощью задуманных роскошных меню дослужиться до шеф-повара в Гранд-отеле какой-либо европейской столицы, будь то Брюссель, Вена или Берлин. Это следовало из писем, которые он посылал с острова Зильт на Северном море, его первого и последнего места работы в курортном ресторане; судя по деталям, письма отправлены незадолго до призыва на военную службу и перед тем, как весной восемнадцатого дядю откомандировали на учебный полигон.

В письмах к сестре Хелене он всячески бодрился. Рассказывая истории о курортной жизни, он намекал на романы с аристократками и сообщал подробности о постижении кулинарного искусства, расхваливал треску, тушенную в горчичном соусе, филе щиповки с фенхелем, суп из угря, приправленный укропом, и другие рыбные блюда, которые я и сам готовил позднее в память о дяде Альфонсе.

Старший брат Артур, которого мама называла самым любимым, видел себя в будущем прославленным поэтом за два года до того, как умер от выстрела в живот.

Еще проходя стажировку в филиале Имперского банка возле Высоких ворот — в здании, которое пережило войну, а сегодня, восстановив после реставрации грюндерскую роскошь, дало приют польскому банку, — он публиковал под своим именем в местной данцигской газете предлинные и довольно ловко зарифмованные стихотворения: с дюжину — о весне и осени, одно ко Дню поминовения усопших и еще одно к Рождеству; газетные вырезки с публикациями я нашел в том самом чемодане, который послужил мне «путеводным знаком» — так спустя много лет оценила эту находку мама.

А поскольку ее сын внял этому путеводному знаку, то в середине шестидесятых, когда после долгой изнурительной работы над объемистыми рукописями у меня вышли из-под пера несколько коротких историй, я скрыл собственное авторство под именем любимого маминого брата Артура Кнопфа; эта книжица появилась в серии, которая издавалась Берлинским литературным коллоквиумом; таким образом я решил позабавить себя — отчасти чтобы защитить свои истории от нападок привередливых критиков, отчасти чтобы короткой судьбе Артура Кнопфа выпало немного посмертной славы.

Его первая публикация, если отвлечься от ранних стихов,

близких к лирике Эйхендорфа, была встречена вполне благожелательно. Литературные критики заговорили об открытии нового дарования, которому, несмотря на некоторое сходство с одним именитым писателем, они сулили большое будущее. Итальянская издательница заявила, что хотя пока о переводе рассказов думать рано, однако она надеется, что, мол, доселе неизвестный автор вскоре предъявит крупное эпическое произведение, например семейную сагу. Дескать, большой роман вполне под силу его писательскому дарованию.

Истории Артура Кнопфа около двух десятилетий продавались в книжных магазинах. Псевдоним оставался нераскрытым, пока Клаус Рёлер, который в трезвом состоянии был вполне прилежным редактором издательства «Лухтерханд», не разоблачил спьяну моего дядю-литератора.

Чердак и его дощатые закутки-кладовки со всяческим хламом и паутиной. Позднее Оскар Мацерат, которого загнали наверх мучившие его соседские дети, нашел здесь, как и я, свое прибежище. Отсюда разносилось его дальнодействующее пение; для меня же был важнее найденный чемодан.

Вижу солнечных зайчиков на потертой коже. Нет, воркующего голубка, который подал бы знак, там не было. Только мне одному принадлежала привилегия обнаружить чемодан подле моей тайной читальни и первым открыть его. Нетерпеливо, моим перочинным ножом с тремя лезвиями. В лицо мне пахнуло тленом, будто я вскрыл склеп. Взлетела пыль, заплясали в лучах света пылинки. То, что я нашел, оказалось знамением, отправившим находчика в пожизненное путешествие; и только сейчас он начинает уставать, лишь возврат к прошлому поддерживает его жизнестойкость.

Меня неизменно тянуло в это пристанище. Сквозь подъемный люк чердачного окна виднелись задние дворы, каштановые деревья, покрытая толем крыша кондитерской фабрики, крошечные палисадники, хлипкие сарайчики, стойки для выбивания ковров, клетки для кроликов, а за всем этим шли дома на улицах Луизы, Герты и Марии, которые образовывали просторный четырехугольник. От места встречи с художником, поэтом и кулинаром, каждый из которых характеризовался в маминых рассказах каким-нибудь эпитетом — Пауля она обычно называла мрачным, Артура мечтательным, Альфонса веселым, — я отправлялся по воздушному маршруту куда-то туда, где теперь я пытаюсь приземлиться обратным рейсом, хотя там ничего не сохранилось: меня не ждет ни продавленное кресло, ни другие вполне осязаемые предметы.

Ах, если бы можно было найти — пусть не чемодан, а всего лишь картонку с моими ранними писаниями! Но нет, не осталось ни полстрочки от первых стихов, ни одной страницы от единственной главы неопубликованного романа. Ни одного из необузданно-фантастических или педантично-подробных рисунков с деталями обомшелой кирпичной кладки, ни одной акварели. В том скарбе, который унесли с собой родители, когда бежали из города, не нашлось ни рифмованных стихов, написанных зюттерлиновским шрифтом, ни белых листов с темной штриховкой. Ни школьных тетрадей с сочинениями, которые, несмотря на серьезные огрехи в правописании, получали оценки «хорошо» и «отлично». Ничто не свидетельствует о моем начале.

А может, следует внушить себе: «Как хорошо, что не уцелело ни клочка!»?

Ведь было бы весьма неловко, если среди излияний пубертирующего подростка обнаружились бы вирши, посвященные двадцатому апреля и, в подражание гимнически-экспрессивному стилю гитлерюгендских бардов Менцеля, Баумана и фон Ширера, воспевающие ничем не омраченную веру в Вождя. Задним числом я ужаснулся бы набившим оскомину рифмам: «знамя» — «реет над нами». Было бы ужасно, если бы от расистского бреда моего короткого эпического первенца пострадали бедные кашубы: тевтонский рыцарь с продолговатым нордическим черепом дюжинами сносит с плеч круглые славянские головы. Не говоря уж о прочем внушенном пропагандой вздоре.

Во всяком случае, среди рисунков, пачка которых могла бы позднее найтись на чердаке или, скажем, в подвале доходного дома, совершенно точно не было ни единого листа, где красовался бы набросок, имеющий черты портретного сходства с удостоенными высших наград героями войны, например, капитан-лейтенантом Прином или летчиком-истребителем Галландом, хотя оба служили для меня образчиками доблести.

Что было бы, если бы…? Спекуляции насчет содержимого потерянного чемодана столь же бесполезны, как и упорны.

Что могли бы поведать о себе вещи сына, сложенные матерью перед депортацией в картонную коробку из-под «Персила» и забытую в суете поспешных сборов?

Что еще могло бы разоблачить меня, желающего прикрыться фиговым листком?

Поскольку у меня, ребенка из семьи послевоенных вынужденных переселенцев, по сравнению с писателями моего поколения, выросшими у Боденского озера, в Нюрнберге или на

северогерманской равнине и, соответственно, имеющими в своем распоряжении школьные табели с отметками или продукты раннего творчества, ничего не сохранилось со времен детства и юности, приходится обращаться к наиболее сомнительной из всех свидетельниц по имени Память, капризной, часто страдающей мигренью даме, которую молва считает вполне продажной, если к тому располагает рыночная конъюнктура.

Следовательно, нужны подсобные средства, которые по-иному сочетают в себе множество смыслов. Например, круглые или угловатые предметы, хранящиеся в ящичке моей конторки, за которой я пишу стоя, и ждущие своего применения. Находки, если уметь ими правильно пользоваться, развязывают язык.

Нет, это не монеты, не глиняные черепки. Это медово-желтые прозрачные кусочки. В них есть оттенки осеннего багрянца и золота. Некоторые из них величиной с вишню, а вот этот не меньше утиного яйца.

Золото моей «балтийской лужи». Янтарь, найденный на балтийском побережье или купленный, вроде того, что я приобрел около года назад у торговца, устроившегося со своим ларьком под открытым небом в литовском городе, который некогда назывался Мемель. Сувениры для туристов, шлифованные или полированные, бусы, браслеты, пресс-папье, шкатулки; но встречался и необработанный или полуобработанный янтарь.

Мы приехали туда с Куршской косы на пароме вместе с Юргеном и Марией Мантей. Собственно говоря, нам хотелось лишь взглянуть на памятник Анке из Тарау и посетить места, связанные с поэтом Симоном Дахом. Ветреный день, быстрые облака, а я долго выбирал, медлил, наконец купил.

Все кусочки янтаря, которые я нашел сам или же купил, содержат посторонние включения. Тут в окаменевшей капле видна сосновая хвоинка, там — мохообразный лишайник. А здесь увяз комарик. Можно пересчитать все ножки, разглядеть пару крылышек, готовых, зазвенев, подняться в воздух.

Если поднести кусок янтаря величиной с утиное яйцо к свету, то видно, что затвердевшую пластами массу населяют крошечные насекомые. Что это за инкапсулы? Червячок? Многоножка? После долгого и пристального изучения янтарь выдает свои тайны, казавшиеся ранее надежно укрытыми.

Всякий раз, когда мое второе подсобное средство, воображаемая луковица, не желает разглашать секреты или же кодирует свои послания в почти неразгадываемых линиатурах, запечатленных на влажной пергаментной кожице, я протягиваю

руку к ящичку над конторкой в моей белендорфской мастерской и выбираю кусочек янтаря, будь то найденного или купленного.

Вот медово-желтый янтарь, совсем прозрачный, только у кромки проступает молочная муть. Если долго держать его против света, отключившись от всего остального и не давая отвлечь себя ничем: ни политическими новостями, ни повседневными заботами, то есть полностью предоставить себя — себе, то вместо застывшего в смоле насекомого, которое еще только что выглядело малюсеньким клещом, я вижу себя, целиком, четырнадцатилетним и голым.

Мой пенис, в спокойном состоянии еще вполне мальчишеский — такой же, как у Амура, которого написал для одной из моих сигаретных картинок гениальный художник, способный, впрочем, и на убийство, — уже претендует на взрослость, когда по собственному желанию или после нескольких прикосновений встает, обнажая головку.

Пенис Амура, бога любви, созданного кистью Караваджо, выглядит мило и невинно — эдакая забавная висюлька, — хотя крылатый сорванец изображен вылезающим из кровати, где он только что исполнял роль то ли подстрекателя, то ли пособника; мой же член, притворяющийся в дремотном состоянии безобидным, на самом деле безоговорочно грешен. Всегда настороже, он стойко и мужественно готов к вторжению, не важно куда, пусть даже в отверстие от сучка в деревянной кабинке Брёзенской купальни.

Если продолжить дознание, янтарь скажет больше: пенис, принадлежащий мне или моему заключенному в застывшей смоле автопортрету, совершенно неразумен и намеревается пожизненно оставаться таковым. Пока еще его можно на непродолжительное время утихомирить обычным ветхозаветным способом, но руки ему уже недостаточно. Его головка, именуемая в просторечии залупой, целеустремленно желает иных услад и скорого облегчения. При всей очевидной неразумности: голь на выдумки хитра. Ему присущи честолюбие и спортивный азарт. Рецидивист, которого не пугают никакие кары.

Пока я был верующим католиком — переход к неверию осуществлялся незаметно, — мой пенис служил неиссякаемым предметом моих покаяний. Он давал мне возможность придумывать на исповеди самые дерзкие грехи. Блуд с ангелами. Даже с непорочной овцой. Его деяния и злодеяния повергали в изумление даже моего исповедника патера Винке, ушам которого не было чуждо ничто человеческое. Мне же исповедь помогала освободиться от всего, что можно было приписать подвеску-сумасброду: еженедельное облегчение.

Однако позднее, когда четырнадцатилетний подросток уже ощущал свою абсолютную безбожность, его повзрослевший вместе с ним пенис доставлял ему большее беспокойство, нежели положение дел на Восточном фронте, где дотоле неудержимое продвижение наших танковых армий было остановлено перед самой Москвой сначала осенней распутицей, а потом снегом и льдом. Дед Мороз спас Россию.

А что помогало мне в моей нужде?

В ту пору цель моих вожделений обрела имя. Я переживал муки первой любви, силу которых вряд ли могут превзойти более поздние приступы безумства. Зубная боль — ничто по сравнению с этой мукой, хотя и та пытка изводит своим ноющим, затяжным кошмаром.

Начало моей первой любви не поддается точной датировке и не ознаменовано какими-либо конкретными действиями, вроде прикосновений, не говоря уж о физическом обладании. Остаются лишь слова, пригодные разве что для пылких, сумбурных речей, вошедших со времен гётевского «Вертера» в обиход любовной переписки и постельного шепота. Поэтому лучше буду краток.

Девочку, ставшую предметом моего прямо-таки животного вожделения, я встречал по дороге из школы. К этому времени старое здание «Конрадинума» занимали не только гимназисты, но и ученицы, выселенные из школы Гудрун, которая раньше называлась школой Хелены Ланге.

Учились по сменам в первой и второй половине дня. На улице Упхагенвег возникало встречное движение. Она шла в школу, я оттуда. У меня было пять уроков позади, ей еще только предстояло отсидеть столько же. Ее окружала стайка девочек, я шагал один, будучи закоренелым индивидуалистом. Я проходил с портфелем сквозь эту хихикающую стайку, осмеливаясь лишь на единственный взгляд, не более.

Она не была ни красавицей, ни дурнушкой; просто темноволосая школьница с довольно длинными косами. В этом темном обрамлении ее личико казалось мелким: точка-точка-запятая. Узкие сжатые губы. Сросшиеся на переносице брови.

Знавал я девчонок и симпатичнее. Даже тискался с кузиной в дедовом сарае. Другую девочку звали Дорхен, она приехала из Бартештайна в Восточной Пруссии и говорила на тамошнем диалекте, а у нас провела целое лето.

Нет, имени моей первой любви с черными косами я не назову. Может, она еще живет где-нибудь, уцелев в войну, как и я, и пожилой женщине не хотелось бы, чтобы ей досаждал своими воспоминаниями старый человек, который еще в школьные

времена производил на нее скверное впечатление, а в конце концов сильно обидел.

Пусть моя первая любовь останется безымянной, если только она не окажется мушкой или букашкой в янтарной капле, которую я выспрашиваю вслух, проклинаю, умоляю…

Я преследовал ее со всем упорством — свойство, упрочившееся с годами и до сих пор дающее знать о себе то в одном, то в другом.

Мы, гимназисты, более или менее точно знали, где в наших классах сидели девочки из женской школы, поэтому я оставлял письма на предполагаемом месте, где сидела та, что служила бездонной пропастью моих вожделений. Секретные письма приклеивались под крышку парты. Глупые послания, за которыми иногда следовали глупые ответы. Нет, стихов к моим школьным эпистолам я не присовокуплял. Не уверен даже, что ставил под записками свое имя.

Все это продолжалось до тех пор, пока мне не пришлось сменить школу и я не начал ежедневно ездить на трамвае номер пять из Лангфура в Данциг, а после школы — из Старого города обратно в предместье. Узкие улочки, кирпичная архитектура, Средневековье, угадываемое за кривой кладкой стен и за фасадами с фронтонами, — все, что может предъявить окаменевшая История, если не успокаивало, то, по крайней мере, отвлекало от переживаний, тем более что в школе Святого Петра появилась учительница рисования; ее звали Лили, она пришла в школу по мобилизации, а в моей судьбе сыграла гораздо более важную роль, чем я мог представить себе зимой сорок второго, сорок третьего года — до и после Сталинграда.

Лишь после следующей смены школы, когда мои одногодки были призваны во вспомогательные части противовоздушной обороны и мы обзавелись ладной формой, моя первая любовь прислала мне письмо, доставленное полевой почтой на зенитную батарею Кайзерхафен, где я проходил подготовку в качестве шестого номера расчета зенитки.

Уж не помню, что было написано ученическим почерком, но свежеиспеченный юный зенитчик в новехонькой форме проявил немалое высокомерие, а именно исправил красными чернилами на манер строгого ментора грамматические ошибки и отправил письмо обратно, сопроводив его ответными строками, вероятно, лирического свойства.

Моя первая любовь умолкла. Я сам писал с ошибками в пятнадцать лет и еще долгие годы потом, а, собственно, и до сих пор у меня трудности с орфографией, но тогда я сломал что-то, что еще только намечалось и обещало даже больше, чем мог

удовлетворить мой вечно неугомонный, как у Амура Караваджо, пенис.

Дальше — пустота. Заботливо пестуемое одиночество. Вожделение иногда дремало, иногда вновь обострялось. Оно пережило все те месяцы, которые я отслужил во вспомогательных частях противовоздушной обороны; барачная тягомотина на зенитной батарее неподалеку от порта отражена в романе «Собачьи годы», хотя там рассказаны совсем иные истории на подростковом жаргоне других ребят, радовавшихся, как и я, что для них закончились не только обязаловка гитлерюгенда, успевшая набить оскомину, но и школа.

Правда, глупости любви играют в этом многоплановом романе кое-какую роль, однако следует заметить, что костлявая девчонка по имени Тулла Покрифке, наносившая по выходным визиты личному составу зенитной батареи Кайзерхафен, не имеет ничего общего с моей первой любовью.

Янтарь притворяется, будто помнит больше, чем нам хотелось бы. Он консервирует то, что давно переварено и должно быть испражнено. Янтарь содержит все, что некогда сумел поглотить, будучи в жидком состоянии. Он не приемлет отговорок. Янтарь ничего не забывает и разглашает сокровенные тайны громче, чем базарная торговка расхваливает свежие овощи; он категорически утверждает, что двенадцатилетний мальчуган, носивший мое имя, тогда еще вполне набожный — точнее, верующий если не в Бога, то в Деву Марию, — нескромно заглядывался на занятиях по катехизису на девочку с косичками. Священник церкви Сердца Христова готовил нас в приходском доме к первому причастию. Мы должны были выучить наизусть весь регистр грехов из «исповедного вопросника»: какие грехи простительны, какие тяжкие, а какие смертные. Вместе с братом той девочки я даже заменял порой министранта, носил колокольцы и кадило, устремив взор на дарохранительницу.

Да, я и сегодня помню подготовительную молитву у алтарных ступеней. Подобно Маллигану в начале «Улисса», я, бреясь по утрам, шепчу: «Introibo ad altare Dei…»

А в тринадцать лет — уже разочаровавшись во всевозможных католических трюках — я продолжал ходить к субботней вечерне, кажется только затем, чтобы подкараулить ту девочку, старался сесть поближе к исповедальне, на скамейку позади косичек.

Медово-желтый сгусток окаменевшей смолы выбалтывает даже тайну исповеди: мои уста доносили до слуха старого священника всяческие подробности относительно предмета моих рукоблудных фантазий, при этом у меня невольно сорвалось с

языка имя той девочки, которая служила целью моих вожделений. Святой отец за решеткой исповедальни только закашлялся.

Позднее, пока прихожанка с косичками сортировала перед исповедальней свои прегрешения, я выскользнул со скамьи к алтарю Девы Марии, чтобы там по злому умыслу или из чистого озорства…

Нет, говорю я, положив янтарный сгусток к другим кусочкам с иными чужеродными включениями-инкапсулами: комарами, паучками, букашками. То был не я. Это произошло только в моей книге и остается правдой лишь там. Никаких доказательств содеянного святотатства нет; ведь весной 2005 года я вместе с десятью приехавшими издалека переводчиками и моим редактором Хельмутом Фрилингхаузом побывали в Гданьске, чтобы «разобраться» там с моим первенцем, для чего мы и посещали места, где происходили быстро сменяющиеся события романа; среди этих мест числилась церковь Сердца Христова, которая уцелела в годы войны и в которой вместо достоверно описанного алтаря Девы Марии теперь стоит копия вильнюсской Черной Мадонны, сияет позолоченным нимбом и привлекает благочестивых поляков. Рядом, позади свечей в нише мы увидели фотографию публично скончавшегося Папы и снимок недавно избранного Папы, немца по национальности.

Там, среди неоготического антуража юношеских и подростковых святотатств, молодой и лукаво улыбающийся священник, ничуть не похожий на патера Винке, попросил меня надписать польское издание «Жестяного барабана», на что автор книги в присутствии изумленных переводчиков и своего редактора не замедлил поставить на титульном листе автограф: ведь это не я отломил тогда «поливалочку» у младенца Иисуса на алтаре Девы Марии в церкви Сердца Христова. То был другой. Некто, не отрекшийся от зла. Некто, не желавший расти…

Я же рос и рос. В шестнадцать лет, когда меня призвали на трудовую службу, я выглядел вполне сформировавшимся. Или окончательный рост — метр и семьдесят два сантиметра — мне замерили уже тогда, когда я стал солдатом, лишь по счастливой случайности сумевшим пережить войну?

Этот вопрос не волнует ни луковицу, ни янтарь. Они претендуют на иные достоверные знания. О других инкапсулах, стыдливо спрятанных, утаенных под разными личинами. О том, что гнездится подобно вшам в волосатой мошонке. Слова, скрываемые за многословием. Обрывки мыслей. То, что болит. До сих пор…

Его звали Нельзя-нам-этого

Поймал себя на том, как, перелистывая страницы и наталкиваясь на пробелы, начинал рисовать там узоры или человечков. Наспех рассказанные частности, отступления ложились на бумагу и тут же вычеркивались: все долой!

Но теперь исчезли сочленения того процесса, которому никто не препятствовал, ход которого был необратим и чьи следы не устранит никакой ластик. Если же вспоминать о фатальном шаге, сделанном пятнадцатилетним школьником в военной форме, не надо прибегать ни к луковице, ни к иным вспомогательным средствам. Вполне достоверно то, что я решил пойти на военную службу добровольцем. Но когда это случилось? Где?

Не помню ни точной даты, ни характерных для той поры капризов погоды, ни событий, синхронно происходивших на пространстве между Ледовитым океаном, Кавказом и прочими фронтами, а потому написанные фразы складываются пока из довольно смутных предположений насчет того, что же привело меня к этому решению и в конце концов заставило подать официальное заявление. Тут не позволительны ссылки на некие смягчающие обстоятельства. Значение этого поступка нельзя преуменьшить, оправдать детским недомыслием. На меня никто не давил. Не преследовало меня и чувство вины — допустим, из-за сомнений в непогрешимости Вождя, — которую я пытался бы искупить героическим порывом.

Случилось это во время моей службы во вспомогательных частях противовоздушной обороны, которая не была добровольной, однако казалась освобождением от школьной рутины, да и переносить ее было сравнительно легко, поскольку муштровали нас не слишком рьяно.

Так представлялось тогда дело нам, подросткам. Хотелось щегольнуть формой. Переживая трудности переходного возраста, мы укрепляли «тыловой фронт». Зенитная батарея в Кайзерхафене стала нашим домом. К востоку открывалась низина с устьем Вислы, на западе высились грузовые краны, элеваторы, далекие башни города. Сначала еще делались попытки продолжить школьные занятия, но потом их прекратили, так как уроки слишком часто прерывались учебными тревогами; к тому же учителям, людям пожилым и довольно немощным, было трудно добираться по песчаной дороге до нашей батареи.

Наконец-то нас воспринимали всерьез. Шесть стволов и управляющую установку следовало наводить на обнаруженную цель. Обученные обращаться с военной техникой, мы должны были при необходимости защитить город и порт от террористических налетов вражеской авиации; по тревоге каждый за считанные секунды занимал свое место в боевом расчете.

Правда, наша батарея восьмидесятивосьмимиллиметровых зениток сработала всего два или три раза, когда несколько вражеских бомбардировщиков были обнаружены в ночном небе, где их вели перекрестия прожекторных лучей. Выглядело это торжественно и красиво. Но массированные налеты, тем более настоящие огненные смерчи, которые выпали на долю Кёльна, Гамбурга, Берлина, городов Рура, нас миновали. Нанесенный урон был незначителен. Неподалеку от верфи Шихау, на улице Фуксвалл, бомбы разрушили два дома, убитых было немного. Но мы гордились сбитым четырехмоторным бомбардировщиком «Ланкастер», хоть его и записали на счет батареи, расположенной

на южной окраине, в районе Циганкенберг. По слухам, найденные обгоревшие тела принадлежали летчикам канадского экипажа.

Наша служба была довольно нудной, хотя и по-другому, чем школьная рутина. Особенно докучали нам ночные дежурства и занятия по баллистике, которые проходили в душных учебных бараках. Скука оборачивалась детскими проказами. Мы глупо хвастались выдуманными историями насчет девочек. Так проходили дни.

Раз в две недели нам выдавали на выходные увольнительную «к мамочке». И всякий раз радость предстоящего возвращения домой омрачалась мыслью о тесноте нашей двухкомнатной квартиры. Тут не помогал даже ванильный пудинг с миндалем; отец, который по собственной охоте взял на себя в семье обязанности кулинара, ухитрялся приберечь для торжественного случая дефицитные ингредиенты этого лакомства. Специально для меня он заливал выложенный из формочки пудинг шоколадом и ставил его на стол, празднично накрытый к встрече сына.

Но никакие лакомства не могли преодолеть тесноту. Меня все раздражало, например, отсутствие ванной и туалета в нашей квартире. На зенитной батарее в Кайзерхафене имелась по крайней мере душевая, а на улице — солдатский сортир. Там мы садились рядком, сосед возле соседа. Это мне не мешало.

Но дома все большую досаду и отвращение у меня вызывал туалет на промежуточном этаже, один на четыре семьи, вечно загаженный соседскими детьми или занятый, когда тебе приспичит. Вонючая конура, на стенах грязные следы от пальцев.

Я стыдился этого туалета, скрывал его от одноклассников, у которых дома, естественно, имелась роскошная ванная и туалетная комната, а потому не приглашал их к себе. Исключением был только Эгон Хайнерт, живший на улице Луизы, где вонючий туалет был устроен таким же образом; Эгон иногда приходил ко мне, давал почитать свои книги.

Двухкомнатная дыра. Социальная западня. Здесь все стесняло меня, когда я возвращался домой на выходные. Даже материнская рука, гладившая сына по голове, не могла смахнуть этой досады. Хотя его уже считали взрослым, а потому больше не укладывали на ночь в родительской спальне, где, кстати говоря, продолжала спать сестра, а стелили постель на кушетке в гостиной, однако он по-прежнему оставался свидетелем супружеского ритуала, регулярно свершавшегося ночью с субботы на воскресенье. Я, пускай приглушенно, слышал — или мне мерещилось? — все знакомые с детства звуки, сопровождающие этот чудовищный ритуал: шепот в начале, чмоканье, скрип кровати, шорох матраца,

набитого конским волосом, вздохи и стоны, все звуки полового акта, особенно отчетливо раздававшиеся в ночной темноте.

Будучи ребенком, я с любопытством прислушивался к этой возне, происходившей совсем рядом, и долгое время не подозревал, что там, собственно, творится. Но теперь получившему короткое увольнение сыну, днем носившему форму вспомогательных зенитных частей, а ночью одетому в пижаму, было невыносимо слушать, как отец наваливается на мать.

При этом я не помню точно, занимались ли они этим, когда сын лежал без сна за стеной на кушетке и мог все слышать. Скорее всего, нет — они не решались беспокоить отпускника и потому не трогали друг друга. Но мне не давало уснуть само ожидание этих звуков — неизменно одних и тех же, будто запрограммированных.

В темноте у меня сверхотчетливо появлялись перед глазами всяческие варианты супружеского совокупления. И каждый раз мать выглядела в этом киноэпизоде жертвой: она уступала натиску, отдавалась, терпела до изнеможения.

Ненависть маменькиного сынка к отцу, тот подсознательный комплекс, что заложил основу греческой трагедии и придал убедительность и вес теориям доктора Фрейда и его учеников, стал для меня если не главной причиной, то дополнительным побудительным мотивом бегства из дома.

Существовали всякие возможности. И все они сводились к одному. Прочь отсюда, на фронт, на любой из фронтов, лишь бы поскорее.

Я искал ссоры с отцом. Но спровоцировать его на конфликт было трудно — потребовалось бы слишком много поводов, ибо отец был человеком миролюбивым и сразу же шел на уступки: ему всегда хотелось гармонии. Он часто высказывал нам свои родительские пожелания: «Хочу, чтобы вам жилось лучше нашего. Ваша жизнь должна быть счастливей, чем наша».

Сколько бы я ни воображал его монстром, из отца плохо получался объект для ненависти. На взгляд его голубых глаз, я мог, пожалуй, показаться чужим птенцом, подброшенным в гнездо кукушкой. А вот моя маленькая сестра питала к отцу нежную привязанность, чем, вероятно, немного смягчала жесткосердие брата.

А мать? Она частенько подсаживалась к пианино, но не играла. Ее утомляла работа в лавке, нехватка продуктов. Наверное, ей, как и отцу с дочерью, тяжело давались краткосрочные отпуска сына, который мнил себя страдальцем.

И все же я решил пойти на фронт добровольцем не только из-

за того, что не выносил двухкомнатную квартирку и туалет на четыре семьи. Мои одноклассники жили в шестикомнатных квартирах с ванной, в уборных у них висели рулоны туалетной бумаги, а не как у нас — порванные на квадратики газеты. Некоторые даже обитали в роскошных виллах на улице Упхагенвег или на Аллее Гинденбурга, у каждого — собственная комната, но их все равно тянуло из дома, на фронт. Как и мне, им, вероятно, хотелось проявить бесстрашие перед лицом опасности, топить один неприятельский корабль за другим, подбивать танки или летать в новейших «мессершмиттах», сбивая вражеские бомбардировщики.

Но после Сталинграда все фронты попятились назад. Тем, кто отслеживал их движение с помощью разноцветных булавочек по увеличенным и наклеенным на картон географическим картам, было трудно поспевать за событиями на Востоке или в Северной Африке. Правда, союзная Япония сообщала о победах на морях и об успешном наступлении в Бирме. Иногда наши подлодки давали повод для новостных программ, где указывалось количество потопленных вражеских судов и их тоннаж. Наши субмарины стаями охотились за морскими конвоями в Атлантике и Ледовитом океане.

Ни одного киножурнала не обходилось без показа подлодки, возвращающейся с победой из плаванья. Отбывая короткое увольнение, я после киносеанса долго ворочался на кушетке в гостиной, не мог уснуть, поэтому мне было легко представить себя вахтенным матросом на мостике семисотпятидесятитонной субмарины: промасленный комбинезон обрызган штормовой волной, бинокль обшаривает раскачивающийся горизонт.

Будущий матрос-доброволец предавался грезам о подвигах и представлял себе, как возвращается из успешного похода, преодолев все опасности — враг не скупился на глубинные бомбы, — на плавбазу где-нибудь на французском побережье Атлантики: команда во главе с капитан-лейтенантом выстроена под вымпелами, сигнализирующими о потопленных судах. Экипаж, который никто уже не чаял увидеть живым, встречают бодрые марши военно-морского оркестра, приветствуя счастливое возвращение героев именно так, как это всякий раз показывали в кино; а вот лодки, ушедшие вместе с экипажами на дно, естественно, никто заснять и показать не мог.

Нет, не газеты прививали мне подобную веру в героев — родители выписывали не боевитый «Форпостен», а обстоятельные «Данцигер нойстен нахрихтен», — пожалуй, веру эту укрепили именно еженедельные киножурналы, снабжавшие меня приукрашенными черно-белыми новостями, которым я

безоговорочно доверял.

Еженедельный киножурнал шел перед хроникально-документальным или художественным фильмом. В кинотеатре Лангфура или старогородском кинозале «УФА-паласт» на Элизабеткирхенштрассе я видел Германию в окружении врагов; она уже вела самоотверженные оборонительные бои в степях России, в знойных песках ливийской пустыни, на рубежах Атлантического вала, немецкие подлодки сражались на всех мировых океанах, а в тылу женщины вытачивали снарядные гильзы, мужчины работали на танковых конвейерах. Защитные редуты против красных орд. Народ в решающей битве за свою судьбу. Крепость Европа, противостоящая натиску англо-американского империализма; да, жертвы были велики, поэтому в газете «Данцигер нойстен нахрихтен» изо дня в день увеличивалось количество обведенных траурной рамкой объявлений с черным крестом, которые извещали о смерти солдат, павших за Вождя, Народ и Отечество.

Не к этому ли я стремился? Не примешивалась ли к моим мечтам тяга к смерти? Может, и мне хотелось, чтобы мое имя увековечили в траурной рамке? Вряд ли. Хоть я был эгоцентричен и одинок, но свойственные возрасту помыслы о самоубийстве были мне чужды. Следовательно, просто глупость?

Неизвестно, что происходит в душе пятнадцатилетнего подростка, который без всякого принуждения, добровольно хочет непременно отправиться туда, где идет война и где — как он догадывается и даже знает из книг — ведет свою бухгалтерию смерть, вычеркивая людей из списков живущих. Можно предположить избыток эмоций, стремление к самостоятельным поступкам, желание поскорее повзрослеть, стать мужчиной среди мужчин.

Вероятно, рядовому вспомогательной службы ВВС удалось поменять отпуск, положенный в конце недели, на увольнительную в среду или четверг. Так или иначе, после долгого пешего марша я доехал на трамвае от Хойбуде до данцигского Главного вокзала, оттуда поездом через Лангфур и Сопот — в Готенхафен, город, который в годы моего детства назывался Гдинген, а по-польски Гдыня. Он вырос слишком быстро, поэтому не имел истории. Его новостройки с плоскими крышами тянулись до самого порта, защищенного молами и пирсами со стороны открытого моря. Здесь из матросов-новобранцев делали подводников. Такая же подготовка велась в других местах — например, в Пилау или еще дальше от нас.

Примерно через час езды я прибыл к цели моих героических

мечтаний. Было это в марте или переменчивом апреле? Кажется, моросил дождь.

Над портом висела изморось. На причале Оксхёфта стоял пришвартованный «Вильгельм Густлофф», бывший лайнер организации «Сила через радость», теперь приспособленный под плавучую казарму учебного дивизиона подводников. Но наверняка я этого не знал. Военный порт и верфь считались закрытой зоной.

Спустя шестьдесят лет, с задержкой на целую человеческую жизнь, я наконец сумел написать повесть «Траектория краба», которая повествует о лайнере «Вильгельм Густлофф», о его торжественном спуске на воду, о популярных круизах мирного времени, о переоборудовании ставшего на мертвый якорь лайнера под плавучую казарму в годы войны, о его новом морском походе с людьми на борту — тысяча курсантов и несколько тысяч беженцев; наконец, о его гибели тридцатого января сорок пятого года в районе Штольпебанк; про катастрофу мне было известно все до мельчайших подробностей: температура воздуха того дня — минус двадцать градусов, количество торпед, поразивших цель, — три…

Повесть получилась из нескольких переплетающихся сюжетов; прослеживая их, я видел себя новобранцем-подводником на борту тонущего «Вильгельма Густлоффа». Можно было догадаться, что творилось под бескозырками в головах у семнадцатилетних матросов незадолго до гибели в ледяных водах Балтики: мечты о девочках, дарующих короткое счастье, о будущих героических делах, причем все они, как и я, верили в окончательную победу.

Явочный пункт находился в приземистом бараке еще польских времен; там, за дверями с табличками, велась административная, организационная работа, бумаги пересылали по инстанциям или подшивали в канцелярские папки. Я записался на прием, после чего мне велели подождать. Передо мной оказалась очередь из двух-трех ребят постарше, с которыми мне было в общем-то не о чем говорить.

Штабс-фельдфебель и старший матрос хотели сразу же избавиться от меня: дескать, слишком молод. Мой год еще успеют призвать. Спешить некуда. Они курили и пили кофе с молоком из пузатых чашек. Тот, кто показался мне постарше — штабс-фельдфебель? — чинил впрок карандаши. А может, подобное занятие я видел в каком-то кинофильме?

Как был одет юный зенитчик — в форму или в гражданские шорты и гетры? Стоял ли он на почтительном расстоянии от стола, руки по швам, докладывая, как учили: «Прошу зачислить

добровольцем в подводный флот!»?

Предложили ли ему присесть?

Мнил ли он сам себя смелым, почти героем?

В качестве ответов возникает лишь смутная картинка, из которой трудно уловить что-то определенное.

Во всяком случае, я продолжал упорно настаивать на своем, даже когда мне сказали, что сейчас добровольцев в подводный флот не берут. Прием приостановлен.

Война, мол, идет, как известно, не только на море под водой. Но заявление мое оставят, дадут ему ход. Сейчас формируются танковые дивизии и, когда подойдет очередь моего двадцать седьмого года, тогда обо мне непременно вспомнят. «Не торопись, парень, долго ждать не придется».

Видимо, доброволец проявил покладистость: «Ладно, если не на подводный флот, то пускай в танковые войска».

Задавал ли он вопросы о новейшей технике: «А на „тигр“ я попаду?»

Наверняка ему тут же вспомнились хроникальные кадры киножурналов, откуда черпали свои военные познания юные зрители: танки Роммеля среди песков пустыни.

Вероятно, я похвастал моей осведомленностью, заимствованной из «Карманного морского справочника» Вейера и «Морского календаря» Кёлера. Я знал назубок до мельчайших подробностей все, что касалось японских крейсеров, авианосцев или линкоров и их побед на Тихом океане: каким был, скажем, захват Сингапура и как шло сражение за Филиппины; я до сих пор помню точные данные о вооружении, которым располагали тяжелые крейсеры «Хурутака» или «Како», и о том, скольких узлов достигала их скорость. Память любит хранить старье, то есть вещи, которые обещают просуществовать долго, пусть даже в качестве утиля.

Через какое-то время похожему на добродушного дядюшку фельдфебелю и довольно грубому старшему матросу надоели мои разглагольствования. Они весьма резко оборвали разговор, но дали понять, что мое заявление не останется без внимания. А пока, дескать, мне все равно предстоит трудовая служба. От нее не освобождают даже тех, кто идет в армию добровольцем. У них строго. Они еще мне покажут, где раки зимуют.

Представляя себе вытянувшегося по стойке «смирно» подростка с голыми коленками, в гольфах и зашнурованных ботинках, которые он накануне начистил, словно на строевой смотр, и стараясь отделить воспоминания от вторичных наслоений — эпизодов из кинофильмов или прочитанных книг, — я слышу смех обоих взрослых мужчин в военной форме,

казавшихся мне тогда уже старыми; в этом смехе звучали одновременно и ирония, и сочувствие, будто они знали, что предстоит испытать подростку в коротких штанах.

Левый рукав фельдфебеля был пуст.

Прошло время. Мы привыкли к барачной жизни и к двухъярусным кроватям. Тянулось лето без балтийских пляжей и купального сезона. Излюбленные словечки одного унтер-офицера, который якобы раньше учился на философском факультете, вплетались в наш школьный жаргон. Нас он называл «собачьим отродьем, забывшим смысл бытия»: «Надо выбить из вас дурацкую самость». При взгляде на «кучку засранцев» ему приходила в голову мысль о нашей «заброшенности». В остальном он был вполне безобиден. Не злоупотреблял муштрой. Человек, любивший слышать самого себя, — это свойство сохранилось у него вплоть до «матерниад» в романе «Собачьи годы».

При северо-западном ветре от портовой территории, где неподалеку от фабричных построек чудилось нечто белесое, притягивающее к себе вороньё, доносился тлетворный смрад. Позже я еще много чего навидался и нанюхался. И это имело отдаленные последствия. Кормили нас уже не помню чем.

В конце августа новый барак заняли украинские добровольцы из вспомогательных частей. Эти ребята были немногим старше нас, им надлежало обслуживать зенитчиков, освобождать их от разных подсобных работ на кухне или рытья траншей. Вечерами они тихо сидели возле сараев, поодаль от нас.

Зато вместе с ними мы охотились на длиннохвостых крыс в умывальных помещениях и на позициях наших восьмидесятивосьмимиллиметровых зениток. Охота велась в промежутках между учебными тревогами и занятиями по баллистике. Кто-то из нас — или это был украинец? — ловил крыс прямо голыми руками. Предъявителю более десятка отрубленных хвостов полагалась награда: юный зенитчик получал фруктовые леденцы, старослужащий — сигареты, а украинцам давали махорку, которую они предпочитали сигаретам.

И хотя наши уловы были весьма значительны, а урон, нанесенный крысиному поголовью, довольно велик, наша батарея в Кайзерхафене не могла похвастать явной или неявной победой над крысами; видимо, поэтому спустя десятилетия эти недоистребленные грызуны заполонили своими речами целый роман. Они снились мне поодиночке и как целый крысиный народ. Они высмеивали меня, ибо я все еще на что-то надеялся. Они же все знали наперед, а потому зарывались в землю… Только крысы оказались способны пережить человечество и все людские

раздоры…

Вскоре после шестнадцатого дня рождения меня вместе с частью команды зенитной батареи Кайзерхафен перевели на береговую батарею Брёзен-Глеткау, которой для обороны расположенного рядом аэродрома от штурмовиков были приданы счетверенные зенитные установки. Там нашей добычей служило не столько поголовье длиннохвостых, сколько кролики.

В свободные часы я уходил к дюнам, где, укрывшись от ветра, кропал в дневнике осенние стишки. Для которых хватало перезрелого шиповника, будничной скуки, ракушек и вселенской скорби; колеблемого ветром прибрежного камыша или вынесенного прибоем резинового сапога. Наплывающий туман превращал в рифмованные строки воображаемую неразделенную любовь. В оставшихся после шторма водорослях и тине можно было найти мелкие кусочки янтаря, а если повезет, то и покрупнее — величиной с лесной орех. Однажды мне попался кругляш не меньше грецкого ореха; в нем, пережив хеттов, египтян и древних греков, Римскую империю и еще бог знает что, уцелело нечто похожее на тысяченожку. Но замков из мокрого песка я больше не строил.

Дома все шло своим чередом сообразно дефицитной экономике военного времени. Поутихли ссоры с отцом во время моих коротких увольнений на выходные; видимо, мне нравилось не обращать на него никакого внимания, хотя он был рядом, стоял или сидел в гостиной среди мебели, в костюме с галстуком, войлочных шлепанцах, или, повязав вечный кухонный фартук, неизменно месил тесто в вечном фаянсовом тазу, или рвал газету на бумагу для туалета; он был освобожден от армии, ему не надо было идти на фронт, поэтому соприкосновения с отцом оставались неизбежными. Зато на день рождения он подарил мне наручные часы марки «Кинцле».

Мать уже почти совсем бросила играть на пианино. Ее вздохи по поводу складывающегося положения дел заканчивались словами: «Даже не знаю, чем все это кончится».

Однажды она сказала: «Жаль, что нету Гесса. Он нравился мне больше, чем наш Вождь…»

А еще она говорила: «И чем им евреи не угодили? Раньше к нам захаживал коммивояжер-галантерейщик. Цукерманн его звали. Обходительный такой, скидку всегда мне давал…»

После ужина на стол выкладывались продуктовые карточки. Их нужно было наклеивать крахмальным клеем на газетные листы. Эти листы потом сдавали в хозяйственное управление, чтобы в соответствии с количеством сданных карточек получить

новые продукты. После закрытия магазинов сети «Кайзерс Каффее» на площади Макса Хальбе у нас прибавилось клиентов.

Я часто помогал наклеивать продуктовые карточки. Подложкой служила газета «Данцигер нойстен нахрихтен» с недавними новостями. Талоны на муку или сахар закрывали собой, например, очередную сводку Верховного командования вермахта, где вместо слова «отступление» говорилось о «выравнивании линии фронта», чтобы скрасить реальную ситуацию. Названия оставленных городов были мне знакомы еще со времен наступления. Карточки на жиры или растительное масло закрывали, скажем, страницы с извещениями о гибели солдат. Талоны на бобовые культуры не позволяли прочесть еженедельно сменяющуюся программу кинотеатров или мелкие объявления и рекламу.

Иногда помогал и отец. Совместное наклеивание продуктовых карточек сближало нас. Он называл жену «Ленхен». Она его — «Вилли». Меня они звали «сынок». Моя сестра по прозвищу Даддау в этом занятии никогда не участвовала.

Пока клейстер подсыхал, радио передавало воскресный концерт по заявкам, постоянно повторяя любимые мамины мелодии: «Ах, ее я потерял…», «Слушай, голубок воркует…», «Один, я вновь один…», песню Сольвейг «Пусть лето пройдет и весна пролетит…», «Колокола родины».

Зимой фронт продолжал пятиться. Победных реляций почти не слышалось. Зато все больше людей, пострадавших от бомбежек, искали пристанище в городе и предместьях. Среди них и сестра моего отца, тетя Элли, с мужем-инвалидом и девочками-двойняшками, которые мне нравились. Захватив остатки спасенного скарба, они перебрались из Берлина в пощаженный войной и еще целехонький город, который так уютно чувствовал себя посреди своей кирпично-готической старины, будто боевые действия всегда будут идти где-то далеко-далеко.

Кинотеатры работали вполне регулярно, как и в мирное время, поэтому увольнения на выходные мы использовали для походов в кино. С одной из двойняшек, без умолку щебечущей на берлинском диалекте, я посмотрел комедию «Квакс — незадачливый пилот», где главную роль играл Хайнц Рюман, и фильм «Родина» с Зарой Леандер. Были и другие кинофильмы, которые мы смотрели вместе, тесно прижавшись друг к другу. Моя кузина, которая была на год старше меня, проявляла в темноте большую ловкость рук.

Похоже, в течение зимы та подпись, которая сделала меня в готенхафенской военной канцелярии добровольцем, пожелавшим быть направленным в тот или иной род войск, стала для меня

чем-то вроде мимолетного каприза, который не влечет за собой последствий. Стремление уйти из дома на любой из фронтов испарилось. Теперь у меня появилась другая тяга. Я зачитывался стихами Эйхендорфа и Ленау, «Кольхаасом» Клейста и «Гиперионом» Гёльдерлина, а во время дежурства у зенитки погружался в свои мысли. Я засматривался на все еще покрытую льдом Балтику. Там, на туманном рейде, стояли на якоре грузовые суда, среди них, вероятно, и шведские.

Примерно в это же время, еще до начала весны, полевая почта доставила мне письмо, написанное ученическим почерком той самой девочки с черными косами, которая была предметом моей первой — ни с чем не сравнимой по страстности — любви. Что содержалось в этом письме, орфографические ошибки которого я счел необходимым исправить, из памяти улетучилось. Наше счастье превратилось в черепки, не успев начаться.

После войны я несколько лет просматривал списки разыскиваемых людей, опубликованные Красным Крестом, а также выпускавшуюся беженцами газету «Наш Данциг», где иногда сообщалось о встречах бывших одноклассниц из школы имени Гудрун, которая раньше называлась школой Хелены Ланге; я искал фамилию девочки, принимавшей разные обличья, казавшейся мне то до осязаемости близкой, то нереально далекой и получавшей в моих книгах разные имена.

Однажды, в середине шестидесятых, мне почудилось, будто я увидел ее перед главным порталом Кёльнского собора. В шляпке горшком, горестно глядевшая, она просила милостыню. Я заговорил с ней, в ответ почти безумная женщина что-то забормотала на кёльнском диалекте.

А в конце девяностых мы с Утой опять побывали в Гданьске, где в частной квартире среди совсем немногочисленной публики состоялась весьма удачная постановка моей повести «Ука» в исполнении немецко-польского камерного театра; после спектакля Ута и я прошли мимо старого здания на бывшей улице Браунсхёфервег. «Здесь она жила», — сказал я и сам показался себе смешным.

Свою утрату, поначалу почти невыносимую, я все же кое-как пережил. У меня оставалась еще одна из кузин, которой я отдал предпочтение. Служба, при всей скуке, шла вполне сносно, а то и вовсе неплохо. Уставшие от войны унтер-офицеры и старшие ефрейторы, занимавшиеся нашей подготовкой, не слишком свирепствовали и вроде бы даже испытывали к нам благодарность за возможность «приводить в порядок стадо баранов» вдали от войны.

На позиции береговой батареи равномерно накатывался прибой. Из мелкокалиберных винтовок мы якобы в учебных целях отстреливали кроликов и чаек, хотя последнее запрещалось. Когда заряжали дожди, то в свободные от дежурства часы мы играли в шашки или карты.

Подобное времяпрепровождение без особых событий могло бы занять не только переставшую медлить весну, но и лето. Однако вскоре после медицинского освидетельствования, которому подвергались все военнообязанные — один год за другим — в здании окружной военной комендатуры на улице Вибенвалл, мне пришла проштемпелеванная призывная повестка из Имперской службы труда.

Я был не единственным, кому повестку доставили заказным письмом. Тут все работало, как отлаженный часовой механизм. Настал черед двадцать седьмого года рождения. Срок призыва на трудовую службу — три месяца. Начало выпало на последние числа апреля или же первые числа мая. Вместе с другими ребятами, которых тут же сменил очередной набор данцигских старшеклассников, меня списали из рядов вспомогательной службы ВВС; я вновь надел короткие штаны и гольфы, что вызывало мое неудовольствие, когда я смотрелся в зеркало, навещал друзей или симпатичных сестер-двойняшек.

Эта быстрая череда событий уместилась на довольно узком промежутке, в то время как на далеком фронте собирали опознавательные жетоны с мертвых и раздавали наградные побрякушки живым.

На протяжении зимы и в начале весны сообщения о выравнивании линии фронта на Востоке — Киев был оставлен — и о сражениях между японцами и американцами за тихоокеанские острова, а также о событиях на юге Европы вновь расширили мои географические познания: после ухода итальянских союзников, что мы считали подлейшим предательством, и освобождения Дуче, спасенного десантниками в Абруццах — нового героя звали Скорцени, — наступила очередь затяжных боев за развалины монастыря Монтекассино. Американцы, высадившись на побережье севернее Рима, сумели увеличить плацдарм, за который все еще шли бои, когда мне пришлось снять ладную форму юного зенитчика, чтобы сменить ее на куда менее нарядные шмотки Имперской службы труда. Они были дерьмово-коричневого цвета, поэтому можно сказать, что мы выглядели обосранными. Особенно нелепым был головной убор — круглая фетровая шапка с козырьком и вмятиной посредине, прозванная «жопой с ручкой» и заслуживавшая лишь того, чтобы ее выбросили на помойку.

В моем раннем рассказе «Кошки-мышки», который, едва появившись на свет, попал под категорию «литературы, вредной для юношества», но позднее был включен в школьную программу и с тех пор служит объектом всевозможных интерпретаций для педагогов, более или менее строго придерживающихся методических рекомендаций, трагикомический герой Иоахим Мальке вынужден некоторое время носить сей невзрачный головной убор. Таким Иоахима Мальке увидел рассказчик Пиленц в дворцовом парке Оливы. И Тухельская пустошь, где находился мой трудовой лагерь, состоявший из выстроенных в каре жилых бараков и хозблока, вполне соответствовала описанию той самой слегка холмистой местности, где Иоахим Мальке превращался в героя войны: «…красивые облака над березами и над бабочками, которые не знали, куда им лететь. Темно-блестящие, круглые озерца среди болот, в которых можно было глушить гранатами карасей и замшелых карпов. Природа, куда ни присядешь посрать. Кинотеатр находился в Тухеле…» Остается добавить песчаную почву, смешанный лес и заросли можжевельника — подходящие места для партизан.

Однако мне время трудовой службы запомнилось не так, как его описывает Пиленц, повинуясь своей неудержимой потребности рассказать о Великом Мальке; дело не только в частностях, но и в складывающейся из них тенденции, которая применительно ко мне носит разоблачительный характер: здесь я упустил возможность усвоить первый урок сомнений, хотя потом — слишком поздно, зато радикально — стал сомневаться во всем — научился не склоняться ни перед каким алтарем и не принимать никакую веру.

Это не всегда давалось легко, ибо снова и снова разгорался огонек надежды и хотелось согреть им холодный разум. Это было желание прочного мира и всеобщей справедливости, упование на «American way of life» с его потребительским раем; а вот теперь чудеса сулит новый Папа…

С самого начала трудовой службы мне удалось, что называется, «откосить» от работы, поскольку я бойко рисовал, умел обращаться с красками, из-за чего оказался на привилегированном положении. Стены размещавшейся в хозблоке столовой для начальства и личного состава предстояло украсить картинами, мотивами для которых я выбирал можжевельник, заводи с отраженными облаками, березки на слегка холмистой равнине. Было высказано пожелание — но не в приказном порядке — изобразить плещущуюся в воде нимфу.

Для натурных набросков я получал освобождение от работ;

до полудня я принимал участие в обычной муштре, разучивал приемы — сначала с лопатой, потом с карабином К-98, зато после обеда мне разрешалось выйти из лагеря, захватив ящичек с акварельными красками, бутылку воды и блокнот «Пеликан». Красивые облака, темно-блестящие озерца и березки, растущие позади большого валуна или перед ним, ложились на бумагу сочными цветовыми пятнами. Позднее некоторые из эскизов переносились клеевыми красками на белые стены столовой. Уже давно мое внимание особо привлекали деревья, поэтому одиноко стоящий дуб служил, видимо, для меня излюбленным мотивом.

Я до сих пор люблю рисовать акварели, будь то во время путешествий или же в нашем белендорфском саду, поэтому мне легко вообразить себя сидящим возле пузырящейся болотной лужицы или на возвышении, то есть на одном из покатых валунов, оставшихся с ледникового периода.

Я прилежно рисовал слегка холмистые равнинные пейзажи, испытывая, признаться, некоторую боязнь. Ведь за можжевельником или возвышающимися из травы далекими валунами могли устроить засаду партизаны с трофейными карабинами. Рядового трудовой службы, который прилежно орудовал кисточкой и корчил гримасы, можно было легко выцелить и уложить первым же выстрелом.

Карьера фронтовика-добровольца закончилась бы, не успев начаться. К тому же я был безоружен. Предназначенные для нас карабины поначалу выдавали лишь для утренних учебных занятий или для стрельб по мишеням и чучелам.

Если тогдашние будни и себя самого в качестве рядового Имперской службы труда я вижу расплывчато и бледно, то выдача карабинов запечатлелась до боли отчетливо и помнится по сей день.

Изо дня в день разыгрывалась церемония, которая совершалась заведовавшим оружейкой унтер-фельдмейстером с неизменно, как бы из принципа, серьезным выражением лица. Он выдавал карабины, мы принимали. Один за другим вооружались. Видимо, каждый рядовой трудовой службы должен был считать за особую честь прикосновение к дереву и металлу, прикладу и стволу карабина.

Пожалуй, так и получалось, что мы, подростки, начинали мнить себя настоящими мужчинами, когда замирали с карабинами по стойке «смирно», выполняли ружейные приемы «к ноге», «на караул» или «на плечо». Вероятно, мы почти буквально воспринимали поговорку «Винтовка — солдатская невеста» и считали себя если не женатыми на К-98, то хотя бы обрученными с ней.

Здесь нарочно и неоднократно говорится «мы», хотя среди того большинства, которое можно было загнать в общий строй или скопом просватать, имелось исключение, гораздо более отчетливо стоящее у меня перед глазами, нежели пользовавшийся привилегиями художник, его настенные росписи, усердная работа акварельной кисточкой и все остальное, что происходило на Тухельской пустоши при ясной погоде или под облачным небом.

Этим исключением был рослый паренек, голубоглазый, с пшеничными волосами и идеально-продолговатым черепом, какой обычно изображался на цветных плакатах — наглядных пособиях — как образец нордической расы. Подбородок, рот, нос, лоб — все вычерчивалось четкой линией, свидетельствовавшей об абсолютной расовой чистокровности. Зигфрид, копия сияющего бога Бальдра. Светлого, как ясный день. Ни малейшего изъяна, пятнышка, даже крошечной родинки на шее или на виске. Никакого речевого дефекта, вроде шепелявости, не говоря уж о заикании или заминках при ответе на вопрос командира. Самый выносливый на марш-броске, самый бесстрашный при прыжках через глинистую канаву. Самый быстрый, когда надо было за несколько секунд преодолеть высокую стенку на полосе препятствий. Он запросто делал полсотни приседаний. На соревнованиях он мог бы легко побить любой рекорд. Нет, у него не было ни единого недостатка. Но подлинным исключением он, чье имя и фамилия стерлись из моей памяти, стал из-за неподчинения приказу.

Он не хотел выполнять ружейные приемы. Более того, он не желал даже прикасаться к стволу своего карабина. А что еще хуже: всякий раз, когда унтер-фельдмейстер с неизменно серьезной миной на лице протягивал ему карабин — ронял его. Он или его руки вели себя преступно.

Мыслимо ли большее преступление, чем по небрежности, а тем паче, ослушавшись приказа, преднамеренно уронить в пыль учебного плаца карабин, боевое оружие, — суженую солдата?

С лопатой, настоящим орудием каждого рядового Имперской службы труда, он делал все, что полагалось, выполнял любые команды. Начищенным до зеркального блеска штыком лопаты он салютовал так, что этот штык сиял, будто солнце, перед его нордическим профилем. Он выглядел образцом для подражания, для поклонения. Пока в великом Германском рейхе еще функционировали кинотеатры, еженедельные кинохроники могли бы демонстрировать его на экране как некое сверхъестественное существо.

Что касается отношений с товарищами, он и тут заслуживал высочайшей оценки: сразу же делился с другими присланным из

дома ореховым пирогом, всегда был готов прийти на помощь. Добродушный и приветливый, он никогда не жаловался, просто делал то, что ему велели. Свои сапоги — а если просили, то и сапоги соседей по комнате — он чистил до такой уставной безукоризненности, что на поверке они радовали взор даже самого придирчивого унтер-фельдмейстера. С тряпкой и щеткой он обращался виртуозно, только к оружию не желал даже прикасаться, к тому самому карабину К-98, с которым все мы проходили военную подготовку.

На него накладывались всевозможные взыскания, с ним пробовали обращаться терпеливо. Ничего не помогало. Даже чистку выгребной ямы с помощью укрепленного на шесте черпака, в котором кишели черви, он выполнял без малейших пререканий, основательно; в облаке мух он часами черпал дерьмо из сортира, наполняя приготовленные к выносу баки, чтобы потом, хорошенько вымывшись под душем, свежим и бодрым, опять встать в строй к раздаче оружия и снова отказаться принять карабин: я вижу, будто в замедленной съемке, как карабин падает наземь, взметнув облачко пыли.

Поначалу мы задавали ему вопросы, уговаривали, потому что на самом деле любили этого чудика: «Да бери же, просто возьми в руки!»

Его ответ ограничивался несколькими словами; они вскоре стали крылатым выражением, которое повторялось шепотом.

Но когда из-за него наказанию начали подвергать всех, гонять до изнеможения под палящим солнцем, каждый из нас возненавидел его.

Я тоже заводил себя, злился на него. Ожидали, что мы сами возьмем его в тиски. Что и произошло. Он давил на нас, мы на него.

Соседи по комнате, те самые, которым он наводил глянец на сапоги, даже отлупили его: все — одного.

Не забуду, как через деревянную перегородку я слышал из соседней комнаты его стоны. Слышу удары ремня. Кто-то считал их вслух.

Ни побои, ни угрозы — ничто не могло заставить его все-таки взять оружие. Ребята нассали на его соломенный тюфяк, будто он сам мочится по ночам в постель, но он стерпел и это унижение, а затем в очередной раз произнес свою неизменную фразу.

Конец был неотвратим. Каждое утро мы строились на линейку, поднимали флаг, после чего заведовавший оружейкой унтер-фельдмейстер с обычной торжественной серьезностью приступал к выдаче карабинов, и наш чудик ронял из рук, словно горячую картофелину, предназначенный ему карабин.

Неисправимый отказник вновь замирал по стойке «смирно», держа руки по швам и устремив взгляд куда-то вдаль.

Не могу сказать, сколько раз повторялась эта сцена, вызывавшая смятение начальства, пытаюсь вспомнить, какие вопросы задавали ему командиры, от офицеров вплоть до обер-фельдмейстера: «Почему вы так поступаете, рядовой? Почему, идиот?»

Его неизменный ответ сделался крылатым выражением, а для меня цитатой на все времена: «Нельзя нам этого».

Всегда сохранялось множественное число. Ни тише, ни громче, звонким голосом, который разносился далеко окрест, он заявлял во множественном числе то, от чего отказывался лично. Казалось, будто за ним незримо стоит если не целая армия, то по крайней мере батальон отказников, всегда готовых произнести ту же короткую фразу. Три слова сливались в одно: нельзя-нам-этого.

В ответ на расспросы он ничего не объяснял, оставляя неопределенное «это», даже отказывался назвать предмет — оружие, — который не хотел брать в руки.

Его стойкость переменила нас. С каждым днем подтачивалось что-то, что раньше считалось незыблемым. К нашей ненависти примешивалось удивление и восхищение, принимавшее форму вопросов: «Откуда у чудика эта выдержка? Почему он так упрям? Почему не объявит, что нездоров, ведь выглядит он уже совсем бледным?»

Мы отстали от него. Его больше не хлестали ремнем по голой заднице. Самые непокорные среди нас, ребята из Эльзаса и Лотарингии, которые говорили на непонятном для остальных диалекте и держались в свободное время вместе, а при первой же возможности — перед очередным марш-броском с полной выкладкой под проливным дождем — сказывались больными на слишком правильном немецком, шептали по-французски, хотя им это запрещалось, что-то вроде «бесподобно».

Отказник оказался вознесен на пьедестал. Более того, в глазах нашего начальства дело выглядело так, будто под влиянием одиночки может пострадать дисциплина в целом. Начались строгости, словно виновными были признаны все его одногодки.

В конце концов ежеутренним выступлениям отказника положил конец арест. Для этого имелся карцер. Прозвучала команда: «Марш за решетку!» Но хотя его и убрали с глаз долой, своим отсутствием он упорно продолжал напоминать о себе.

С тех пор воцарились дисциплина и порядок. Неожиданно закончились мои послеобеденные выходы для рисования на

пленэре. Кисточки вымыты. Настенные росписи остались незавершенными. Клеевые краски засохли. Лишившись привилегий, то есть возможности филонить, я присоединился к остальным — стал проходить общую военную подготовку, которая состояла из стрельб, метания гранаты, освоения приемов штыкового боя и ползания по-пластунски за территорией лагеря.

Лишь изредка разговор касался его, все еще сидевшего под арестом. Кто-то — унтер-фельдмейстер или один из нас — сказал о нем: «Наверное, из свидетелей Иеговы». Другой подтвердил: «Точно, иеговист. Их еще называют исследователями Библии».

При этом голубоглазый паренек с пшеничными волосами и арийским профилем никогда не ссылался ни на Библию, ни на Иегову, ни на иные высшие силы, а всегда лишь повторял: «Нельзя нам этого».

Однажды его шкафчик опустел: исчезли личные вещи, среди которых находились религиозные брошюрки. Потом куда-то отправили его самого. Нам было сказано: «Откомандирован».

Мы не спрашивали куда. Я не спрашивал. Но всем было ясно. Отчислили его отнюдь не из-за непригодности. А шепотом добавляли: «Его давно должны были посадить».

Находились шутники, которым, впрочем, не слишком удавалось рассмешить остальных: «По такому чудику концлагерь плачет».

Кто-то рассказывал: «Есть такая секта, им этого нельзя. Поэтому иеговистов и запретили».

Разговоры ходили всякие, но никто толком не знал, почему их запретили, чем они занимались и о чем таком свидетельствовали. Зато никто не сомневался, по какому адресу отправляют упрямых отказников: Штутхоф. Этот концентрационный лагерь был известен по слухам, поэтому считалось, что чудику по имени Нельзя-нам-этого там самое место. «Там уж его обломают наверняка».

Неужели это само собой разумелось?

И никто ему не посочувствовал?

Неужели потом вся тягомотина опять пошла по заведенному порядку?

Что происходило в моей собственной голове? Смущало ли меня, что, с одной стороны, его убрали от нас, будто изолировав и посадив на карантин, как заразного больного, а с другой — его отсутствие продолжало оставаться столь заметным, словно нас всюду сопровождала какая-то зияющая дыра: на учебных занятиях, на дежурствах, во время ползания по-пластунски, за длинным столом над мисками с картофельным супом, в общем

сортире, при чистке сапог, во снах, которые сопровождались поллюциями, и эротических фантазиях с их скорым рукоблудием. А наступившее лето выдалось сухим, знойным, ветреным. Всюду скапливалась пыль, закрывая собой многое, в том числе мои мысли, которые, видимо, все же смущали меня.

Но если отвлечься от вещей побочных и свести все в единую точку, то я почувствовал радость или, по крайней мере, облегчение, когда отказника не стало. Тень сомнения на всем, что прежде было незыблемым, рассеялась. Затишье в голове препятствовало полету мыслей. В ней возобладало тупое равнодушие. Я был вполне доволен собой и сыт. На автопортрете той поры я бы выглядел недурно откормленным.

Однако позже, много позже, когда я придумывал для рассказа «Кошки-мышки» странного, незаурядного героя, выросшего без отца церковного министранта, старшеклассника, выдающегося ныряльщика, кавалера Рыцарского креста, героя и дезертира Иоахима Мальке, прообразом для него послужил отказник по прозвищу Нельзя-нам-этого; правда, Иоахим Мальке стыдился своего огромного кадыка, а отказник выглядел безукоризненно, без малейших изъянов, когда снова и снова ронял карабин, медленно, словно нарочно затягивая время, чтобы эта картина глубже врезалась в память.

Позднее, когда сводка Верховного командования вермахта, вывешенная на доске объявлений, о высадке англо-американских войск на Атлантическом побережье, в очередной раз приумножила мою географическую осведомленность, — только наши эльзасцы и лотарингцы могли правильно выговорить названия нормандских и бретонских городов и деревень — битва за Атлантический вал затмила для нас все, произошедшее ранее, среди прочего и того паренька — идеальный образчик для выведения нордической расы, который стал для нас «жалом во плоти».

Продолжался усиленный режим несения службы. Нас дважды поднимали по ночной тревоге из-за партизан, но никто не стрелял, и вообще ничего особенного не происходило. По периметру лагеря были выставлены дополнительные посты, а некоторые из обычных постов удвоены.

Если мне выпадало стоять на посту одному, я пытался утихомирить страх, уносясь мыслями вдаль. Это я умел. История возвращалась к истокам, к легендам. Мои грезы наяву, помогая одолеть страх перед партизанами, населяли древние прусские божества: Перкунс, Пиколс и Потримс, поморская принцесса и князь Святопулк, а еще раньше — готы, переселившиеся из устья

Вислы к Черному морю, огромные армии в древних доспехах.

Кроме того, мы работали над укреплением лагеря. Копали рвы, минировали проволочные заграждения. Была установлена сложная система, подающая сигнал тревоги. Однако ничего тревожного не происходило, если не считать того, что одним воскресным днем без видимых причин было объявлено общее построение: все двести пятьдесят ребят образовали полукаре, вместо обычных серых комбинезонов — дерьмово-коричневая выходная форма, на коротко стриженных головах — «жопа с ручкой».

Выйдя на середину плаца, к мачте с флагом, перед нами выступил неожиданно приехавший с целой свитой высокий чин Имперской службы труда. Говорил он отрывистыми фразами. Речь шла о трусливом предательстве подлой клики офицеров-аристократов, о неудачном — благодаря Провидению — покушении на жизнь нашего любимого Вождя и о мести — беспощадном истреблении «всего этого отродья». А дальше только о Нем, сумевшем — «воистину, о чудо!» — уцелеть.

Далее уже более пространные фразы чествовали избранника Провидения, которому мы должны были присягнуть на верность. Мол, с этого дня, этого часа, этой минуты настал наш черед исполнить свой долг, именно наш, ибо здесь и сейчас, как и по всему великому Германскому рейху, молодежь, сплоченная организацией, которая названа в честь Вождя, клянется с беззаветной преданностью служить делу…

Нас охватил трепет. Нас бросило в жар нечто вроде религиозного порыва. Вождь спасен! Мы могли по-прежнему или заново верить в Провидение.

Прозвучали оба гимна. Мы трижды выкрикнули: «Зиг хайль!» В нас пылал гнев, или, скорее, нас жгла бессильная ярость по отношению к безымянным предателям.

Хотя мне никогда ни в школе, ни тем более в материнской лавке колониальных товаров не доводилось сталкиваться с аристократами, я, как было приказано, постарался вознегодовать против голубой крови, однако, похоже, испытывал при этом двойственное чувство, поскольку во время моих мысленных путешествий в темные кладовые немецкой истории и к ее светлым персонажам я привык восторгаться, например, всеми императорами династии Гогенштауфенов. Я мечтал быть оруженосцем Фридриха II в далеком Палермо. А вот в Крестьянских войнах я причислял себя к сторонникам Томаса Мюнцера, но одновременно видел себя сражающимся плечом к плечу рядом с рыцарями — предводителями крестьянских войск Францем фон Зикингеном, Иоргом фон Фрундсбергом и Гёцем

фон Берлихингеном. Моим кумиром был Ульрих фон Гуттен, а Папа и все попы — моими врагами. Когда же позднее стали известны имена некоторых заговорщиков — фон Вицлебен, фон Штауфенберг, — мне было трудновато поддерживать в себе пламя праведного гнева против «аристократического отребья».

Какая сумятица в головах под короткой стрижкой. Только что образ шестнадцатилетнего рядового Имперской службы труда казался совершенно четким, а теперь он начинает расплываться по краям. Не то чтобы этот образ стал мне теперь чужим, однако возникает чувство, будто мое одетое в тогдашнюю форму «Я» хотело бы спрятаться. Оно готово отказаться даже от собственной тени, лишь бы воспользоваться произвольным толкованием категорий денацификации, чтобы попасть в разряд «незначительно виновных».

Позднее именно они составили преобладающее большинство. Им ничего нельзя было доказательно вменить в вину, кроме «исполнения долга». Они распевали хором «Нет сейчас страны прекрасней». Они утверждали, что их совратили, ввели в заблуждение, в ход шли ссылки на смягчающие обстоятельства, на полную неосведомленность, они взаимно удостоверяли абсолютную непричастность друг друга к чему бы то ни было. Подобные лукавые отговорки, готовность изобразить из себя святую наивность могли бы помочь и мне: ведь на пергаментной кожице лука проступает петит бытовых маргиналий, забавных анекдотов и занимательных историй, слишком явственно стремящихся отвлечь меня от того, что хотело бы быть забытым, но остается занозой.

Тогда я достаю из ящичка над конторкой, за которой работаю, кусочек прозрачного янтаря, чтобы узнать, насколько твердо продолжал я веровать в Вождя, несмотря на очевидные трещины в фасаде веры, на усиливавшиеся, хоть и передаваемые шепотком слухи, на пятящийся фронт — теперь уже и во Франции.

Веровать в Него было несложно, даже не по-детски легко. Ведь Он оставался целым и невредимым, был по-прежнему самим собой. Твердый взгляд, видящий всех и каждого. Серый китель, никаких побрякушек. Только Железный крест времен Первой мировой войны, это запечатленное портретом скромное величие присутствовало всюду, куда ни посмотри. Его голос звучал откуда-то сверху. От любых покушений его оберегало нечто свыше. Может, и впрямь само Провидение?

Смущало, правда, нестиравшееся воспоминание о том пареньке с пшеничными волосами, который не уставал твердить:

«Нельзя нам этого». Когда он исчез, его отсутствие ощущалось довольно остро, но настоящим примером он для меня все же не стал.

Вскоре после покушения нас отпустили. Мы сдали в кладовую свою неприглядную форму и лопаты, начистив их напоследок до блеска и отсалютовав ими на завершающем торжественном построении. Затем мы услышали в собственном исполнении гимн Имперской службы труда: «В нашей форме — цвет родимых пашен».

Переодетый в штатское, вновь стесняясь голых коленок и вечно сползающих гольфов, я, казалось, вернулся в детство. В летнем Лангфуре меня по-прежнему ждали родители, которые, по их словам, заметили, что сын «немного изменился».

Привычно ненавистная двухкомнатная квартира еще больше давила на меня своей теснотой, хотя теперь среди ее оклеенных обоями стен стало тише, даже слишком тихо: не хватало моей сестры, ее смеха, вихря от прыжков из гостиной в спальню и вокруг обеденного стола. Девчушки, которой все время хотелось играть, только играть, поэтому она захлопывала мою книжку, чтобы я присоединился к ней. Остались только ее куклы и плюшевые зверушки под подоконником слева.

Детей школьного возраста отправили по распоряжению гауляйтера в сельскую местность, дабы уберечь от террористических бомбардировок вражеской авиации. С ними поехали учителя класса моей сестры и других классов для продолжения занятий, которые шли теперь на полуострове Хель неподалеку от рыбацкой деревушки Хайстернест. Оттуда сестра посылала почтовые открытки, скучая по дому.

Родители баловали меня: отец готовил кисло-сладкое жаркое, а мать с застывшей улыбкой слушала мои несбыточные фантазии о том, как я отправлюсь с ней в южные страны, где лимонные рощи цветут, только теперь сыну уже не хотелось сидеть у нее на коленях. Она со страхом ждала почтальона. Ее слабая надежда умещалась в одной фразе: «Может, все еще как-нибудь кончится до…»

До того дня, как почта доставила мне призывную повестку, оставалось меньше двух месяцев; это время, похожее на калейдоскоп случайных, бессвязных эпизодов, запомнилось как томительное и скучное ожидание.

Что за рецидив! Как я и опасался, после увольнения из Имперской службы труда я словно вновь превратился в оболтуса-старшеклассника, каким бывал на летних каникулах, только теперь без пляжей, без возни с девочками в дюнах, за кустами

шиповника.

Куда ни зайди, всюду на комоде фотографии в траурной рамке, вполголоса рассказывают о погибших мужьях, сыновьях или братьях. Старый город выглядел убого, ожидая если не стремительного, то медленного упадка. Темные из-за обязательной светомаскировки улицы пугали жителей. Всюду плакаты: «Враг подслушивает!», «Они воруют уголь!». В скудных витринах — лишь залежавшийся неходовой товар. В лавке матери продаются без карточек эрзац-сливки «Секосан».

У Главного вокзала, на мосту через Мотлау, на Лабазном острове, на подходах к верфи Шихау полевая жандармерия и гитлерюгендские патрули останавливали для проверки прохожих в штатском, приехавших на побывку фронтовиков или слонявшихся девушек, которых становилось все больше и которые были весьма сговорчивы, с простыми солдатами, не говоря уж об офицерах. Предупреждали насчет дезертиров, ходили слухи о том, что творила одна подростковая банда: кража со взломом в Хозяйственном управлении, поджог в порту, тайные сходки в католической церкви. Все эти невероятные дела приписывали «банде чистильщиков», которая позднее — когда у меня накопилось наконец достаточно слов, чтобы произвольно вызывать их поток, — показалась мне заслуживающей нескольких глав.

В романе «Жестяной барабан» одного из предводителей этой банды зовут Штёртебекер. Он пережил конец войны, а в послевоенные годы сообразно логике событий сделался преподавателем гимназии, штудиенратом Старушем, предпочитающим избегать конфликтов, приспособленцем, который в следующем романе страдает от зубной боли, находясь «под местным наркозом», а все происходящее расценивает с двух точек зрения — с одной стороны, с другой стороны.

Я был всего лишь слушателем, когда одноклассники, которые — готовы они были идти добровольцами или нет — также ждали призывной повестки, будто избавления, пересказывали курсировавшие слухи, называя имена школьников, внезапно исчезнувших, то есть «ушедших в подполье». Одноклассник, у которого отец занимал высокий пост в полиции Рейнланда, что-то слышал о подростковой банде «Пираты эдельвейса», орудовавшей в разбомбленном Кёльне. Больше по привычке, чем ради интереса, я продолжал ходить в кино, смотрел в кинотеатре «Тобис-паласт» на улице Ланггассе «Романс в миноре», сравнивая актрису Марианну Хоппе с красавицами из моих старых альбомов сигаретных картинок, где дамы эпохи Ренессанса демонстрировали свой четкий профиль.

А еще я бродил по улицам Старого города, по Яшкентальскому лесу, коротая время и бессознательно вбирая в себя подробности, из которых скопилась такая масса материала, что позднее с ней было трудно справиться. Вижу себя на скамьях готических церквей — от Святой Троицы до Святого Иоанна — внимательно разглядывающим каждую арку, каждую кирпичную опору, будто их необходимо запомнить навсегда.

Кроме того, у меня были любимые места для чтения, особенно чердак, на котором из дощатых отсеков вытащили весь хлам; исчезло и просиженное кресло, поскольку все это считалось горючим материалом для бомб-зажигалок. Опустошенный чердак под все еще целехонькой крышей ждал грядущих событий. Поэтому здесь стояли ряды ведер и бочка с песком, лежали наготове тряпки для сбивания пламени.

Что же я читал под чердачным окном? Вероятно, «Портрет Дориана Грея» — зачитанный том в льняном переплете с кожаным корешком из книжных сокровищ матери. Обширный ассортимент уайльдовских пороков, один другого ужаснее, вполне годился в качестве зеркала, чтобы смотреться в него.

Пожалуй, тогда же, на чердаке, я проглотил одолженный у кого-то роман Мережковского «Воскресшие боги, или Леонардо да Винчи». Сидя на перевернутом ведре, я впитывал в себя больше, чем мог вместить. Я растворялся в книгах, которые побуждали меня воображать себя жителем совсем иных мест и эпох: Георгом Йеначем, гамсуновским авантюристом и путешественником Августом, келлеровским «зеленым Генрихом», Дэвидом Копперфильдом и тремя мушкетерами сразу.

Не могу сказать, когда именно я вытащил из дядиного книжного шкафа ремарковский роман «На Западном фронте без перемен». Попался ли он мне на глаза, когда я решил пойти в армию добровольцем и ждал вызова, или же я прочитал его вместе с военным дневником Эрнста Юнгера «В стальных грозах»? Эту книгу порекомендовал мне учитель немецкого из гимназии на площади Ганзаплац в качестве подготовки к предстоящим фронтовым будням.

Штудиенрат Литшвагер, колченогий ветеран Первой мировой войны, нахваливал «колоритную фантазию» и, как он выразился, «яркую пластичность» моих гимназических сочинений, даже одобрил их «довольно дерзкую словесную эквилибристику», однако упрекал за «несерьезность», по его мнению неуместную в годину суровых испытаний, которые выпали нашему отечеству.

Итак, еще будучи гимназистом или уже отбыв положенный срок в Имперской службе труда, я нашел томик Ремарка в книжном шкафу младшего брата матери. Дядя работал прорабом,

руководил сборкой бараков из готовых частей — стен, оконных рам, дверей, которые изготовлялись в столярной мастерской моего деда, где безостановочно крутились циркулярные пилы и орудовали пятеро подмастерьев. Поэтому дядю Фриделя не забрали в армию, а выдали ему бронь. Он часто пропадал на стройке, так как вокруг верфи и порта сооружалось все больше обнесенных колючей проволокой бараков для рабочих, пригнанных с Востока.

Думаю, дядя не знал, что роман «На Западном фронте без перемен» находится под запретом, как не подозревал и я, читая историю о жалком конце добровольцев в окопах Первой мировой, что книгу Ремарка жгли вместе с другими запрещенными книгами. Я до сих пор ощущаю на себе влияние этого романа. Как пара сапог меняет своих владельцев… Как погибают солдаты, один за другим…

Книга и ее автор продолжают напоминать мне о юношеском недомыслии, но в то же время и о том, что возможности отрезвляющего воздействия художественной литературы ограничены.

Когда в середине шестидесятых мы с Анной и нашими четырьмя детьми проводили лето в Тесине, — где вместе с дочерью Лаурой я искал на лесистых склонах горных коз, а если находил, то мы давали козам лизать соль с ладоней, — я воспользовался посредничеством моей американской издательницы Хелен Вольф, которая устроила мне визит к Ремарку, в его виллу на озере Лаго-Маджоре, забитую всяческим антиквариатом. Я рассказал ему, как параллельное чтение двух книг вызывало у меня ощущение контрастного душа: с одной стороны, увлекательное юнгеровское живописание войны через призму приключений и испытаний мужества, с другой — меня ужаснула, потрясла мысль Ремарка о том, что война делает каждого солдата убийцей.

Пожилой писатель усмехнулся и перевел рассказ о моих юношеских впечатлениях от чтения книг обоих авторов на английский язык с жестким прусским акцентом своей поздней возлюбленной, бывшей звезде немого кино Паулетте Годар, которая была какой-то по счету женой Чарли Чаплина. Затем он продемонстрировал кое-что из своих антикварных сокровищ, например китайские вазы и вырезанных из дерева мадонн. Нет, граппу мы с ним не пили.

Однако позднее, много позднее, когда я сочинял истории для книги «Мое столетие», мне вновь захотелось свести двух антиподов — Ремарка с Юнгером. Обращаясь к эпизодам Первой

мировой войны, я усадил обоих кавалеров старой школы за ресторанный столик цюрихского отеля «Шторхен», заставил их спорить, а управлять беседой доверил юной даме, занимавшейся историей и державшей себя по-швейцарски нейтрально. При всей взаимной учтивости знатоков обеих вин чувствовалось их жесткое отчуждение, когда заходила речь о смысле смертоубийственных окопных сражений. Для них война не закончилась. Что-то осталось недосказанным.

Вот и я, глядя на серебряное блюдо озера Лаго-Маджоре, признался Ремарку, что пятнадцатилетний гимназист, хотя и прочитал его книгу, описывающую множество вполне обычных для войны смертей, все же заявил о желании пойти добровольцем на подводный флот или в танковые войска. Эмигрант, которому давно набил оскомину затяжной успех, с очевидной неохотой разговаривал о своем знаменитом романе, который затмил собой все прочие его книги.

А потом на обеденный стол легла призывная повестка, испугавшая отца и мать. Подсела ли мама к пианино, чтобы сыграть что-нибудь из песенного сборника «Сад роз»? Или всплакнула?

Нет, нужно отмотать кинопленку немного назад: за несколько дней до того, как бумажка с печатью лишила родителей дара речи, я ездил с ними через Сопот и Готенхафен в Путциг, чтобы повидать эвакуированную сестру. При устойчиво хорошей августовской погоде до деревушки Хайстернест нас довез автобус.

Дом находился неподалеку от моря. Об этом свидетельствует фотография из семейного альбома, который мать уберегла от перипетий войны и депортации. Брат и сестра сидят рядышком на светлом песке хельского пляжа. Мы только что искупались или вот-вот пойдем купаться, правой рукой я по-братски обнимаю ее. Брат с сестрой, которые знают друг о друге очень мало, почти ничего. Такой близости у нас потом еще долго не было.

Сестра, которую я с детских лет зову Даддау, выглядит очень мило. Она улыбается. Ее брат, еще почти подросток, хотя в нем уже видна мужская стать, старается казаться перед объективом фотоаппарата серьезным.

Отцу весьма удался этот мирный снимок, сделанный в погожий день на исходе лета; фотография оказалась последней перед моим отъездом.

Ибо лишь теперь фактом стало то, о чем мы старались не думать: бумага лежала на столе, в ней все было написано черным по белому, имелись подпись, дата и печать — повестка. Но что было выведено крупным или мелким шрифтом на ее шапке?

Никакие вспомогательные средства не срабатывают. Разглядеть шапку бланка не выходит. Не получается и установить звание офицера, подписавшего повестку, словно его задним числом разжаловали. Воспоминания, обычно болтливые и любящие потешить анекдотом, на сей раз предстают чистым листом; а может, все дело во мне и я сам не готов расшифровать письмена на пергаментной кожице лука?

Можно утешить себя цитатами: повестка и события, последовавшие за ней, — все это уже жевано-пережевано, облечено в выстроенные надлежащим образом слова и сделалось книгой. «Собачьи годы» растянулись больше чем на семьсот страниц. Тут подробно описано, как некто Харри Либенау, став солдатом, заводит дневник и пишет с учебного полигона Фаллингбостель нашпигованные цитатами из Германа Лёнса письма своей кузине Тулле, письма, в которых позднее, когда командировочные предписания поведут его от Люнебургской пустоши до Восточного фронта, он будет подбирать и не сможет подобрать рифму к имени Тулла: «Я пока не видел ни одного русского. Временами я уже больше не думаю о Тулле. Наша полевая кухня исчезла. Я читаю все время одно и то же. Беженцы запрудили все дороги и уже ни во что не верят. Лёнс и Хайдеггер во многом ошибаются. В Бунцлау на семи деревьях висели пять солдат и два офицера. Сегодня утром мы обстреляли участок леса. Два дня я не мог ничего записать в дневник, потому что у нас было соприкосновение с противником. Многих наших уже нет в живых. После войны я напишу книгу…»

Мне же в сентябре сорок четвертого ничто не предвещало будущей объемистой книги, однако я тоже вознамерился завести дневник — собрание запечатленных мгновений, а пока все еще сидел в коротких до колен штанах на деревянной скамье в железнодорожном вагоне третьего класса.

Поезд отошел от данцигского Главного вокзала, миновал Лангфур и покатил к Берлину. Фибровый чемодан, купленный специально для этой поездки, я засунул в багажную сетку. В голове был разброд, еще большая неразбериха, чем при обычной будничной суете. Но ни единая мысль не поддается и не желает стать цитатой, произнесенной хотя бы шепотом, невнятно; лишь призывная повестка похрустывала в нагрудном кармане моего слишком тесного пиджака.

Мать отказалась провожать сына на вокзал. Меньше меня ростом, она обняла меня в гостиной и застыла, как потерянная, между пианино и напольными часами: «Лишь бы ты целым вернулся…»

Когда Харри Либенау прощался со своей кузиной Туллой Покрифке, на ней была кокетливая форменная пилотка трамвайной кондукторши: «Смотри, чтобы тебе нос не отстрелили!»

Меня провожал отец. В трамвае мы ехали молча. Потом ему пришлось купить перронный билет. В своей велюровой шляпе он выглядел вполне прилично, под стать представителю среднего класса. Мужчина сорока с лишним лет, которому до сих пор удавалось пережить войну в штатском.

Он непременно хотел сам нести мой фибровый чемодан. Отец, от которого я, пока рос, всячески желал избавиться, он, на кого я возлагал вину за тесноту двухкомнатной квартиры и за общий туалет на четыре семьи, он, которого я готов был убить моим гитлерюгендским кинжалом, он, чьему искусству превращать душевные переживания в супы некто станет позднее подражать, он, мой отец, к которому у меня никогда не возникала нежность, зато слишком часто сталкивали ссоры, он, этот жизнерадостный, беззаботный, легко поддающийся искушениям человек, который всегда старался блюсти приличия и гордился «отменно изящным почерком», который по-своему любил меня, прирожденный добропорядочный супруг, которого жена называла Вилли, — стоял рядом со мной, когда, раздувая пары, подошел поезд.

У него, а не у меня на глазах выступили слезы. Он обнял меня. Нет, именно я обнял отца, настаиваю на этом.

А может, мы просто обменялись мужским рукопожатием?

Мы оставались неразговорчивы, скупы на слова? «Будь здоров, отец!» или «До скорого, папа!»

Снял ли он шляпу, когда поезд отошел от перрона? Пригладил ли смущенно светлые волосы?

Махнул ли вслед велюровой шляпой? Или даже носовым платком, который летом, при большой жаре, завязывал на концах четырьмя узелками, превращая в уморительный головной убор?

Отчетливо помнится лишь панорама удаляющегося города со всеми его башнями на фоне вечернего неба. По-моему, слышался бой колоколов с церкви Святой Катарины, вызванивавший песню:

Будь верным и честным
До хладной могилы…

Больше всех других городских церквей, камень за камнем возрождавшихся из руин в послевоенные годы, именно церковь

Святого Иоанна, стоящая несколько в стороне от остальных, ближе к Мотлау, привлекала меня во время каждого приезда в родной город, который старался восстановить свой прежний облик. Внешне не поврежденная, но изнутри выгоревшая и разоренная, эта кирпичная страдалица на протяжении десятилетий служила для польских реставраторов складом, где хранились пригодные для нового использования обломки.

В марте пятьдесят восьмого я, расспрашивая об этой церкви одного из немногих оставшихся здесь стариков, который все еще называл себя немцем, услышал, что когда сначала бомбардировки, а затем артиллерийские обстрелы разрушили город, когда вместе с домами, уничтоженными пожаром на улицах Хэкергассе и Йоханнесгассе, Нойнаугенгассе и Петерзилиенгассе, сгорела и церковь Святого Иоанна, то больше сотни мужчин, женщин и детей, искавших там убежище, погибли если не от дыма и пламени, то оказались погребены под обрушившимися стенами, штукатуркой и кирпичными сводами. «Только об этом, — сказал старик, — никто теперь и слышать не хочет».

С другой стороны, поляки утверждали, будто, когда женщины бросились в церковь, чтобы укрыться там, ее подожгли русские. Кто бы это ни сделал, устояли только обугленные стены.

Позднее треснувшие каменные плиты устоявшей церкви, ее усыпанный щебенкой пол стали хранилищем городских останков: сюда собирали каменные украшения фронтонов, фрагменты рельефов, балюстрады террас с улиц Бротбенкенгассе, Хайлигенгайстгассе и Фрауэнгассе, барочные дверные арочные рамы из гранита. Все, что сохранилось от прекрасной резьбы по камню, украшавшей Двор Артурса, все другие реликты, которые отыскались на свалках, — каждую находку снабжали аккуратной надписью и учетным номером, после чего отвозили на склад, где держали до использования при реставрации.

Каждый раз, когда мне удавалось пробраться внутрь церкви — а ее портал всегда закрывали довольно небрежно, — я неизменно обнаруживал в пыли и щебне среди аккуратно уложенных обломков чьи-то кости и косточки, причем было неизвестно, относятся ли они еще ко временам Средневековья или же напоминают о мужчинах, женщинах и детях, которые якобы погибли в ярко пылавшей церкви Святого Иоанна, когда вокруг горел весь город и его храмы.

Толком никто ничего не знал. Возможно, кости высыпались из треснувших гробниц под напольными плитами. На беглый взгляд кости любых столетий похожи. В церкви Святого Иоанна, где некогда устанавливали свои алтари гильдии корабелов,

бочаров и сундучников, до XVIII века под каменными плитами из песчаника или гранита с высеченными на них надписями хоронили богатых негоциантов и судовладельцев.

Кому бы ни принадлежали эти кости и косточки, они были частью каменных останков и вместе с ними служили свидетельством истории. Вероятно, поэтому в разоренной церкви уже в пятидесятые годы стали проводить натурные съемки польские кинематографисты: свет, проникавший сквозь высокие, кое-где забитые досками окна, привлекал операторов и режиссеров, так как создавал определенную эмоциональную атмосферу.

Во время моего последнего приезда в Данциг я увидел, что церковь Святого Иоанна сильно изменилась. Ни хранилища каменных останков, ни костей и косточек. Пол выровнен, окна застеклены, кирпичные стены отремонтированы. Слушатели сидели на стульях, ряды которых уходили далеко в глубь нефа, где я читал отрывки из «Траектории краба».

И пока строка за строкой разыгрывалась гибель океанского лайнера с многочисленным людским фрахтом на борту, а я читал, прислушиваясь к акустике церкви, та часть моих мыслей, которая предпочитает обращаться к прошлому, искала подростка, покинувшего город тогда, когда он стоял еще целым со всеми своими башнями и фронтонами.

Как я страху учился

Припомнилось ли мне по дороге до Берлина мое первое путешествие в том же направлении, возвращающее меня в детство? Когда же это было — в тридцать шестом, олимпийском году или годом позже?

Я был еще учеником народной школы, когда согласно так называемой программе отправки детей в сельскую местность нас доставили поездом в Рейнланд, к самой границе с Голландией. Поскольку отправляли нас из суверенного государства, коим был Данциг, мы увидели весь тогдашний марионеточный театр: сначала пришли данцигские таможенники, потом дважды — польские, в другой форме, и, наконец, на пограничной станции Шнайдемюль германские, опять-таки в другой форме. И честь всякий раз отдавали иначе: одни подносили к козырьку фуражки ладонь, другие — два пальца, третьи — снова ладонь.

Все это происходило через небольшие промежутки времени. У каждого из ребят на шее висела целлофановая папочка с документами, которыми мы очень гордились.

Я работал у крестьянина, который держал коров и откармливал свиней, его сын Матиас был моим ровесником; здесь я научился из тщательно разглаженных грядок выкапывать отростки спаржи, стараясь их не повредить. Следовательно, дело было в мае. Деревня называлась Брайель. Порядки там царили еще более католические, чем в лангфурской церкви Сердца Христова. Жена крестьянина заставляла Матиаса и меня каждое воскресенье ходить на исповедь. Тогда я еще верил в ад и грехов за собой знал предостаточно.

Дорога от четырехугольного крестьянского подворья до сельской школы следов в памяти не оставила. Да и вообще запомнилось немногое. Вижу лишь бесчисленное множество блескучих мух на побеленных стенах крестьянской кухни. С самыми жирными из пойманных мух я устраивал забаву, которую подсмотрел дома у одноклассника, чья любовь ко всяческой живности не знала границ: приклеивал к мухам разноцветные нитки. Мухи с красными, синими и желтыми хвостами кружили над столом, и смотрелось это довольно красиво.

Я соревновался с Матиасом, кто больше поймает мух, мы смахивали их рукой со стены. «Лучше мух ловить, чем баклуши бить», — хвалила нас бабушка, не вставшая со своего кресла и перебиравшая четки. За окном простиралась равнина.

В трех церковных колокольнях от нас начиналась Голландия…

Лишь циник назвал бы мое второе путешествие на Запад «отправкой детей в сельскую местность». Когда после ночного переезда и многочисленных остановок наш поезд с опозданием подошел к столице Рейха, двигался он так медленно, будто хотел дать возможность пассажирам если уж не записывать путевые впечатления, то хотя бы откладывать их впрок на будущее — для заполнения провалов памяти.

Помнится лишь вот что: по обе стороны железнодорожной насыпи горели дома и целые жилые кварталы. Из оконных проемов верхних этажей выбивалось пламя. Затем взгляд вновь падал в темные расщелины улиц и задних дворов, где росли деревья. Порой мелькала человеческая тень. Было малолюдно.

Пожары были вполне обычны, Берлин каждый день разрушался все больше. За очередным воздушным налетом последовал отбой. Поезд катил медленно, словно нарочно, чтобы я получше рассмотрел город.

До тех пор я видел руины лишь мельком в еженедельных выпусках кинохроники, когда там показывали транспаранты с надписями вроде: «Нас не сломить!» Или: «Рушатся стены, но наши сердца — несокрушимы!»

Еще недавно имперский министр пропаганды Геббельс живо изображал самого себя на экране городского кинотеатра «Тобис-паласт», подбадривая на фоне развалин мужчин и женщин, лишившихся жилья после бомбежек, пожимая руку коменданту убежища местной ПВО и трепля по щеке смущенно улыбающихся детишек.

Незадолго до получения мобилизационной повестки я побывал у дяди с материнской стороны, который работал киномехаником в «Тобис-паласт» и благодаря которому я несколько лет мог бесплатно смотреть фильмы, даже такие, например, как «Ванна на сеновале», хотя детей на эти сеансы не пускали. Может, еще тогда через окошечко возле проектора я увидел после киножурнала, в котором Геббельс разговаривал с людьми, уцелевшими в бомбежку, пропагандистский игровой фильм «Кольберг» с Генрихом Георге в главной роли?

Позднее ходили слухи, будто ребята, одетые на время киносъемок в исторические костюмы и храбро отражавшие натиск наполеоновских войск, позднее, когда они уже не были статистами, а Кольбергу пришлось реально противостоять русским и полякам, попали в народное ополчение — фольксштурм. Многие из них погибли, только на сей раз никто не снял фильм о их героической смерти.

Людей на вокзале не беспокоили далекие пожары. Царила обычная суета, толкотня, раздавались перебранки, внезапные взрывы смеха. Одни отпускники возвращались на фронт, другие — с фронта. Барышни из Союза немецких девушек раздавали чай или кофе и только хихикали, когда солдаты давали волю рукам.

Под не слишком разбитым навесом перрона едко пахло застоялым паровозным дымом; или то была гарь пожарища?

Я нерешительно остановился перед множеством указателей к различным явочным, сборным и командным пунктам. Два чина полевой жандармерии с бляхами на цепочках, за что жандармов предостерегающе прозвали «цепными псами», объяснили мне, куда идти. После недолгого ожидания в кассовом зале — какой же это был из берлинских вокзалов? — мне выдали командировочное предписание, где следующим пунктом прибытия значился Дрезден.

Вижу очередь парней, они болтают друг с другом. Всех томит любопытство, будто нам обещано интересное приключение. Всем весело. Слышу свой громкий смех, только не знаю, над чем. Раздают сухой паек, в том числе сигареты, положенные и мне, некурящему. Кто-то предлагает поменяться на лакомство, которое у нас дома бывало лишь на Рождество: марципан, обвалянный в порошке какао. Вроде бы суровая реальность, а кажется детским

сном.

Потом воздушный налет загнал нас в просторный вокзальный подвал, который служит бомбоубежищем. Там вскоре образовалось сборище солдат и штатских, много детей, а еще раненые — кто на носилках, кто на костылях. Откуда-то появилась труппа цирковых артистов, среди них лилипуты — все в костюмах; воздушная тревога застала их во время очередного представления.

Пока снаружи лаяли зенитки, а вдалеке и поблизости взрывались бомбы, циркачи продолжали свое выступление: один гном поразил публику, жонглируя булавами, шарами и разноцветными кольцами. Другие лилипуты показывали акробатические трюки. Среди них выделялась тоненькая дама, которая грациозно сворачивалась в узел, посылая зрителям воздушные поцелуи и получая взамен бурные аплодисменты. Руководил труппой, гастролировавшей в качестве фронтового театра, маленький старик в костюме клоуна. Проводя пальцами по краям бокалов, расставленных рядами и по-разному заполненных водой, клоун извлекал из них тоскливо-прекрасную мелодию. Ярко загримированный, он улыбался. Картинка, запечатлевшаяся в памяти.

Сразу после отбоя я перебрался городской электричкой на другой вокзал. Из оконных проемов жилых домов вновь полыхало пламя. Опять руины фасадов, развалины целых кварталов, выжженных ночными бомбежками. Вдалеке — здание фабрики, высвеченное изнутри пожаром, будто праздничной иллюминацией. В утренних сумерках готовился к отправке состав до Дрездена.

О том, как я доехал туда, — ничего. Ни слова о выданном на дорогу сухом пайке, никаких провидческих или задним числом пришедших на ум мыслей, которые подлежали бы истолкованию. Можно лишь утверждать — а следовательно, и подвергать сомнению, — что именно здесь, в еще не тронутом войной городе, точнее — неподалеку от его предместья по названию Нойштадт, на втором этаже виллы, расположенной в районе, именуемом «Белый олень», мне стало ясно, в какую часть меня направляют. Из очередного командировочного предписания явствовало: где-то далеко в богемских лесах, на учебном полигоне войск СС из призывника, носящего мою фамилию, должны были сделать танкиста…

Спрашивается: испугало ли меня то, что бросилось в глаза тогда, на призывном пункте, как ужасает меня сдвоенное «С» сейчас, спустя шестьдесят лет, когда я пишу эти строки?

На пергаментной кожице лука не сохранилось ничего, что можно было бы прочитать как свидетельство страха или даже ужаса. Скорее, я считал войска СС эдакими элитными подразделениями, которые бросают на наиболее опасные участки фронта, чтобы закрыть брешь, прорвать окружение, как это было с «Демянским котлом», или, например, отбить занятый противником Харьков. Двойная руна на воротнике не производила на меня отталкивающего впечатления. Юноше, мнившему себя мужчиной, важнее был род войск: если уж не довелось попасть на подводный флот, о котором в информационных сводках уже почти не появлялось экстренных сообщений, то пусть я стану танкистом в дивизии, которая, как говорилось на командном пункте «Белый олень», формировалась заново под названием «Йорг фон Фрундсберг».

Йорг фон Фрундсберг был известен мне как предводитель Швабского союза времен Крестьянских войн и как «отец ландскнехтов», человек, сражавшийся за свободу, за волю. А еще в войсках СС мне чудилось что-то европейское, поскольку их дивизии формировались из французских, валлонских, фламандских и голландских добровольцев, там было много норвежцев, датчан, даже нейтральных шведов; они воевали на Восточном фронте, защищая, как тогда провозглашалось, западную цивилизацию от большевистского нашествия.

Словом, отговорок довольно… Но все же я десятилетиями отказывался признаться самому себе в причастности к этому слову, к этой сдвоенной литере. То, что было принято мной из глупого мальчишеского тщеславия, я умалчивал из растущего стыда после войны. Но груз остался, и никто не может облегчить мне этого бремени.

Хотя в осенние и зимние месяцы тупой муштры, пока из меня делали танкиста, я ничего не слышал о военных преступлениях, которые позднее выплыли на свет, однако ссылка на неведение не оправдывает меня перед лицом того осознаваемого факта, что я был частью системы, спланировавшей, организовавшей и осуществившей уничтожение миллионов людей. Даже если согласиться, что на мне нет прямой вины, нельзя избавиться от тяжкого осадка, который просто так не спишешь на коллективную ответственность. Знаю, жить с этим придется до конца дней.

За лесами и среди лесов, на раскисших полях и пашнях. Грязный снег на деревьях и крышах бараков. Вдали луковка церковной башни. На безымянном полигоне ни одного чешского слова, только немецкие команды, которые морозный воздух разносит далеко окрест.

Наша боевая подготовка на устаревшей технике — танки Т-3

и Т-4, использовавшиеся в первые годы войны, — ограничивалась изнурительной муштрой. Мне казалось, что так и должно быть, однако первоначальное воодушевление все более угасало. Нас, новичков — кроме моих ровесников здесь, правда, были также старослужащие из ВВС, откомандированные в войска СС и прозванные «подарком Геринга», — гоняли с утра до ночи, обещая «смешать с грязью».

Все происходило, как в прочитанных мной книгах, но имена даже самых жестоких мучителей напрочь забыты, словно их нарочно вычеркнули из памяти. Приходилось идти на всяческие уловки или же безропотно покоряться. Наглотавшись однажды разогретого масла из банки с сардинами, я сумел симулировать желтуху, дабы уклониться от муштры, в другой раз помог фурункулез, весьма распространенный в нашей учебке, но вечно переполненный госпитальный барак давал убежище лишь на короткий срок. Потом муштра возобновлялась.

Нашим обучением занимались унтер-офицеры, еще довольно молодые люди, которых год-другой, проведенный на фронте, сделал закоренелыми циниками; теперь они, награжденные шпангами за участие в рукопашных схватках и медалями за восточную кампанию, прозванными «орденом за мороженое мясо», передавали нам свой опыт, нажитый на кубанском плацдарме или в танковом сражении на Курской дуге. Они делали это то с ожесточенной сосредоточенностью, то с веселой безжалостностью, то просто поддавшись сиюминутному настроению. Громогласно или тихо они осыпали нас солдатской бранью, соревновались в разнообразии истязаний, часть которых придумывали сами, а часть заимствовали из давних армейских традиций.

Запомнилось немногое. Кое-что из воспитательных мер для новобранцев запечатлелось в памяти как смешной эпизод; впрочем, не знаю, является ли ответ на испытанные унижения лишь плодом моей мстительной фантазии или же месть действительно состоялась, да еще в столь анекдотической форме; по крайней мере, эта история не лишена пикантных подробностей.

Вижу, как ранним утром я иду по заснеженному и еще темному лесу, обвешанный слева и справа здоровенными алюминиевыми термосами. Туда — почти бегом, обратно — еле передвигая ноги. В лесу затерялось похожее на замок поместье, которое, однако, приметно благодаря освещенным окнам; поговаривают, будто там расквартированы высшие чины. Иногда мне слышится доносящаяся оттуда музыка. Порой определенно кажется, что там репетируют струнный квартет Гайдна или

Моцарта, но к моей истории, творившейся в тиши, это не имеет ровно никакого отношения.

Вот уже несколько дней как мне приказано доставлять нашим унтершарфюрерам и гауптшарфюреру к завтраку два термоса с кофе, который должен оставаться горячим в течение всего дня, для чего его постоянно подогревают. Кофе готовят в кухонном бараке за лесом. Нам, новобранцам, давали ячменный кофе, к которому, по слухам, якобы подмешивали соду для подавления сексуальности. А вот напиток, который я носил полудюжине привилегированных унтершарфюреров и гауптшарфюреру и который полагалось доставлять горячим, был, судя по всему, настоящим кофе. Во всяком случае, об этом свидетельствовал аромат из термосов.

Дорога туда и обратно отбирала у меня половину времени, отводившегося на завтрак, и те минуты, которых мне недоставало, чтобы успеть почистить комбинезон от вчерашней запекшейся грязи, а потому на утренней поверке мой внешний вид вызывал нарекания, за которыми следовали взыскания: бег вверх-вниз по холмистому полю с полной выкладкой и в противогазе, по налипающей на сапоги глине — истязание, способное на всю жизнь исполнить новобранца в противогазе чувством мести.

Вероятно, я придумал свою месть, обливаясь слезами за запотевшими круглыми стеклами противогаза, снова и снова разрисовывая ее себе до мельчайших деталей.

На обратном пути из кухни я останавливаюсь в укрытии заснеженных сосен. Огни поместья заметны издалека, а меня оттуда не видно. Тишина. Слышится лишь мое дыхание.

Отлив немного кофе, ставлю на снег термосы и мочусь туда, чтобы восполнить недостачу, сначала в один, потом в другой. Остальным поливаю сугробы между деревьями, отчего снег едва заметно желтеет.

Вдобавок начинается снегопад, скрывая все следы. Мне жарко, несмотря на холод. Меня охватывает чувство, похожее на счастье.

Внутренний голос шепчет: они будут пить эту бурду, подслащивая сахаром, которым запаслись неизвестно где. Прямо сейчас, за завтраком, а потом после обеда и еще подогреют к ужину, когда, наоравшись за день до хрипоты, они потянутся к термосам. Опережая события, вижу их, унтершарфюреров и гауптшарфюрера, отсчитываю каждый их глоток за глотком.

И они действительно опустошали термос за термосом, пили то, что я приносил более или менее горячим. В мечтах и наяву. Хотя кто смог бы меня уличить? Рискну предположить, что

повторяемый ежедневно с никому не видимой ухмылкой акт бессильной мести помог мне вынести муштру и тяжелые истязания; а в соседней роте один новобранец повесился на ремне от противогаза незадолго перед отбыванием очередного наказания.

Все остальные приказы я исполнял без тайного саботажа — например, ползал под днищем учебного танка. Команда называлась: «Промерить клиренс!»

Вот что должно было сделать из меня настоящего мужчину: Краткий курс ознакомления с тяжелым вооружением. Стрельба по подвижной цели. Ночные марш-броски с полной выкладкой. Приседания с карабином на вытянутых руках. Поощрением служила дезинсекция, которая время от времени производилась в специально оборудованном бараке. После дезинсекции мы поотделенно шли голыми в душ, после чего можно было посмеяться в кинобараке над комедией с участием Ханса Мозера и Хайнца Рюмана.

Почта приходила все нерегулярнее. После обеда нас пичкали теорией. В бараке, где шли занятия, нам демонстрировали майбаховский танковый двигатель. Память не отложила ни единой технической детали. Водить машину я до сих пор не умею и не хочу. От азбуки Морзе, которую нам тоже вдалбливали, в памяти также ничего не осталось.

Раз в неделю нам докучали политзанятием, на котором шла речь о «крови и почве», о «жизненном пространстве». Этот словесный мусор оказался живучим; его и сегодня можно найти в интернете.

Отчетливей — поскольку он сложился в рассказ — запечатлелся в памяти эпизод, находящийся за рамками повседневной изнурительной муштры. Некоторых призывников, среди них и меня, по очереди вызывали в похожее на замок поместье, которое казалось мне таким загадочным во время моих утренних походов. Всюду, начиная с холла, где стояло пианино, на витой лестнице, на стенах большой залы висели оленьи рога и темнели роскошно обрамленные картины, изображающие сцены охоты. Мебели было совсем немного, только письменный стол на гнутых ножках. За ним восседал приветливый оберштурмбаннфюрер, похожий на учителя гимназии.

Разрешив мне «встать поудобней», он поинтересовался, какой профессией я хотел бы заняться после окончательной победы. Он разговаривал со мной тоном доброго дядюшки, озабоченного будущим своего племянника.

Умолчав о своем твердом намерении стать художником, я

уклончиво ответил, что хотел бы изучать историю искусств; на это мне была обещана поддержка, если я соглашусь поступить в школу юнкеров для будущего руководящего состава и если меня туда примут.

По его словам, уже сейчас кадры, проникнутые национальной идеей, готовят там для решения многих задач по территориальному планированию, которые возникнут после окончательной победы, когда произойдет необходимое переселение инородных популяций; эти кадры будут руководить экономикой, восстановлением городов, финансовым сектором и упомянутой мной сферой искусств… Потом он осведомился об уровне моих знаний.

Доброго дядюшку в очках без оправы, чьего звания я точно не помню — похоже, все-таки оберштурмбаннфюрер, — вроде бы действительно интересовал мой, как он выразился, «жизненный путь». Поэтому я отбарабанил ему все, чего понабрался благодаря картинкам из сигаретных пачек и монографиям «Кнакфуса». Говорил без умолку и, должно быть, весьма самонадеянно об автопортретах Дюрера, об Изехаймском алтаре, о картине Тинторетто «Чудо святого Марка», которую похвалил за смелую перспективу в изображении пикирующего апостола.

После экскурсов по ужатой до трех альбомов истории мирового искусства кладезь моих познаний иссяк, завершившись дерзкой характеристикой Караваджо, которого я назвал «убийственным гением»; затем будущий выпускник юнкерского училища пустился в пространные рассуждения о жизни и творчестве Ансельма Фейербаха и вообще о «немецких римлянах», а под конец о Ловисе Коринте, которого Лили Крёнерт, моя учительница рисования в школе Святого Петра, считала гениальным. Поэтому я объявил его произведения, выставленные в «Доме немецкого искусства», выдающимся достижением современной живописи.

Покачав головой, добрый дядюшка скупым жестом отправил меня прочь: судя по всему, я был признан негодным для карьеры в качестве руководящего кадра после окончательной победы, ибо юнкерское училище не избавило меня от дальнейшей муштры.

На семнадцатилетие я, хоть и с опозданием, получил из дома посылку: шерстяные носки и раскрошившийся пирог. А к ним прилагались исписанные каллиграфическим отцовским почерком две страницы, полные заботливых наставлений, совершенно далеких от моей реальной жизни. Позднее шли только письма, а после Рождества прекратились и они.

Сообщения с «доски объявлений» уверяли нас, что наступление в Арденнах развивается успешно и в ходе военных

действий ожидается перелом, однако вскоре из сводок стало известно о вторжении русских в Восточную Пруссию. Рассказы об изнасилованиях и убийствах немецких женщин под Гумбиненом занимали мое воображение во время теоретических занятий.

Днем в морозном зимнем небе появлялись эскадры вражеских бомбардировщиков. Они беспрепятственно совершали свои полеты, за ними тянулся конверсионный след. Куда они летели? Собственно, выглядело это красиво. Только куда подевались наши истребители?

А еще ходили слухи о ракетах V-1 и V-2, о том, что вот-вот будет пущено в ход «чудо-оружие». В конце февраля, когда уже разлетелась молва о спаленном Дрездене, полнолунной ночью, звенящей от мороза, нас привели к присяге. Хор исполнил обязательную по такому случаю песню войск СС: «Пускай кругом измена, мы верность сохраним…»

Вскоре я стал очевидцем событий, приобретших характер организованного хаоса и ознаменовавших собой — сперва медленно, потом с нарастающей быстротой и, наконец, лавинообразно — крушение великого Германского рейха.

Но видел ли я, что дело идет к финалу?

Представлял ли себе, что происходит с нами, со мной?

Существовала ли вообще среди каждодневных забот о том, чтобы добыть порцию супа и солдатскую пайку хлеба, какая-то возможность оценить реальное положение вещей?

Осознавал ли семнадцатилетний парень начало того конца, который позднее назовут «крахом», всю его грандиозность и глубину?

Когда моя первая попытка разобраться в путанице, царившей в голове молодого солдата под не по размеру большой каской, которая постоянно сползала ему на глаза, и запечатлеть результаты на бумаге, что обернулось в начале шестидесятых годов романом «Собачьи годы», то дневниковые записи рядового мотопехоты Харри Либенау, для которого война превратилась в непрерывное отступление, переплелись и смешались с его страстными письмами к кузине Тулле, оказавшейся, по слухам, на пассажирском лайнере «Вильгельм Густлофф», который перевозил беженцев и затонул в ледяных водах Балтийского моря.

Я тоже вел нечто вроде дневника, делая заметки в тетради, пропавшей вместе с другим походным имуществом и зимней шинелью где-то под Вайсвассером или Котбусом. Списывая эту пропажу, я испытываю сейчас такое чувство, будто вновь потерял самого себя.

Что же строчил я на линованной бумаге во время кратких

привалов или сравнительно длительных передышек?

Какие мысли уносили меня от того, что происходило вокруг, растекаясь порой томительной скукой, когда мы ждали вечно отстающую полевую кухню или очередных приказов, гнавших нас то в одну, то в другую сторону?

Заносило ли в мою тетрадь предвестье весны рифмованные строки?

Нравились ли мне мои эсхатологические настроения?

Нет, не удается воспроизвести ни одной из моих бредовых мыслей, ни строчки из мартовских виршей, ни малейших сомнений, которые мне надлежало бы иметь на ту пору и поверять их моему утерянному дневнику; но тогда возникает вопрос: что же, собственно, делал призывник, прошедший военную подготовку?

Сидел в танке, став если не наводчиком, то хотя бы заряжающим?

Довелось ли ему стрелять по движущейся цели, как учили на мишенях?

Где, когда и к какой части я был прикомандирован?

Пока что мне не удается добиться какой-либо определенности насчет солдата скорее призрачной, нежели реальной дивизии «Иорг фон Фрундсберг». Из учебного лагеря среди богемских лесов отдельные группы направлялись в удаленные места формирования маршевых рот. Одна группа двинулась к Вене, другая должна была принять участие в боях за Штеттин. Нас же товарный эшелон увез ночью через Теген-Боденбах на Дрезден, оттуда дальше на восток, где в Нижней Силезии вроде бы проходила линия фронта.

От Дрездена запомнилась лишь гарь пожарищ и картины, увиденные через щель отодвинутой двери товарного вагона: между рельсами на фоне опаленных фасадов грудилось что-то, покрытое сажей. Кому-то почудились обугленные трупы. Другим померещилось не знаю что. Мы спорили, чтобы заглушить ужас; ведь и сегодня то, что произошло в Дрездене, погребено под словесами.

Похоже, мы прибыли в реальность, чтобы сразу вновь покинуть ее или заменить на нечто, желающее быть иной реальностью. После того как наш вагон при сортировке несколько раз отцепляли и направляли в противоположные стороны, наша группа добралась наконец до своей маршевой роты, которая еще не была полностью укомплектована и расквартировалась в освобожденной для этой цели школе. Солдаты кухонной команды пилили на улице вынесенные из здания парты — заготавливали дрова. На школьном дворе разместились бараки, построенные,

чтобы преждевременно не закончилась моя барачная жизнь, начавшаяся со службы во вспомогательных частях противовоздушной обороны.

Здесь мы ждали обещанного тяжелого вооружения, танков «тигр». Ожидание затягивалось, но было довольно сносным, благодаря бесперебойному продовольственному снабжению и нестрогому несению службы. Находилось даже время для кинофильмов. Кажется, я снова видел фильм «Мы делаем музыку» с Ильзой Вернер и ее неунывающим художественным свистом. Этот фильм еще в школьные годы заменял мне запрещенный джаз. И может, именно здесь я увидел пропагандистский фильм «Кольберг»?

Но как долго наша составленная с бору по сосенке команда, куда были прикомандированы и пехотинцы из армейских частей, и наземный персонал утраченных аэродромов, ждала здесь не столько обещанных танков, сколько посылаемой нам вдогонку полевой почты, которая все чаще отсутствовала?

Это время похоже на не поддающийся датировке кинофильм, склеенный из различных эпизодов, которые прокручиваются то замедленно, то в ускоренном темпе, пленка движется назад, потом снова вперед, лента постоянно рвется, превращается в совсем другой кинофильм, с новыми персонажами и иными, случайными событиями.

Во всяком случае, перед глазами отчетливо рисуется один унтер-офицер, обычный фронтовик, обедающий вместе с нами за длинным столом. Внезапно ему срочно понадобилось в сортир; тогда, отодвинув еще полную тарелку, он приставил к ней часового, для чего заученным движением двух пальцев вынул из правой глазницы круглую синюю стекляшку, положил ее на кусок мяса величиной с ладонь, выдававшийся каждому из нас к вареной картошке и капусте с коричневой подливой. Затем последовал приказ часовому: «Бди!» После этого все сидящие за столом не могли оторвать глаз от охраняемой тарелки, пока предусмотрительный засранец не вернулся из сортира.

За что еще цепляется память: натюрморт из вещей, не желавших становиться искусством и служивших лишь практическим надобностям. Кстати, многие из наших солдат еще долечивали ранения, их направили в маршевую роту прямо из госпиталя; под конец годным к строевой службе признавали любого.

Однажды под маскировочными сетями появились хоть и не «королевские тигры», но все-таки три или четыре «пантеры» — самоходные орудия без вращающейся башни, для обслуживания которых наша сборная команда была подготовлена явно

недостаточно. Тем не менее нас вытащили из бараков, посадили на броню в качестве сопровождения, с обычными карабинами, некоторым дали штурмовые винтовки.

Фронт вроде бы проходил вблизи Сагана, силезского городка, который удалось отбить, но бои за него продолжались. Говорили, будто оттуда пойдет наступление на Бреслау, чтобы прорвать блокаду города, превращенного в крепость. Но дошли мы только до Вайсвассера, где исчезла всякая организация, а заодно там пропало мое походное имущество вместе с дневником и зимней шинелью.

Тут фильм обрывается. Сколько бы я ни пытался склеить обрывки и запустить ленту снова, получается невнятный калейдоскоп. Мне удалось избавиться от замызганных портянок, заменив их шерстяными носками, добытыми на брошенном вещевом складе; там же штабелями лежали нижние фуфайки и плащ-палатки. На каком-то привале в пойме реки я трогаю вербные сережки.

Куковала ли ранняя кукушка? Вел ли я счет отмеренным годам?

А потом я вижу первых мертвецов. Молодых и старых, в армейской форме. Они висят на еще голых придорожных деревьях или на липах, растущих на рыночных площадях. Картонка на груди гласит, что повешенный — «трус, подрывающий боеспособность вооруженных сил». Мой ровесник, да еще с пробором слева, как у меня, висит рядом с офицером неопределенного звания, которого военно-полевой суд разжаловал перед казнью. Шпалеры из мертвецов, нас проносят мимо оглушительно скрежещущие гусеницы танков. Никаких мыслей, запечатлелись только картины.

В стороне вижу на пахоте крестьян, тянущих борозду за бороздой, словно ничего вокруг их не касается. Один из них впряг корову. За плугом — воронье.

И снова вижу забившие дороги толпы беженцев: конские повозки, между ними старухи и подростки тащат за собой или толкают перегруженные ручные тележки. На чемоданах и узлах сидят дети, пытающиеся спасти своих кукол. Старик тащит тележку с двумя ягнятами, которые надеются уцелеть на войне. Собиратель живых картин видит больше, чем может вместить в себя.

Во время одной из передышек, когда мы опять двигались от фронта, я приударил за девчонкой, которую звали — тут я совершенно уверен — Сюзанной; она бежала с бабушкой из Бреслау. Девчонка гладит меня по голове, мне разрешено держать

ее за руку, не больше. Все это волнительно; дело происходит в уцелевшем хлеву разрушенного крестьянского хозяйства. На нас поглядывает теленок. Ах, если бы у этой истории была изюминка, ради которой стоило бы пожертвовать скучной правдой.

Но в дневник я сумел бы записать лишь то, что «Сюзанна носит бусы вишневого цвета…». А может, такие бусы носила совсем другая девушка, не русоволосая, а чернявенькая, с длинными косами, имени которой я не хочу называть?

Вечно рвущийся и заново склеиваемый фильм ничего не показывает из того, что творилось за границами моего кругозора. Хотя из сводок, которые курсируют в виде слухов, известно о захвате моего родного города русскими, я еще не знаю, что старый центр Данцига будет долго представлять собой дымящуюся груду развалин, что руины сожженных кирпичных церквей уже ждут фотографа, которому надлежит перед началом грядущего планового восстановления документально зафиксировать все разрушения, каждый остов колокольни, каждый осколок фасада, чтобы позднее школьные классы увидели…

Но мысленно я все еще мог окинуть взором панораму города, пересчитать слева направо все церковные башни. Все фронтонные украшения для меня еще оставались на месте, как и оставались целыми улицы, по которым я ходил в школу и возвращался домой. Я силился увидеть мать за прилавком и отца на кухне. Или меня уже мучил страх, что родители и сестра с их нехитрыми пожитками сумели найти место на «Вильгельме Густлоффе»?

Тут из калейдоскопа картин и сцен, режиссером которых был случай, необходимо выделить и прокрутить эпизод моего первого соприкосновения с противником, только у этого эпизода нет ни точной даты, ни места действия, да и самого противника я в глаза не видел.

Можно лишь предположить, что было это в середине апреля, когда после длительного артиллерийского обстрела немецких позиций по Одеру и Нейсе Советская Армия прорвала фронт на нашем участке между Форстом и Мускау, чтобы свершить возмездие за свою разоренную родину, за миллионы погибших и чтобы добиться победы, только победы.

Вижу наши «пантеры», несколько бронетранспортеров, грузовики, полевую кухню и разномастную команду из пехоты и мотострелков, занявших позиции в молодом леске, готовясь то ли к контратаке, то ли к тому, чтобы заткнуть брешь в обороне.

Среди деревьев — березки, набухают почки. Пригревает солнышко. Птичий щебет. Сонное ожидание. Кто-то, вряд ли

старше меня, играет на губной гармонике. Солдат взбивает мыльную пену, бреется. И вдруг, совершенно неожиданно — или умолкнувший птичий щебет послужил оглушительным сигналом тревоги? — на нас обрушился «сталинский орган».

Слишком мало времени, чтобы понять, насколько оправданно это прозвище. Вой, шипение, грохот? Две-три батареи «катюш» полностью накрывают наш лесок. Основательно, без пропусков, они сметают все, что укрывалось под молодыми деревцами. Спасения нет; или же все-таки есть, хотя бы для одного юного танкиста?

Вижу: я, как учили, бросаюсь под днище «Пантеры». Еще кто-то, водитель, наводчик или командир самоходки, тоже «измеряет клиренс». Наши сапоги задевают друг друга. Слева и справа мы прикрыты гусеницами. Орган играет минуты три, целую вечность. От страха мочусь в штаны. Потом тишина. Рядом стук зубов, они выбивают целые строфы.

Этот стук начался еще до того, как орган закончил свое выступление, теперь стук продолжился и не прекратился даже тогда, когда крики раненых заглушили все остальные звуки.

Времени пролетело совсем немного, но его хватило: уже по ходу первого урока я с лихвой научился страху. Он целиком заполонил меня. Все тренировки забыты, кое-как выкарабкиваюсь из-под днища, оглядываю развороченную лесную землю и ползу по прошлогодней жухлой листве, в которую, пока тон задавал «сталинский орган», вдавливал лицо и запах которой мне запомнится надолго.

Шатаясь, поднимаюсь на ноги, и на меня обрушивается лавина образов. Лохмотья молодого леска, березки словно переломаны о колено. Задевая верхушки деревьев, ракеты взрывались, не долетев до земли. Там и сям раскиданы тела, поодиночке или кучами, мертвые и еще живые, скрюченные, проткнутые сучьями, изрешеченные осколками.

Неужели этот паренек только что так ловко играл на губной гармонике?

Солдат с засыхающей мыльной пеной на щеке…

Между ними ползают уцелевшие, кто-то оцепенел вроде меня. Некоторые орут, хотя и не ранены. Кто-то хнычет, словно ребенок. Стою молча, в мокрых штанах, вижу рядом растерзанное тело молодого солдата, с которым несколько минут назад я трепался, не помню о чем. Внутренности наружу. Круглое лицо, только оно как-то скукожилось в мгновение смерти…

Однако все, что здесь подробно описано, я уже где-то читал; нечто похожее было у Ремарка или у Селина, да уже у Гриммельсгаузена, когда он рассказывает о битве при Витштоке,

где шведы порубили в куски императорских вояк, при этом он, в свою очередь, цитирует картины ужаса, заимствованные у…

Неожиданно клацавший зубами человек оказывается рядом, он выпрямляется во весь рост, стряхивает с себя знобящую тряску, отчего на его воротнике сразу же явственно проступают знаки отличия старшего офицера войск СС. На шее съехавший набок Рыцарский крест. Герой, каких показывают в киножурналах, на протяжении нескольких лет демонстрировавшихся нам, школьникам.

Он кричит на меня, видевшего, как он клацал зубами от страха: «Рядовой, столбняк напал? Всех собрать! Немедленно собрать всех боеспособных! Занять новые позиции, бегом! Приготовиться к контратаке».

Вижу, как он мечется над растерзанными телами, мертвыми, еще живыми. Орет, размахивает руками. Он смешон и уже не похож на героя с картинки; задним числом я даже благодарен ему за то, что его суета среди уничтоженного подразделения — уцелели лишь две самоходки и несколько бронетранспортеров — навсегда развенчала идеал героя, насаждавшийся со школьных времен. Что-то надломилось. Остов моей веры, получивший первую, еще поддающуюся склейке трещину от русого и голубоглазого мальчугана по имени Нельзя-нам-этого, пошатнулся, но пока еще устоял.

С тех пор я находился в уже безымянных подразделениях. Распадались батальоны и роты. Дивизия «Фрундсберг», если таковая вообще когда-либо реально существовала, перестала существовать. Советской Армии удалось совершить широкий прорыв через Одер и Нейсе. Линия фронта, смятая и продырявленная, значилась лишь на бумаге. Да и что я ведал тогда о линии фронта, о том, где она проходит или должна проходить?

В суматохе отступления я прибивался к различным частям, которые сами были остатками прежних соединений. Все это происходило без непосредственного соприкосновения с противником, но страх преследовал меня. Солдаты, повешенные на обочине шоссейных дорог, служили постоянным предостережением об опасности, которой подвергался каждый от своей роты или не имевший командировочного предписания с печатью.

Центральной группировкой Восточного фронта, отодвинутого далеко на запад, командовал пресловутый генерал Шёрнер, отдававший приказы «Стоять насмерть!». Согласно этим приказам «цепные псы» полевой жандармерии хватали, не разбирая чинов и

званий, военнослужащих, не имевших командировочных предписаний, и отдавали их как трусов и дезертиров летучим военно-полевым судам. Те без проволочек выносили приговоры, и осужденных вешали, да еще так, чтобы — назидания ради — было видно всем. Эти расправы стали притчей во языцех. Шёрнера с его приказами боялись больше, чем противника.

Шёрнер занимал меня еще долгие годы после прорыва фронта между Форстом и Мускау. В середине шестидесятых я задумал пьесу под названием «Проигранные сражения» об этом страшном и кровожадном генерале-фельдмаршале. Из задуманной пьесы ничего толком не получилось. Но в романе «Под местным наркозом», где со множеством перебивов и отступлений повествуется о том, как некий зубной врач лечит учителя гимназии, штудиената Старуша от прогении и ее последствий, а также о гимназисте, который намеревается сжечь свою любимую таксу по кличке Макс в знак протеста против войны во Вьетнаме, присутствует генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер, выведенный под фамилией Крингс; так упорно стоял у меня за спиной этот выродок, приказывавший вешать солдат.

Страх был неизменной частью моего походного снаряжения. Отправившись учиться страху, я получал каждодневные уроки его. Пригнуться, увернуться, сделаться незаметным — эти элементарные приемы выживания приходилось выполнять без предварительных тренировок. Горе тому, кто учился плохо. Иногда помогал лишь зачатый хитростью и случаем отпрыск по имени «везение».

Позднее некоторые ситуации, когда я спасся от смерти благодаря одной лишь счастливой случайности, всплывали в памяти так часто, что оформились в виде занимательных историй, а с течением времени все более отшлифовывались, настаивая на своей достоверности с помощью мельчайших подробностей. Однако все, что помнится с войны как пережитая опасность, подлежит сомнению. Даже если рассказываемая история козыряет точнейшими деталями, а сами рассказы выглядят убедительными и абсолютно подлинными, словно мушка в янтарной капле.

Достоверно то, что в середине апреля я дважды попадал за русскую линию фронта в составе разношерстных команд. Так уж получалось среди неразберихи отступления. Оба раза это была дозорная группа с неясными задачами. Выручала удача, а может, чистейшая случайность, но обе ситуации еще годами возвращались ко мне в ночных кошмарах, варьируя спасительный

исход.

Всевозможные уловки были мне известны по книгам, которые я скорее глотал, нежели читал еще школьником. Наш учитель, штудиенрат Литшвагер, которому нравились мои сочинения с их немыслимыми отступлениями, дал мне облегченное издание «Затейливого Симплициссимуса», заметив в качестве рекомендации: «Барочный реализм — фантастический и правдивый, как все у Гриммельсгаузена», после чего книга меня и впрямь захватила.

Вероятно, я подбадривал себя примерно так: если уж пройдохе Симплициссимусу, которого за каждым кустом поджидали опасности Тридцатилетней войны, удалось их избежать благодаря хитрости и фортуне и если ему во время битвы при Витштоке помог его сотоварищ Херцбрудер, сумевший до того, как пробил смертный час Симплициссимуса, спасти его ударом топора от скорого на расправу профоса, чтобы сей малый впредь сочинял и сочинял свои книги, то, может, и тебе пособит удача или какой-нибудь другой Херцбрудер.

Первый случай погибнуть под автоматными очередями или попасть в плен, чтобы научиться искусству выживания в Сибири, выпал мне, когда случайный отряд из шести-семи человек под началом фельдфебеля предпринял попытку вырваться из подвала одноэтажного дома.

Как мы попали за русскую линию фронта и очутились в подвале дома, больше походившего на крестьянскую хибару, не помню. Но нужно было перебраться на другую сторону улицы, туда, где оборонялись наши. Фельдфебель, длинный как жердь, в пилотке наискосок, сказал: «Сейчас или никогда!»

Название той вытянувшейся вдоль дороги в песчаном Лаузице деревушки, где шли бои, я либо не знал, либо уже забыл. Из подвальных окон слышалась стрельба: то одиночные выстрелы, то автоматные очереди. Ничего съестного в подвале не нашлось. Зато заблаговременно сбежавший хозяин, торговавший, видимо, велосипедами, припрятал здесь свой дефицитный товар, разместив его на деревянных стойках или подвесив передними колесами вверх; велосипедов было достаточно, все вроде в неплохом состоянии, шины подкачаны, словно ждали своего часа…

Фельдфебель явно принадлежал к породе людей решительных, а потому слышу, как он, сказав «Сейчас или никогда!», скорее шепчет, чем приказывает в голос: «Разобрать велосипеды. И что есть духу — сваливаем!..»

Мое смущенное, но наверняка прозвучавшее возражение:

«Господин фельдфебель, я, к сожалению, не умею ездить на велосипеде», вероятно, показалось ему неуместной шуткой. Впрочем, никто не засмеялся. А у меня не было времени, чтобы разъяснить причину моего постыдного неумения примерно такими словами: «Видите ли, моя матушка содержит скромную лавку колониальных товаров; доходы у нее небольшие, поэтому она не могла купить мне ни новый, ни подержанный велосипед; таким образом, у меня отсутствовала возможность своевременно обучиться езде на велосипеде, хотя порой это может спасти жизнь».

Не успел я взамен похвалиться рано приобретенными навыками хорошего пловца, как фельдфебель принял очередное решение: «Берите автомат. Прикроете наш отход. Мы вытащим вас отсюда, позже…»

Возможно, кто-то из отряда, послушно снимая со стойки велосипед, попытался приглушить мой страх. Но тщетно. Я занял у подвального окна позицию с автоматом, с которым не умел толком обращаться. Правда, неспособный и к этому солдат не успел сделать ни единого выстрела, так как пять-шесть человек, выскочивших через переднюю дверь дома, были тотчас срезаны автоматными очередями посреди улицы неизвестной деревни; выстрелы прогремели то ли с той стороны, то ли с этой, то ли с обеих сразу.

Кажется, я видел, как эта горстка людей, взмахивая руками, валилась на землю, дергалась от предсмертных судорог. Кто-то — может, долговязый фельдфебель? — падая, перекувырнулся. Вскоре уже никто не шевелился. Только переднее колесо велосипеда, торчащее из кучи тел, продолжало вертеться и вертеться.

Но возможно, картина этого побоища возникла у меня в сознании. Была разыграна моим воображением гораздо позднее, ибо на самом деле я покинул свою позицию у подвального окна еще до расстрельного финала и ничего не видел, не хотел видеть.

Без автомата, доверенного мне оружия, прихватив лишь свой карабин, я выбрался из дома торговца велосипедами, крадучись через задний двор и скрипучую калитку. Прикрытый садами, деревьями и кустарником с набухшими почками, я ушел тропинками из деревни, где еще гремел бой, и неожиданно наткнулся на узкоколейку, проложенную по насыпи высотой с человеческий рост и окаймленной по обеим сторонам кустами. Она шла прямо к предполагаемой линии нашего фронта. Тишина. Только воробьи да синички в кустарнике.

Не то чтобы я успел чему-то научиться у фельдфебеля, который счел, что я просто глупо пошутил, будто не умею ездить

на велосипеде, но мгновенно принятое решение двинуться по узкоколейке, провидчески предсказывавшей направление, оказалось верным.

Примерно через километр хода по деревянным шпалам и щебенке я увидел поврежденный мост с дугой, поднимавшейся над рельсами, а на нем — сначала машины с пехотой, а потом небольшую группу бредущих солдат — немцев, судя по неторопливой манере двигаться. Недолго думая, я примкнул к ним, поскольку одинокий солдат без командировочного предписания вне зоны соприкосновения с противником становился смертником, кандидатом на виселицу.

Знаю, мой рассказ звучит неправдоподобно и отдает небылицами. В подтверждение этой истории о том, как я случайно уцелел, говорит следующий факт: даже спустя несколько десятилетий мои дочери и сыновья тщетно пытались уговорить меня поучиться ездить на велосипеде, выбрав какую-нибудь лесную тропинку, без лишних свидетелей — дело ведь, дескать, нехитрое, под силу ребенку. Но стоило мне поддаться на ободрительные призывы, как это было, например, в датском Ульсхеле-Скоу, где Мальте, Хансик и Хелена криками «Папа, давай! Не трусь!» заставили меня сесть в велосипедное седло, как все мои старания кончались тем, что сын матушки, которой — пусть она сама того не ведала — жизнеспасительно не хватило денег на покупку «железного осла», как я презрительно именовал велосипед, неизменно падал наземь.

Лишь моя Ута сумела в начале восьмидесятых — когда, по ее мнению, мой образ жизни был недостаточно активным — раззадорить меня на отчаянный поступок, и я рискнул залезть на голландский велосипед-тандем: она ехала впереди за рулем, я сидел сзади, и мне нравилось, как развеваются по ветру ее волосы. Чувствуя себя в безопасности, я давал волю полету своих мыслей, которым не было нужды стеснять себя необходимостью безотлагательных решений.

Что до других моих дней и не знаю как пережитых ночей после развала фронта по Одеру и Нейсе, то прокрученный назад и латаный-перелатаный фильм рассказывает о них немного. Не помогают ни ранее многоречивые пергаментные кожицы лука, ни прозрачный янтарь, сохранивший для нас доисторическое насекомое таким, будто поймано оно только сегодня. Придется вновь обратиться к Гриммельсгаузену, которого схожие перипетии войны научили страху и наградили приключениями, достойными «егеря из Зуста». Подобно тому, как описание битвы при Витштоке разыгрывается на реке Доссе и в ее болотистых

окрестностях, где гибнут императорские войска — причем Гриммельсгаузен живописует это побоище, искусно пользуясь барочной лексикой своего коллеги, поэта Мартина Опица, — так и я могу указать, что боевые действия, непосредственно затронувшие меня, разыгрывались в Лаузице, районе между Котбусом и Шпрембергом.

Похоже, тогда вновь предполагалось стабилизировать фронт, чтобы именно оттуда, где я плутал, сформировать новую группировку для прорыва сужающегося кольца вокруг столицы Рейха. Говорили, будто Вождь остается на своем боевом посту.

Противоречивые приказы вели к хаосу, воинские части двигались навстречу друг другу, мешали сами себе; лишь потоки силезских беженцев упорно придерживались одного направления — на запад.

Ах, до чего легко лились из-под моего пера слова в начале шестидесятых годов, когда я без особых сомнений уличал факты во лжи и находил объяснения тому, что не имело смысла. Шлюзы были отворены. Слова низвергались неукротимым водопадом. Попадая то под кипящую, то под студеную струю, омолаживались традиционные приемы повествования. Пытка щекоткой развязывала язык упорной немоте, добиваясь признаний. Любой пук рождал звучное эхо. Каждая находка стоила трех пожертвованных истин. Все реальное происходит, сообразуясь с определенной логикой, но не менее логична возможность и прямо противоположного хода событий.

Так, в заключительной главе второй части романа «Собачьи годы» сделана попытка обнаружить присутствие смысла в подземном бункере Вождя, то есть в последней битве за Берлин, которая на самом деле следовала лишь логике безумия. Поиски сбежавшего пса по кличке Принц, любимой овчарки Вождя, обрели такую словесную форму, когда невнятная стилистика Хайдеггера — «Ничто ничтожествует непрестанно» — смешалась с чудовищным нагромождением существительных в приказах Верховного главнокомандующего вооруженных сил Германии и потоки этой смеси напрочь снесли все, что сопротивлялось им в виде крупиц правды: «Согласно приказу Вождя… предписывается силами 25-й мотопехотной дивизии закрыть брешь в районе Котбуса и тем самым предотвратить возможный прорыв собаки… Изначальная явность собаки Вождя улавливается дальночувствием. Улавливаемое дальночувствием Ничто в оперативном районе группы Штайнера установлено как Ничто… Ничто установлено между танками противника и нашим передним краем».

Но там, где я находился или где мне надлежало находиться — «брешь» под Котбусом? — не существовало никакого «нашего переднего края» в виде организованных воинских соединений. Дивизию «Фрундсберг», приписанную, вероятно, к пресловутой группе Штайнера, вполне можно было назвать «ничто». Сколоченные наспех остатки подразделений реагировали на противоречивые приказы. Все распадалось, не подчиняясь какой бы то ни было логике, и так продолжалось до тех пор, пока — теперь кинолента вновь выводит меня на экран — прихоть высших сил не уготовила рядовому мотопехоты новое предназначение.

По воле случая, давнего знакомого, наугад мечущего свои игральные кости, меня прибило к отряду из двенадцати — пятнадцати человек, который за неимением тяжелого вооружения использовался как разведгруппа, иначе говоря — «команда смертников».

У меня куда-то запропастилась плащ-палатка и, что еще хуже, потерялся карабин, поэтому мне выдали итальянский автомат, попавший таким образом — если бы дело дошло до серьезной стычки — в весьма ненадежные руки.

Помню совещание сгрудившихся касок, бросавших тень на угрюмые лица мужчин и испуганные физиономии юнцов, среди которых тогдашняя фотография, если бы кто-нибудь снял ту разношерстную компанию, запечатлела бы меня как третьего слева.

Командовал опять фельдфебель, старый служака, только на сей раз приземистый и широкоплечий. Согласно приказу нам надлежало, выдвинувшись вперед, искать соприкосновения с противником.

В опустившихся сумерках мы, поплутав, выбрались на вспаханную танковыми гусеницами лесную дорогу, по которой вроде бы несколько часов назад прошла колонна «тигров» и бронетранспортеров — ударная группа. Мы должны были установить с ней контакт. Но из рации, которую мы несли с собой, доносился только шум и бессвязные обрывки чьих-то переговоров.

По обеим сторонам дороги царило однообразие: сосны, только сосны. Только высокие сосны, справа и слева. Хотя тяжелого оружия тащить не приходилось, но по пути мы подобрали старика, который, судя по повязке, был ополченцем, да еще двух легко раненных солдат, похожих на близнецов, поскольку оба хромали на левую ногу.

Ополченец нес какую-то околесицу: то ворчливо

богохульствовал, то ругал соседа. Раненых солдат нужно было поддерживать, почти нести. Двигались медленно. По рации все еще не поступало никаких сообщений от ушедшей вперед ударной группы, поэтому фельдфебель приказал устроить на обочине привал. Похоже, изрядный фронтовой опыт подсказывал ему, что следует дождаться возвращения бронетранспортеров, которые захватили бы заговаривающегося ополченца и обоих раненых. Впрочем, измотаны были все. По счастью, он послал в дозор на лесную дорогу не кого-либо из юнцов, а именно меня, велев получше разуть глаза.

И вот опять рисуется картина: каким я вижу себя самого. На мне каска, которая сползает на лоб. Я исполняю приказ. Я усердно стараюсь справиться с заданием.

Мне действительно удалось это сделать, несмотря на усталость; через некоторое время среди темного ночного прогала лесной дороги я разглядел световую точку, которая по мере приближения разделилась на два огонька. Выкрикнув по уставу: «Замечен движущийся транспорт! Вероятно, бронемашина пехоты», я вышел на середину дороги, чтобы меня было лучше видно и чтобы согласно приказу остановить предполагаемый бронетранспортер; будучи левшой, я поднял левую руку.

Возможно, меня смутило, что приближающийся гусеничный бронетранспортер ехал с зажженными фарами, а когда он притормозил в нескольких шагах от меня, сомнения подтвердились. Хватило одного взгляда. Только русские могли себе позволить не экономить электричество, гнать вперед, ни о чем не…

«Иваны!» — крикнул я отряду на обочине, а сам, не теряя времени на то, чтобы разглядеть пехотинцев, плотно рассевшихся на бронетранспортере, и таким образом впервые встретиться с советским солдатом лицом к лицу, прыгнул вправо, пока не раздались выстрелы, нырнул в сосновый молодняк на обочине, оказался уже поодаль, но еще в опасной зоне.

Тут же послышались крики на двух языках, их заглушила перестрелка; в конце концов последнее слово осталось за русскими автоматами.

Пока я потихоньку отползал, продираясь меж густого молодого сосняка, слева и справа били автоматные очереди, но меня они не задели, в отличие, видимо, от нашей остальной команды вместе с фельдфебелем. Даже ополченец больше не богохульствовал и не ругал своего соседа, сводя с ним какие-то счеты. Раздавались только голоса русских, теперь уже поодаль. Кто-то рассмеялся, и смех был вполне добродушным.

Предательски громко похрустывали сухие ветки, поэтому

уцелевший пехотинец не рискнул ползти дальше по-пластунски, как его учили. Он прикинулся мертвым, будто желая уклониться от хода истории, а ведь итальянский автомат делал его боеспособной единицей.

Лишь когда вражеский бронетранспортер тронулся с места и за ним последовали другие, я опять пополз, выбрался туда, где молодняк граничил со взрослым лесом, а деревья стояли строгими рядами, воплощая собою прусский порядок. Меня совсем не тянуло назад, поскольку там лежали только трупы. К тому же бледные отблески света и шум моторов на лесной дороге свидетельствовали о новом движении противника.

Я все дальше углублялся в лес; неожиданно, как по заказу, пробился полумесяц; небо было не слишком облачным, поэтому в лунном свете юный солдат не так уж часто натыкался на стволы деревьев. Запах смолы настолько поглотил его и обволок собой, что солдат сделался похож на насекомое, сохранившееся в моем янтаре и претендующее на то, чтобы быть моей инкарнацией; этот кусочек янтаря всегда лежит у меня под рукой рядом с другими находками в верхнем ящичке конторки, за которой я работаю; янтарь желает, чтобы его разглядывали на просвет, ждет вопросов. Если набраться терпения, то паучок, клещ или жучок могут дать ответ…

Что же я вижу, разглядывая при свете полумесяца одинокого рядового мотопехоты, являющегося как бы ранним изданием нынешнего, уже пожилого человека?

Он выглядит так, будто сбежал из сказок братьев Гримм. Вот-вот заплачет. Ему совсем не нравится история, в которую он попал. Ему хотелось бы походить на заглавного персонажа из книги Гриммельсгаузена, героя столь близкого, что он почти осязаем. Он и впрямь немножко похож на этого героя, которому мир представляется сумасшедшим домом, состоящим из целого лабиринта углов и коридоров; выбраться оттуда можно лишь с помощью чернил и пера, да еще под каким-нибудь диковинным именем, вроде Напеременускор. Вот его уловка, которая оправдывала себя еще со школьных времен: сочинительство помогает выжить.

А пока все, что произрастет дальше, имеет своей питательной средой одни лишь предположения. Ему хочется примерить на себя ту или иную роль, я же вижу только бесцельно плутающего солдатика, который порой смутно вырисовывается между ровными, одинаковыми по росту соснами, а потом пропадает снова, ускользая от будущего видоискателя.

Он все еще вооружен, держит автомат на изготовку.

Бесполезным продолговатым барабаном болтается противогаз. В холщовой котомке для провианта завалялись крошащиеся остатки сухого пайка. Фляга наполовину пуста. Отцовский подарок, ручные часы со светящимся циферблатом марки «Кинцле» остановились неизвестно когда.

Ах, если бы уже сейчас у него был тот кожаный стаканчик и три игральные кости, которые достались ему в качестве трофея вскоре после окончания войны. С помощью этих игральных костей он и его ровесник, сотоварищ по лагерю для военнопленных в Бад-Айблинге станут гадать о будущем. Ровесника будут звать Йозефом, он окажется целеустремленным католиком, желающим непременно стать священником, епископом или даже кардиналом… Впрочем, это уже совсем другая история, начало которой пока неведомо и которой нечего делать здесь, в темном сосновом бору.

Вот он спит сидя, прислонившись к дереву. Вот проснулся и испуганно вздрогнул, но озноба не почувствовал, хотя еще недавно ему так не хватало теплой шинели, потерянной под Вайсвассером. При дневном свете он, как и сосны, отбрасывает тень. Но не может воспользоваться этим ориентиром, чтобы выйти из леса, бродит по кругу, не замечая этого, достает сухарь, отворачивает крышку фляги, пьет, отчего каска съезжает на затылок. Он не может вести счет минутам, под руками нет ничего, чтобы погадать о будущем; ему нужен друг — пусть еще безымянный, а пока он сам силится походить на того Симплиция, который знает выход из любой передряги, был прозван «егерем из Зуста» и прослыл отменным фуражиром, способным раздобыть не только черный хлеб, но и вестфальский окорок.

А теперь, когда вновь смеркается и начинает покрикивать сыч, он дожевывает последние крохи; его томит голод и чувство полного одиночества под ночным небом, которое заволакивают тучи.

Окутанный кромешной тьмой, он получает новый урок страха, чувствует, как страх придавливает его, старается вспомнить детские молитвы: «Боженька милый, даруй мне силы..», кажется, даже зовет: «Мама, мама!» — а та в свою очередь пытается докричаться до него из дальнего далека: «Иди ко мне, малыш! Сделаю тебе твой любимый гоголь-моголь», но он остается в темном бору, один-одинешенек, пока не происходит нечто не воображаемое, а вполне реальное.

Слышу шаги или звуки, похожие на шаги. Хрустнул сучок. Крупный зверь? Кабан? Или всего лишь белка?

Кто-то движется, то чуть ближе, то дальше, но идет ко мне, вот уже совсем рядом.

Осторожно! Затаить дыхание! Спрятаться за сосну!

Сделать то, что вдолблено муштрой. Снять предохранитель. Тот, наверное, тоже снимает предохранитель.

Два человека, подозревающие друг в друге врага. Потом, через много лет, из этого могла бы получиться сцена для балета или кинофильма, такие сцены бывают в каждом вестерне: напряжение растет, начинается ритуальный танец перед стрельбой.

Говорят, в темном лесу нужно насвистывать, чтобы избавиться от страха. Что-то — возможно, издалека помогла мама — подсказало мне, что надо напевать. Только не заученные марши, вроде «Эрики», и не модный шлягер, например из тех, что недавно исполняла Марика Рёкк — о том, как одиноко человеку ночью, — нет, с губ сама собой сорвалась подходящая к случаю детская песенка. Я запел первую строчку куплета «Гансик боится, / Страшно ему…» и повторял ее до тех пор, пока не услышал в ответ: «Ночью по лесу / Плутать одному».

Не знаю, сколько продолжался наш антифон; наверное, понадобилось некоторое время, чтобы опознавательный сигнал — здесь заплутали два существа, принадлежащие к немецкому роду-племени, — сработал и был понят правильно, после чего мы оба, покинув свои укрытия и опустив оружие, заговорили на солдатском жаргоне, подходя друг к другу все ближе, совсем близко…

Второй певец нашего дуэта держал штурмовую винтовку, он был на несколько лет постарше и на несколько сантиметров пониже. Без каски, в мятой полевой фуражке, довольно тщедушный, он говорил на берлинском диалекте с характерной ноющей интонацией. Мой легкий испуг, когда он щелкнул зажигалкой: огонек сигареты осветил угрюмое лицо.

Позднее выяснилось: воевать он начал с польской кампании, побывал во Франции и Греции, дошел до Крыма и дослужился до старшего ефрейтора. Дальнейших званий не хотел сам. Ничто не могло вывести его из душевного равновесия, что подтвердилось последующими событиями, когда всякий раз дело могло обернуться совсем худо. Он стал моим ангелом-хранителем, сыграв роль гриммельсгаузеновского Херцбрудера; в конце концов он вывел меня из леса, а потом протащил и через русскую линию фронта.

На одном из привалов он при свете луны, выглянувшей на достаточное время, тщательно соскоблил свою двухдневную щетину. Мне пришлось держать карманное зеркальце моему новому командиру.

Только начинавшееся от опушки поле с уходящими на запад

бороздами побудило нас выйти из-под лесного покрова. Похоже, поле вспахали совсем недавно, а кончалось оно за небольшим холмом. Потом мы пошли по окаймленному кустами проселку, преодолели речку по мосту, который не охранялся. Наполнив фляги, мы напились, вновь пополнили фляги; старший ефрейтор устроил перекур.

Лишь на третьем мосту — видимо, путь наш пересекал рукава разветвленной Шпрее — вдалеке мелькнул огонек. До нас долетел смех, обрывки слов. В отсвете огня мелькнули тени.

Нет, Иваны не пели, не были в стельку пьяными. Наверное, одни спали, а другие…

Лишь когда мы уже миновали реку, вслед раздались возгласы: «Стой!» и еще раз: «Стой!»

На третий раз — мост был позади — старший ефрейтор скомандовал: «Бегом! Жми что есть мочи!»

И мы понеслись так, как я потом еще долго, тягуче и медленно бежал в моих послевоенных снах, прямо через пашню, вывороченная сырая земля липла к подошвам, опадала комьями и налипала снова, отчего мы, теперь уже под огнем автоматов и освещенные взлетевшей в небо ракетой, двигались заторможенно, будто в замедленной съемке, и этот слишком растянувшийся киноэпизод окончился лишь тогда, когда мы добрались до канавы, опоясывавшей поле, которая и укрыла нас. Ракета больше не взлетала, поле оставалось темным. Лишь изредка проглядывала луна. Выскочивший кролик подался в сторону, но так лениво, словно нас не стоило бояться.

Мы поплелись дальше, через поле; мосты больше не встречались. В рассветных сумерках показалась деревушка, которую, похоже, еще не занял противник; притулившись к церковке, она спала до того покойно и мирно, будто вообще выпала из времени.

Странно, что у меня до сих пор стоит перед глазами суровое, а может, просто немного хмурое лицо австрийского ротмистра, встретившего нас у противотанкового заграждения возле деревни; могу даже описать мешки у него под глазами и усы, хотя простояли мы с ним и его ополченцами не больше минуты. По натуре, видимо, человек флегматичный, он прервал наш многословный доклад вопросом: «Ну а где же командировочное предписание?», произнеся его таким тоном, будто речь шла о пустяковой формальности.

Однако без бумажки с печатью разгуливать не полагалось, дело грозило полевым судом, а потому ротмистр велел трем старикам, вооруженным дробовиками и фаустпатроном, запереть

нас в подвале крестьянского дома. Один из стариков счел нужным заявить, что он здешний бургомистр и к тому же местный бауэрнфюрер.

Опять-таки странно, что никто не собирался нас разоружать. На руках у ротмистра сидела собачка в ошейнике, украшенном бисером; он разговаривал с ней так ласково, будто ничто на свете не заслуживало его участливого внимания, кроме этой псины. Один из дряхлых стариков, конвоировавших нас в подвал, сунул моему старшему ефрейтору начатую пачку сигарет не помню какой марки, словно исполняя перед казнью последнее желание осужденного.

Запамятовал я и то, как называлась эта деревушка, куда мы вышли через линию фронта к своим — целыми и невредимыми, хотя и голодными, — чтобы тут же угодить на скорую расправу полевого суда. Может, Петерляйн? А возможно, этим уменьшительным именем звалась другая деревушка, которую мы миновали позднее.

Подвальные полки ломились от банок со всяческой снедью; содержимое банок обозначалось аккуратными наклейками, написанными от руки зюттерлиновским шрифтом, какому в школе учили наших бабушек. Пыль с банок обтерта. В бутылях темнел яблочный сок и сок бузины. В углу лежала горка картошки, из которой уже повылезали ростки величиной с мизинец.

Мы до отвала наелись тушенки, опустошили большую банку маринованных огурцов, напились соку. Потом мой старший ефрейтор закурил, что делал редко, зато со смаком. Как и моя далекая матушка, он умел пускать дым колечками. Опорожнив овальный барабан противогаза, я наполнил его клубничным и вишневым джемом, что позднее сыграло со мной злую шутку.

Часа два мы ждали полевого суда, ни словом не обменявшись о грозившем нам приговоре, просто дремали, — во всяком случае, эти часы не отложились в памяти как время проникнутого страхом ожидания, — после чего старший ефрейтор проверил подвальную дверь. Она оказалась незапертой. Ключ торчал снаружи. Нас никто не охранял. Интересно, спугнули ли бы мы спящую кошку, если бы таковая имелась?

Через окошко в кухне над подвалом мы осмотрели противотанковое заграждение. Никто из ополченцев не докуривал там свою трубку. Исчез ротмистр с собачкой. Похоже, деревню оставили. Или же ее обитатели делали вид, будто их здесь нет и никогда не бывало.

Ротмистр либо забыл про нас, либо, поддавшись

меланхолическому капризу, предоставил нас собственной судьбе. На противотанковом заграждении, сооруженном из свежеспиленных сосен, прыгали воробьи. Пригревало солнышко. Хотелось петь.

В стороне от заграждения просматривалась часть поля; там развернутой цепью на нас двигался враг, русская пехота. Издали все выглядело безобидно: крошечные фигурки. Я вновь увидел красноармейцев на расстоянии выстрела. Каждый солдат по отдельности был еще почти неразличим, однако дистанция сокращалась. Но выстрелы не раздавались. Под пилотками, касками, ушанками медленно продвигавшихся фигур угадывались молодые парни, вероятно мои ровесники. Форма землистого оттенка. Мальчишеские лица. Вот их уже можно пересчитать, слева направо. Каждый — мишень.

Однако я не взял итальянский автомат на изготовку, да и мой старший ефрейтор не изъявлял желания оборонять штурмовой винтовкой деревушку под названием Петерляйн. Мы бесшумно скрылись. Даже если бы Иваны по команде или же просто по привычке начали стрелять, мы не стали бы отвечать огнем.

Объяснялось это отнюдь не человеколюбием и не может считаться заслугой. Скорее, было просто неразумно открывать прицельный огонь, да и не имелось на то особой нужды.

Поэтому мои обычные заверения, что за ту неделю, когда война цепко держала меня, я ни разу не совместил мушку с прорезью, наводя их на цель, не затаил дыхание, чтобы плавно спустить курок, и вообще не сделал ни единого выстрела, лишь немного заглушают пришедшее позднее чувство стыда. Словом, мы действительно не стреляли, это точно. С меньшей уверенностью могу припомнить, когда именно сменил свою форменную куртку на другую, не столь сильно компрометирующую меня. Сам ли я додумался до этого?

Вероятно, старший ефрейтор приказал мне сменить форму из-за двух рун на моем воротнике, да еще помог мне сделать это. Не нравились ему значки SS. Из-за них он и сам оказывался в плохой компании, хотя раньше у нас не было разговора на сей счет.

Наверное, это произошло еще в заставленном банками подвале или на каком-нибудь привале, когда старший ефрейтор, намылив лицо, побрился, затем закурил сигарету и сказал: «Если Иваны нас поймают, тебе — конец. Парней с такими цацками на воротнике расстреливают на месте. Пулю в затылок, и привет!»

Где-то он «организовал», как это называлось на солдатском жаргоне, обычную армейскую куртку. Без пулевых отверстий и пятен крови. Она даже подходила мне по размеру. Таким, без

двойной руны «зиг», я нравился ему куда больше. Да и я ничего не имел против нового обмундирования.

Так заботлив был мой ангел-хранитель. Подобно тому, как Херцбрудер всегда приходил на выручку Симплицию в минуту смертельной опасности, так и я, сменивший обличье, мог целиком положиться на моего старшего ефрейтора.

После — это всегда накануне. На то, что именуется настоящим, на это вечно мимолетное сейчас-сейчас-сейчас неизменно падает тень, отбрасываемая прошлым, поэтому столь тяжело дается продвижение вперед, в так называемое будущее.

Обремененный этой тяжестью, я оборачиваюсь назад и по прошествии шести десятилетий вижу, как семнадцатилетний юнец с использованной не по назначению коробкой от противогаза, в форменной армейской куртке, новенькой, будто только что выданной, держится рядом с хватким, живучим, предчувствующим любую опасность старшим ефрейтором, про которого ни за что не подумаешь, что до войны он работал парикмахером; оба стараются прибиться к какой-нибудь отступающей части. Им удается обходить контрольные посты «цепных псов». Лазейки отыскиваются. Редко можно угадать, где проходит линия фронта. Среди тысяч солдат рассеянной армии плутают двое, без документов. Какая же часть поредела настолько, чтобы подобрать их?

Лишь по дороге из Зенфтенберга в Шпремберг, запруженной конными повозками с беженцами, этой паре, одетой в одинаковую серую форму, посчастливилось воспользоваться затором, чтобы получить на импровизированном сборном пункте, развернутом у обочины, спасительную бумажку с печатью. Прямо под открытым небом установлены стол и скамейка. На столе — чистые бланки. На скамейке сидит уставший от войны главный фельдфебель; не задавая вопросов, он быстро заполняет очередной бланк и шлепает печать. Я повторяю то, чему меня научил старший ефрейтор.

Теперь мы не беззащитны, ибо приписаны к сформированной части, пусть даже она существует пока лишь на бланках: довольно призрачная защита. Зато перед нами вполне явственно предстает полевая кухня, занявшая свое место на лужайке возле сборного пункта. Ее котел дымится. Пахнет похлебкой. Присоединяемся к очереди. Все чины стоят вперемешку. Офицеров тоже не пускают без очереди. Ближе к финалу воцаряется фронтовая анархия, которая уравнивает чины и звания.

Дают картофельный суп с мясом. Повар наливает сначала полный черпак со дна, потом добавляет полчерпака сверху. У

обоих кроме «сухарок» сохранились манерки, а также ложка с вилкой, поэтому каждый получил из котла свои полтора черпака. Настроение не подавленное, но и не бодрое. Типичная апрельская погода. В данный момент как раз проглянуло солнце.

Стоим друг перед другом, синхронно работаем ложками. «А ведь сегодня у Адольфа день рождения! — говорит солдат, расположившийся неподалеку и тоже орудующий ложкой. — Где же доппаек? Шоколад, например, сигареты или стопарик, чтобы чокнуться? За здоровье Вождя!»

Кто-то пытается рассказать анекдот, путается… Заразительный смех. Новые анекдоты. Вполне мирная картинка. Не хватает только губной гармошки.

— Что это за местность? Как называется?

— Лаузиц.

Сразу находится знающий человек: «Тут бурого угля полно».

Весной девяностого года сразу несколько причин привели меня в деревни и городки этого края между Котбусом и Шпрембергом. Живо интересуясь происходящим вокруг, я записывал все, что поражало новизной, но мыслями не мог оторваться от прошлого.

В ту пору казалось, что последствие войны, раскол Германии на два государства, затянувшийся более чем на четыре десятилетия, если не преодолеет благодаря объединению существующие различия, то хотя бы начнет их постепенно сглаживать. Во всяком случае — едва ли не чудом — такая возможность представилась вполне реально. Однако возобладало мнение, будто времени на долгий процесс нет, а потому надо уравнять бедный Восток с богатым Западом при помощи денег ускоренными темпами, то есть быстрее, чем первоначально предполагалось.

Я совершил две поездки; сперва на несколько дней приехал в Котбус, где стаи торговых агентов, авангард капитала, уже заполонили местные отели, затем — уже ранним летом — целью моей второй поездки стал Альтдёберн. Там я устроился в пансионе с завтраком у одной вдовы, у которой была взрослая дочь. Это был городок с замком, дворцовым парком, остановленной фабрикой, гастрономом, женской клиникой и советским солдатским кладбищем у церковной площади; кладбище было ухоженным, разбитым на стройные ряды. В ресторане можно было заказать солянку, а к ней привезенное из Баварии пиво. Все это происходило после объявления «валютного союза», но уже пошла распродажа столь мирно оккупированной страны. Западные фирмы всюду демонстрировали свое присутствие.

Меня же интересовали только сами здешние места. Куда ни кинь взгляд, ландшафт везде обнаруживал следы того, что тут многими десятилетиями добывали бурый уголь. Там, где за дворцовым парком уголь добывался открытым способом, карьер напоминал внеземные, лунные пейзажи. Терриконы вскрышной породы, меж ними неподвижные озерца грунтовых вод. Над ними ни единой птицы.

Карьер простирался сразу за женской клиникой, там я рисовал углем и карандашом, один лист за другим. Сначала это были окрестности Альтдёберна, потом остатки деревни Прицен, затем я сменил место, чтобы запечатлеть трубы и холодильники кочующего комбината «Шварце пумпе».

Вскоре я заполнил целый блокнот «энгровской» бумаги, все двадцать листов. Я рисовал переплетение лент отслуживших транспортеров, делал наброски брошенных скреперов, застывших вблизи и поодаль.

Созерцание бездн, созданных человеческими руками, позволяло угадывать за ними нечто большее, чем виделось поверхностному взгляду, вызывало слова, которые позднее прозвучали в романе «Долгий разговор», предвосхищая «овосточнивание» Запада и указывая на мрачные перспективы, открывшиеся мне над рукотворной бездной.

Но потом — между одним рисунком и другим — кинолента закрутилась назад и я вновь пустился, пускаюсь по собственному следу.

Со сдвигом во времени мне предстоит найти у дороги, ведущей из Зенфтенберга на Шпремберг, рядового мотопехоты, который стоит возле старшего ефрейтора, говорящего на берлинском диалекте с ноющими интонациями, разглядывает окрестности и строит гримасы. Не помню точно места, где повар полевой кухни раздавал нам суп и где мы ели из уже наполовину опустошенных манерок.

Припекает июньское солнце, как пригревало оно и тогда, в апреле. Мы синхронно работаем ложками. Рядом дорога, по которой идет на рубеж контратаки бронеколонна, ей мешает встречный поток беженцев. Разминуться можно только по одной стороне дороги. С обочины сыплются комья земли.

Ниже, до противоположного края карьера, простираются выработки бурого угля. «Бурое золото» ждет своей отправки в топки электростанций или на фабрику, где прессуют угольные брикеты. В годы войны, как и в мирное время, Лаузиц давал прекрасные возможности для добычи угля открытым способом, происходило это и в год больших перемен, когда я приехал сюда, чтобы увидеть больше, чем можно.

Над терриконами, над озерцами грунтовых вод — тишина. Пока я запечатлевал наисовременнейший ландшафт, возникший благодаря угольным карьерам, тишины хватало для того, чтобы слухом, обращенным в прошлое, услышать рев майбаховских моторов, крики беженцев с повозок, ржанье лошадей, детский плач, шлепанье фельдфебелевой печати, перестук алюминиевых ложек, подбиравших из манерок остатки супа, — и тут же разрывы первых советских снарядов.

Между тем как черпнуть ложкой раз и другой, мой старший ефрейтор произнес:

— Это же — «тридцатьчетверки»!

— «Тридцатьчетверки»! — эхом откликнулся я.

Из леска на противоположной стороне карьера выкатилось несколько танков. Маленькие, словно игрушечные, они, остановившись, начали стрелять. Затор на дороге, возникший из-за мешавших друг другу встречных потоков, позволял вражеским танкам вести прицельный огонь. Снаряды ложились все ближе. Нашим «пантерам», самоходкам с неподвижной башней, нужно было развернуться, чтобы занять огневую позицию. Раздались команды, заглушающие друг друга крики, самоходки сбрасывали повозки с людьми на обочину, в карьер, просто сметали с дороги, словно мусор.

Вижу симпатичного лейтенанта, высунувшегося из башенного люка и отчаянно жестикулирующего, будто он голыми руками пытался расчистить сектор обстрела, вижу малышей на опрокидывающихся повозках, слышу орущую женщину и одновременно не слышу ее крика, а вижу то чуть поодаль, то совсем близко разрывы снарядов, беззвучно ищущих свою цель; теперь, чтобы не видеть всего этого, я пялюсь на остатки супа в алюминиевой манерке, еще ощущаю голод, но уже чувствую себя удивленным зрителем, почти безучастным свидетелем обескураживающей сцены, разыгравшейся словно в немом кино, но тут же одним взмахом пера превращаюсь в Гриммельсгаузена, переместившегося из прошлого в сиюминутное настоящее, в Гриммельсгаузена, которому на протяжении долгих смертоносных лет войны довелось переживать одно опасное приключение за другим, битву за битвой; мне что-то шепчут в ухо, мне ясно помнится все, что происходило вокруг; кажется, будто мне грезится сон, хотя я вовсе не грежу, голова остается ясной до той самой секунды, когда с нее срывает каску, у которой ослаб ремешок, и я теряю сознание.

Наверное, только на короткое время, если вообще можно было вести счет времени. То, что потом случилось со мной и вокруг меня, возникает и исчезает либо в виде призрачных,

размытых, либо в виде резко-отчетливых картин: отлетевшая полупустая манерка, а с ней и ручные часы марки «Кинцле».

Но где же мой старший ефрейтор?

Где автомат и оба магазина?

Почему я все еще стою? Или я уже снова поднялся на ноги?

На правом бедре сильно кровоточит рана, пропитывая кровью штаны. От сорванного ремешка саднит подбородок. Плетью повисла левая рука, не могу шевельнуть ею, когда вместе с кем-то бросаюсь на помощь моему старшему ефрейтору: вот он лежит передо мной!

Осколком снаряда ему раздробило обе ноги. Выше, кажется, все цело. Он глядит удивленно, не веря случившемуся…

Взметнувшаяся пыль закрывает от меня полевую кухню, которая продолжает дымиться как ни в чем не бывало; старшего ефрейтора уносят, а меня, поддерживая, доводят до санитарной машины, где размещают вместе с другими ранеными. Сюда же подсаживается санитар. Прочих раненых вынуждены оставить, они орут, ругаются, кто-то цепляется за машину… Наконец, дверцы захлопнуты и закрыты на задвижку.

Машина трогается, нас везут, как можно догадаться, в полевой госпиталь.

Запах лизола. Санитарная машина рождала ощущение безопасности. Война объявила перерыв. По крайней мере, пока ничего особенного не происходило; мы медленно продвигались вперед. Старший ефрейтор лежал распластавшись. Его лицо, обычно свежевыбритое и розовое, теперь позеленело, на щеках проступила щетина. Да и сам он выглядел каким-то скукоженным. Ноги в бинтах.

Он лежал на носилках, был в сознании и смотрел на меня, не поворачивая головы, искоса. Он попытался сложить какую-то фразу, произнести ее внятно; наконец это ему удалось, и он попросил меня со своей обычной ноющей интонацией, чтобы я достал сигарету из мятой пачки, а заодно и зажигалку.

Я, некурящий, зажег сигарету, вставил ему между губ, которые сразу перестали вздрагивать. Сделав несколько затяжек, он закрыл глаза, но тут же снова испуганно открыл их, будто только сейчас осознал, что с ним произошло. Нечто новое в нем испугало меня: на его лице читался страх.

После некоторой паузы, когда слышались только стоны других раненых и ругань санитара, который жаловался на нехватку перевязочного материала, а я сам удивлялся тому, что не чувствую боли, мой старший ефрейтор попросил, нет — приказал мне расстегнуть ему штаны, кальсоны и сунуть для

проверки руку между ног.

Когда я подтвердил ему, что там все на месте и цело, он ухмыльнулся, сделал еще пару затяжек, после чего затих, потерял сознание, сделавшись маленьким и тщедушным.

Двенадцатью годами позже, описывая оборону Польской почты в Данциге, я наделил тем же самым жестом Яна Бронского: Ян сунул пятерню в штаны Кобиелы, коменданта здания, чтобы подтвердить умирающему сохранность его мужского достоинства.

В полевом госпитале нас разлучили. Старшего ефрейтора отнесли в палатку, я остался на улице. И тут, когда мне собирались перевязывать бедро, еще до того, как я спустил штаны, раздался всеобщий смех, имевший вполне очевидную причину: коробка от противогаза, все еще висевшая у меня сзади, оказалась взрезанной осколком длиной в палец, через образовавшуюся щель потек клубничный и вишневый джем, испачкав мои штаны. Они потом долго приклеивались к заднице, а кроме того, притягивали муравьев, что было совсем уж несмешно.

Взрезанный барабан от противогаза остался в госпитале. А вот осколок советского снаряда, пощадивший будущего отца моих сыновей и дочерей, я бы охотно сохранил, чтобы показывать детям и внукам: глядите, какой аттестат был выдан мне, пошедшему на войну добровольцем, за то, что я изведал ужас и научился страху. Смотрите, дети, какой он длинный и зазубренный…

Затем перевязали и мое левое плечо, которое почти не кровоточило, но в нем засел кусочек металла, хотя, предположительно, совсем маленький. Дырочку от него едва удалось отыскать в моей новой форменной куртке. Повисшую плетью руку сунули в перевязь. Полевой госпиталь удачно разместился рядом с железнодорожной сортировочной станцией, поэтому память не сохранила воспоминаний о промежуточных пересадках. Так быстро закончилась для меня война, хотя вокруг она еще продолжалась.

К вечеру состоялась погрузка. Это было, видимо, в ночь с двадцатого на двадцать первое апреля, так как санитары, составлявшие посадочный список, врач и легкораненые, к числу которых отнесли и меня, все еще ругались по тому поводу, из-за которого началось брюзжание у полевой кухни: никому не выдали дополнительных пайков, что обычно делалось на протяжении всех военных лет в день рождения Вождя. Ни сигарет, ни банки сардин, ни бутылки шнапса на четверых. Ничего…

Всем солдатам, даже мне, некурящему, это казалось крайне

досадным и едва ли не более значительным событием, чем очевидный крах великого Германского рейха. К ругани примешивались проклятья, каких раньше мне слышать не доводилось.

Товарняк, в одном из вагонов которого я лежал среди легко- и тяжелораненых, катил к неизвестному пункту назначения. Зачастую стоянки длились бесконечно, а порой они бывали совсем короткими. Снаружи смеркалось. Несколько раз состав отправляли на пересортировку. Вагон освещался лишь одной карбидной лампой.

Мы лежали на соломе, пропахшей гнилью и мочой. Рядом со мной горный егерь с перевязанной головой читал религиозную книжонку при свете карманного фонарика. Его губы шевелились. Справа метался на лежаке раненный в живот, он кричал до тех пор, пока не затих совсем.

Воды не давали. С нами не было санитара, который мог бы отозваться на крики раненых. Крики и стоны раздавались независимо от того, ехал поезд или стоял. За последним стоном наступала внезапная тишина.

Мой сосед слева вполголоса молился. Разбушевавшийся в тусклых отсветах карбидки раненый сорвал с себя бинты, вскочил, упал, вскочил снова, чтобы опять упасть и уже не подняться. Справа больше никто не шевелился.

Ночь никак не кончалась, она тянулась и еще долго продолжалась в моих снах первых послевоенных лет. Нет, боли я пока не чувствовал. Лишь изредка впадал в дрему, чтобы тут же вновь встрепенуться. Потом все-таки заснул, не знаю на сколько.

Когда товарняк наконец остановился, нас, живых и мертвых — например, раненного в живот соседа — выгрузили. Врач ставил галочки в списке, сортируя легко- и тяжелораненых. Ему хватало одного взгляда. Настолько споро шло у него дело.

Старинный, чудесным образом уцелевший Мейсен, город со знаменитым собором, в утренних лучах весеннего солнца. Как в песенке: все птички уже прилетели. Многие раненые, я тоже, жадно хватали кружки с соком, которым поили нас представительницы Союза немецких девушек, привыкшие, видно, к разгрузке товарняков с подобным содержимым.

Тяжелораненых увезли на грузовиках. Мы же, легкораненые, заковыляли, поддерживая друг друга, в гору, к замку, оборудованному под госпиталь. Горожане, среди них множество женщин, стояли у обочины. Кое-кто помогал идти. По-моему, я тоже брел в гору, опираясь на молоденькую женщину.

Год назад мой старший сын Франц, которому уже за сорок, полный энергии и переменчивых желаний, и моя младшая дочь Неле, учившаяся тогда в Дрездене на акушерку и пытавшаяся скрыть свои переживания из-за любовных передряг, отправились вместе посмотреть отреставрированный Мейсен; они послали мне оттуда почтовую открытку с видом города на глянцевой стороне. Написанное на обороте читалось как свидетельство их детской любви: в благодарность за то, что случай уберег меня, Неле и Франц поставили свечи в местном соборе.

В замке со мной обошлись на скорую руку. Госпиталь был переполнен. Раненые лежали по всем коридорам на чем попало. Усталые врачи, раздраженные медсестры, жалобы на нехватку всего, особенно медикаментов. Поэтому мне лишь обновили повязку на правом бедре и на левом плече, где, как записали в документ с подписью и печатью, засел крошечный осколок снаряда. В моем случае операцию сочли не срочной, сэкономили и на противостолбнячной сыворотке.

Выданный сухой паек лег в холщовую «сухарку», которая оставалась при мне. Пропали только наручные часы. Зато теперь у меня была пилотка, даже подходившая мне по размеру. Жаль, что не удалось сменить противно липкие штаны.

Пообещав, что позднее разберутся как следует, сделают противостолбнячный укол и выдадут новые штаны, мне вручили командировочное предписание, мое последнее, где конечной целью значился город-госпиталь Мариенбад; этот часто упоминающийся в литературе и известный знаменитыми посетителями курорт — старый Гёте, влюбившись здесь в юную девицу и получив отказ, утешился написанием «Мариенбадских элегий» — находился где-то за Рудными горами, далеко в Судетах.

Пока я ждал, чтобы поставили печать на моем документе — это была единственная бумажка, где значилась моя фамилия, — из операционной вывезли на каталке старшего ефрейтора. Нос его еще больше заострился. Никогда я не видел его таким небритым. Моего ангела-хранителя провезли мимо в виде упакованного туловища, без ног. Он спал, и неизвестно было, следовало ли надеяться, что он очнется из своего забытья, или бояться этого.

Его провезли по коридору, где висело всяческое средневековое оружие: алебарды, арбалеты, обоюдоострые топоры, стрелы, палицы и мечи, а также мушкеты, какими, наверное, воевали в смутные времена Гриммельсгаузена; чего только не выдумал человек с течением веков для общения с себе подобными.

Я смотрел вслед моему старшему ефрейтору. Эта картина — как его бесшумно увозят, — которую я по желанию всегда могу вернуть назад, не дает ответа на вопрос: жив ли он еще и если да, то где находится? Его имя тоже остается неизвестным, ибо так и не было названо.

Под воздействием военной выучки я называл его, будь то в сосновом бору или заполненном банками подвале, «господин старший ефрейтор». Он был моим командиром, который хотя мне и «тыкал», чтобы одернуть, когда я бросался в неверном направлении или совершал какую-либо оплошность, но всякий раз называл меня «рядовым». Фамильярности он не допускал.

Поэтому я не верю собственной памяти, которой кажется, будто его звали Гансом, как героя той детской сказки, что я пел в темном лесу, пока не услышал ответ, а порой он вроде бы даже сам именовал себя Гансиком, как тогда, в санитарной машине, когда он приказал мне: «Сунь Гансику руку в штаны», чтобы проверить его мужскую сохранность.

Да, там все было на месте. Но вот только у моего ангела-хранителя не оказалось собственного Херцбрудера. Без него я бы отдал концы. Так он говаривал, чуя опасность: «Гляди, рядовой, как бы тут тебе концы не отдать».

В первые послевоенные годы, даже позднее, когда безногие колясочники были обычным явлением на улицах или в канцеляриях, куда из-за ограниченной трудоспособности их брали подшивать бумажки, я спрашивал себя: не он ли это? Может, этот тщедушный инвалид за канцелярским столом, не поднимающий глаз и с ноющей интонацией задающий вопросы, прежде чем дать тебе регистрацию на проживание в Берлине-Шарлоттенбурге, и есть твой Гансик с его берлинским диалектом?

Не знаю, как я одолел Рудные горы. Куда-то добирался поездом, пока они еще ходили, потом на конных повозках — от деревни к деревне, названия которых забылись. Однажды меня вез открытый грузовик с двигателем-газогенератором, работавшим на древесных чурках; грузовик натужно тянул в гору, тут внезапно налетел американский штурмовик, который, спикировав, поджег машину сразу после того, как я, заметив самолет, выпрыгнул из кузова и скатился в кювет; если бы эту сцену снимали для военного фильма под названием «Когда все пошло прахом», для нее понадобился бы хороший каскадер.

Дальше — пробелы. Ничего, что могло бы сложиться в связный рассказ. Каким-то образом я продвигался вперед. Пользовался любыми транспортными средствами, неуклонно

следуя командировочному предписанию, не позволявшему сделать лишний крюк.

Уже в горах я заночевал у пожилой семейной пары, школьного учителя и учительницы, разводивших за домом кроликов. У меня уже начался жар, семейная пара собиралась выходить меня, дать гражданскую одежду, оставить у себя, спрятав в подвале, пока, по их словам, «все это не закончится».

Их сын, фотография которого в траурной рамке стояла на книжной полке, погиб в боях за Севастополь. Ему было лет двадцать. Его костюм оказался бы мне впору. Можно было прикоснуться к его книгам на полках. На фотографии у него такой же левый пробор, как у меня.

Я не остался, решив и дальше следовать командировочному предписанию в собственных штанах, которые после основательной стирки перестали притягивать муравьев, и двинулся через горы. Учитель и учительница смотрели мне вслед с лесенки перед своим домом под черепичной крышей.

Не знаю, как я добрался до Карлсбада, еще одного курортного городка с литературной и — если вспомнить Метерлинка — историко-политической подоплекой, где посреди улицы у меня подкосились ноги, я упал без сознания и не смог подняться.

Хорошо, что при мне имелась бумажка с печатью, ибо, как я позднее узнал, один из страшных «цепных псов», увидев на улице лежащего, а точнее, валяющегося солдата, первым делом проверил его единственный документ — командировочное предписание.

Оба курорта были городами-госпиталями. Но жандарм ориентировался на указанный в документе пункт назначения. Положив мое бесчувственное тело на заднее сиденье мотоцикла, он привязал меня ремнем и доставил прямиком в соседний госпитальный город Мариенбад, где для рядового мотопехоты война действительно закончилась и страх его отпустил; хотя позднее он вновь вернулся в мои сны и, по-домашнему освоившись там, обосновался надолго.

С гостями за столом

Когда жандарм сдал меня в мариенбадский госпиталь и я, с высокой температурой, был уложен на застланную свежим бельем койку, Вождя уже не стало. Нам сказали, что он погиб на боевом посту при обороне столицы Рейха. Его уход был воспринят как вполне ожидаемое событие. У меня не возникло чувства особенной потери, ибо величие Вождя, столь часто прославлявшееся и не подлежавшее сомнению, как-то само собой развеялось под руками вечно спешащих сестер милосердия, чьи пальцы хотя и занимались исключительно моей левой рукой, однако женские прикосновения отзывались в каждом моем члене.

Да и позднее, когда ранение подлечили и я оказался одним из многих тысяч военнопленных, содержавшихся сначала в

большом лагере Верхнего Пфальца, затем — под открытым небом в баварском лагере, я по-прежнему не горевал об утрате Вождя: его попросту не было, словно он вообще никогда не существовал, не наличествовал в реальности, а поэтому его можно было легко забыть и прекрасно без него обходиться.

К тому же его гибель, хоть и объявленная героической, терялась в огромной массе отдельных смертей, превращаясь в своего рода второстепенную подробность. Теперь можно было рассказывать о нем анекдоты, о нем и его любовнице, про которую раньше никто даже не догадывался и которая теперь давала богатую пищу для сплетен. Гораздо реальнее, чем куда-то улетучившееся величие Вождя, была сирень в госпитальном парке, цветущая по велению весны.

С этих пор все, происходившее в госпитале, а позднее в лагере для военнопленных, выпало из размеренного хода времени. Мы жили в каком-то воздушном пузыре. То, что вот-вот казалось непреложным фактом, вдруг становилось ненадежным и зыбким. Достоверным оставалось лишь одно: меня мучил голод.

Когда мои дети или дети моих детей расспрашивают о подробностях того первого времени после войны: «Что тогда происходило?» — они слышат четкий ответ: «Очутившись за колючей проволокой, я постоянно испытывал голод».

Правильнее было бы сказать: голод испытывал меня, он поселился во мне, словно в опустевшем доме, и стал там хозяйничать, независимо от того, состоял ли наш лагерь из бараков или мы ютились под открытым небом.

Гложущий голод. Мальчик, которого я пытаюсь представить себе как раннее и несовершенное издание меня самого, был одним из тысяч, кого терзал этот гложущий зверь. Будучи частичкой в подмножестве огромного множества солдат разоруженной, а впрочем, уже давно неприглядной и полностью утратившей организованность немецкой армии, я являл собой весьма жалкое зрелище, поэтому вряд ли захотел бы послать маме свою тогдашнюю фотографию, даже если бы мне представилась такая возможность.

На спине наших форменных курток с помощью трафаретов и белой извести наносилась несмываемая аббревиатура «POW». Единственное, что занимало носителей данной надписи с утра до ночи и даже во сне, было чувство голода.

Да, чувство голода было невозможно отключить, а ведь мой голод не шел ни в какое сравнение с тем организованным мором, о котором мы узнали позднее и который царил в концентрационных лагерях, в массовых лагерях для русских

военнопленных, где от голодной смерти погибли сотни тысяч заключенных. Однако описать словами я могу только мой собственный голод, только он наложил на меня свой отпечаток. Только себя я могу спросить: «Чем он давал знать о себе? Как долго свирепствовал?»

Он изводил своим постоянством, не признавал рядом собой ничего другого и издавал характерный звук, который до сих пор стоит у меня в ушах и лишь отчасти описывается выражением «урчание желудка».

Память любит ссылаться на пробелы. Сохранившееся приходит непрошеным, под разными именами, любит менять обличье. Воспоминание часто дает весьма расплывчатые показания, которые к тому же трактуются весьма произвольно. Сито воспоминаний бывает то крупно-, то мелкоячеистым. Крохи чувств или мыслей буквально проваливаются сквозь него.

Искал ли я еще что-нибудь помимо того, чем можно наполнить желудок? Что двигало юношей с моим именем, когда вера в окончательную победу развеялась? Только лишь нехватка еды?

И чем может напомнить о себе гложущее чувство под названием «голод»? Можно ли задним числом наполнить пустоту в желудке? Не полезнее ли поведать нынешней сытой публике об актуальных продовольственных проблемах в африканских лагерях для беженцев; или же рассказать о голоде вообще, как в моем романе «Палтус», о «документальных свидетельствах голода», о том, что он возвращается снова и снова; не лучше ли, словом, описать бесконечную историю голода?

Однако на первый план вновь выходит мое собственное «я», хотя нельзя указать точно то время, когда голод донимал меня так, как никогда прежде и как это лишь изредка бывало позже: кажется, особенно сильно я голодал с середины мая до начала августа.

Но кому адресуется подобное уточнение, хронологическая отметка?

Когда, уже располагая на сей счет определенным опытом и учитывая все внутренние возражения, я говорю о себе самом «я», то есть описываю собственное состояние примерно шестидесятилетней давности, мое тогдашнее «я» не то чтобы совсем уж чуждо мне, но оно как-то стерлось, отодвинулось в сторону, сделалось похожим на дальнего родственника.

Достоверно, во всяком случае, что мой первый лагерь для военнопленных находился в Верхнем Пфальце, у чешской границы. Его довольно упитанные охранники принадлежали к Третьей армии США: американцы с их вольными манерами

казались нам инопланетянами. Заключенных, которых никто, пожалуй, точно и не считал, было тысяч десять.

По занимаемой площади наш лагерь примерно соответствовал территории старого военного полигона Графенвёр, окруженного за колючей проволокой лесом. Достоверен на период гложущего голода и мой юный возраст, а также тот факт, что до недавнего времени я имел низшее воинское звание рядового мотострелка, приписанного к дивизии «Йорг фон Фрундсберг», которая, похоже, существовала лишь в виде легенды.

Во всем лагере проводились дезинсекции, впервые познакомившие меня с порошком ДДТ; в ходе такой дезинсекции меня взвесили и установили, что мое тело тянет не больше чем на пятьдесят кило — явный недобор, который объяснялся, по нашему мнению, реализацией адресованного нам «плана Моргентау».

Данный план, названный в честь автора, американского политика, предусматривал своего рода коллективное наказание для всех немецких военнопленных и требовал от каждого строгой экономии сил: после утренней поверки следовало избегать любых ненужных движений, ибо каждодневный рацион был ограничен, а его восемьсот пятьдесят калорий набирались за счет трех четвертей литра перлового супа с несколькими плавающими глазками жира, четвертушки черного хлеба, крошечной порции маргарина или плавленого сыра, а также одной ложки мармелада. Воды хватало. И на порошок ДДТ не скупились.

Раньше я ничего не слышал о калориях. Лишь гложущий голод заставил меня усвоить это понятие. Настоящих знаний мне действительно не хватало, зато голова была набита всяческой ерундой, поэтому, постепенно осознавая меру собственного невежества, я начал, словно губка, впитывать в себя все новое.

С тех пор как мне присвоено звание «свидетель Истории» — этакая коллективная этикетка для вымирающего меньшинства, — журналисты не перестают задавать мне рутинные вопросы о конце Третьего рейха; в ответах я быстро сбиваюсь на рассказ о лагерной жизни в Верхнем Пфальце и скудном калорийном рационе, поскольку безоговорочную капитуляцию Рейха, его — как вскоре стали говорить — «крах», я пережил, будучи легко раненным, в мариенбадском госпитале, но не придал этому событию большого значения или по недомыслию счел его своего рода краткой передышкой между боями. Прилагательное «безоговорочная» перед существительным «капитуляция» не носило для меня окончательного характера.

Гораздо большее воздействие оказывали на меня в Мариенбаде весенняя погода и близость сестер милосердия. В голове царил разброд мыслей, сопровождавший мое взросление, и я ощущал себя скорее побежденным, нежели освобожденным. Наступивший «мир» оставался пустым звуком, «свобода» — абстракцией. Однако, по крайней мере, чувствовалось облегчение, что больше не надо бояться полевой жандармерии и придорожных деревьев, пригодных под виселицу. Да, «час ноль», который вскоре начал трактоваться как водораздел эпох, служащий всеобщим оправданием, для меня не пробил.

Вероятно, свою роль сыграло место действия — старинный, некогда весьма модный курорт, погруженный в майскую зелень, воздействовал слишком усыпляюще, чтобы я мог воспринять историческое значение даты, которая знаменовала собой конец и начало. К тому же в соседнем Карлсбаде уже с неделю присутствовали русские, у нас же появились черные и белые американцы, на которых мы взирали с большим любопытством.

Они бесшумно ступали в своих шнурованных ботинках на мягкой каучуковой подошве. Абсолютная противоположность нашим громыхающим солдатским сапогам. Мы удивлялись. Вероятно, мне импонировало, что победители безостановочно жевали резинку. А еще то, что они ни шагу не делали пешком, даже на короткие расстояния ездили, небрежно развалившись, в джипе; мне они казались персонажами фильма о далеком будущем.

Перед нашей виллой, переименованной в госпиталь, стоял часовой — Джи-Ай, точнее, не стоял, а раскачивался на каблуках, поглаживая автомат и заставляя нас гадать: стережет ли он нас или приставлен для защиты от чешских ополченцев, которые собирались мстить за годы унижений и притеснений? Мне, побежденному, решившему испробовать на американце свой школьный английский, часовой подарил жвачку.

Но что происходило в голове у семнадцатилетнего юноши, который выглядел вполне взрослым и за которым на бывшей вилле ухаживали финские медсестры?

Поначалу он ничем не проявляет себя, присутствует здесь только внешне — лежит на одной из выстроенных рядами коек. Вскоре ему разрешили вставать с койки, выходить в коридор, прогуливаться перед виллой. Рана на правом бедре почти зажила. А вот левая рука с застрявшим осколком задеревенела от плеча до предплечья, ее приходилось массировать, начиная с каждого пальца по отдельности, разминать, сгибать и разгибать.

Вскоре лечение было закончено и забыто. Остался только

запах финских Лотт, как называли наших медсестер: смесь ядрового мыла и березовой воды для волос.

Война далеко занесла молодых женщин из карельских лесов. Они были неразговорчивы, чутки, улыбчивы, со мной обращались решительно. Вероятно, поэтому их уверенные манипуляции производили на еще прыщавого юнца, каким я был под целительными пальцами финских Лотт, куда более сильное впечатление, чем известие о безоговорочной капитуляции всех немецких армейских соединений.

Всякий раз, когда десятилетиями позже на календаре появлялась знаменательная дата и «свидетелю Истории» задавали вопрос, как он встретил «День освобождения», то сама формулировка предопределяла ответ. Однако вместо умничанья задним числом — дескать, для меня отпали любые формы принуждения, хотя тогда мы, «освобожденные», вряд ли сознавали, что такое «свобода», — мне следовало бы сказать напрямик: я был и оставался собственным невольником, ибо с утра до ночи, даже во сне, испытывал плотское вожделение, наверняка и в «День освобождения». Все помыслы устремлялись к одной-единственной цели. Я хотел трогать женское тело и хотел женских прикосновений.

Этот иной голод, который на краткое время утоляла правая рука, держался дольше, чем тот, гложущий.

Он завладел мной, когда после сытной и потому не обременившей память госпитальной еды — кормили, вероятно, густой похлебкой, гуляшом с вермишелью, а по воскресеньям котлетами с луковой подливой и картофельным пюре — в наших лагерных буднях за колючей проволокой главенствовал низкокалорийный голодный паёк, предписанный планом Моргентау.

Мое воображение с фотографической точностью воспроизводило еще недавно осязаемо близкую плеяду финских медсестер или желанное лицо девочки с темными косами, и к этим податливым, безропотным образам я обращался в лагере, чтобы хотя бы отчасти утолить другой гложущий голод.

Словом, мне недоставало того и одновременно этого. Две нехватки томили меня. Не одна, так другая ощущалась весьма остро. Но, оборачиваясь назад, я все-таки не могу утверждать, будто эти удвоенные мучения меня окончательно истерзали. Если от одной маеты меня избавляли эфемерные образы, правая рука, а потом — поскольку я был левшой — и вылеченная левая, то с другой нехваткой помогали справиться кое-какие полезные вещицы, припасенные для обмена. Однако они пошли в оборот

лишь после того, как из Верхнего Пфальца нас перевели в еще более огромный лагерь под Бад-Айблингом, где сначала ненадолго разместили прямо под открытым небом, а позднее поделили на рабочие отряды и поселили в огороженных колючей проволокой бараках.

Там рабочим отрядам пришлось контактировать с охраной. Всякий раз, когда охрана оглашала распоряжения, я вызывался помочь в качестве переводчика, благодаря чему мне представлялась возможность пустить в дело припасенные для обмена маленькие сокровища. Я применял свои скудные познания в английском и одновременно использовал некоторые подсмотренные у мамы приемы торговли, в результате чего ее сыну удавалось снова и снова заключать обоюдовыгодные сделки.

Чего только не умещается в холщовой солдатской «сухарке»! Сколотить некий обменный фонд мне позволили примерно двое суток безвластия в Мариенбаде, когда «немецкий порядок» приказал долго жить, американцы на своих каучуковых подошвах еще не притопали, а плохо вооруженное чешское ополчение не решалось заполнить образовавшийся вакуум власти.

Для каждого, кто не был прикован к постели, наступила свобода. Мы рассеялись по окрестностям в поисках добычи. Наша вилла с сиреневым садом примыкала к легкодоступному участку, на котором стояло здание с башенками, эркером, балконом и террасой, также напоминавшее виллу. Там еще несколько часов назад размещалось районное управление Национал-социалистической рабочей партии Германии. А возможно, здание, до самого чердака уснащенное архитектурными излишествами, было всего лишь филиалом районного партийного управления. Так или иначе, доступ к нему был открыт, поскольку сам главный районный начальник и другие партийные бонзы сбежали. Вероятно, двери были закрыты, но кто-то воспользовался обычной фомкой.

Ходячие раненые, среди них и я, уже владеющий к тому же и левой рукой, обыскали служебные помещения, кабинеты, зал заседаний, башенную комнату, где обосновались голуби, и подвал, который местный начальник обставил диванами и плетеными креслами, чтобы было удобнее проводить товарищеские вечера; на стенах висели групповые фотографии соратников в партийной форме.

По-моему, там висел плакат организации «Вера и красота», изображавший физкультурниц с прыгающими сиськами. А вот обязательный портрет Вождя исчез. Ни знамен, ни вымпелов. Никаких вещей, представлявших хотя бы некоторую ценность. Все

шкафы зияли пустотой. «Ни капли спиртного!» — чертыхнулся фельдфебель, у которого не хватало одного уха: еще один экспонат в кунсткамере моих воспоминаний.

Но на втором этаже я все-таки кое-что нашел. В нижнем ящике письменного стола, за которым какой-то партийный чинуша хоронился от фронта, обнаружилась коробка из-под сигар, а в ней около полусотни блестящих значков с довольно реалистичным изображением сгорбатившихся дотов. Надпись под миниатюрными дотами свидетельствовала, что мне достались медали, выпущенные в честь Западного вала — весьма желанный объект для довоенных коллекционеров. Настоящие доты и бункеры я видел только в кино.

В годы моего детства укрепление западной границы Рейха с помощью глубоко эшелонированной системы противотанковых сооружений и бункеров всевозможной величины было постоянной темой для еженедельных киножурналов с хроникальными съемками и бодрым комментарием под бравурную музыку. Теперь же мой трофей свидетельствовал о тщетности тех героических усилий.

Когда-то этими медалями награждали особо отличившихся при строительстве Западного вала; после тридцать восьмого года среди таких наверняка были и судетские немцы, добровольно отправившиеся сооружать доты неподалеку от французской границы. До сих пор перед глазами стоят картинки: орудующие лопатами мужчины, укладка бетона. Вплоть до самой войны крутились бетономешалки, загружаемые цементом.

Мы, ребята, с воодушевлением следили за тем, как растет оборонительная линия, призванная защитить нас от заклятого врага. Многокилометровые противотанковые укрепления, ставшие частью холмистого ландшафта, казались нам совершенно непреступными. Мы воображали себя сидящими в бункере и выискивающими цель сквозь амбразуру, мечтая, что в будущем, если уж не попадем на подводный флот, то окажемся в командах этих дотов.

Спустя шесть лет эти медали, вероятно, напомнили мне о детских мечтах и играх точно так же, как теперь я отчетливо вспоминаю о своей находке, лежавшей в коробке из-под сигар, а сами медали вижу до того явственно, будто их можно пересчитать поштучно.

Кроме уже упомянутых медалей, в ящиках письменного стола почти ничего не нашлось; впрочем, там обнаружилось еще несколько карандашей, две чистые тетради, отличная писчая бумага; мне бы очень хотелось заполучить авторучку «Пеликан», однако, несмотря на все поиски, таковой не оказалось. Не знаю,

подвернулись ли мне под руку и ластик с точилкой.

Другим попадались чайные ложечки или подворачивалась под руку всякая ненужная ерунда, вроде колец для салфеток. Кто-то позарился даже на печати и штемпельную подушечку, будто все еще намеревался оформить себе командировку или отпуск.

Ах да! Среди моей добычи были еще кожаный стаканчик и три игральные кости. Удалось ли мне тогда поиграть, сделать счастливый бросок: допустим, две шестерки и тройка или даже пятерка?

Позднее, когда нас перевели из Верхнего Пфальца в большой лагерь Бад-Айблинга под открытым небом, там мы играли в эти кости с моим ровесником, таким, с которым я был бы не прочь оказаться рядом в том сосновом бору и которого действительно звали Йозеф — он говорил на хорошем литературном языке с баварским акцентом. Часто шли дожди. Мы устраивались в ложбинке, укрывались его плащ-палаткой. Разговаривали о Боге, обо всем на свете. Когда-то он, как и я, был министрантом, только я делал это на подмену, а он постоянно. Он все еще веровал, для меня же не осталось ничего святого. Мы оба обовшивели. Только нас это мало беспокоило. Оба баловались стихами, но каждый мечтал об иной карьере. Постепенно из этого сложится особая история. А пока важны медали «За оборону Западного вала».

Об истинной меновой ценности моего неожиданного богатства я мог поначалу только догадываться, однако позднее, когда из большого лагеря в Бад-Айблинге меня перевели в трудовой лагерь и приписали к отряду, который валил здоровенные буковые деревья, я с помощью своего школьного английского — «This is a Souvenir from the Siegfried Line» — сумел выгодно пристроить три блестящие медали.

Наш охранник, добродушный сын фермера из Вирджинии, пожелавший приобрести военный трофей, чтобы показывать дома, оценил медаль в пачку сигарет «Лаки Страйк», за которую я, вернувшись в лагерь, выторговал буханку хлеба. Для некурильщика вышло четыре сытных дневных пайка.

Когда от другого охранника, чернокожего водителя грузовой машины, с которым розовощекий фермерский сынок не разговаривал из принципа, я получил за две медали «Siegfried Line» каравай довольно сырого кукурузного хлеба, один ефрейтор, послуживший немало лет, посоветовал мне подсушить его. Ефрейтор разрезал каравай на несколько частей, потом разрезал каждую часть еще надвое, после чего уложил кусок за куском на плите печки-чугунки, которую растапливали и летом, потому что люди, пришедшие вечером с лесоповала, варили на

ней все, что находили, — скажем, крапиву или одуванчики. Некоторые даже делали отвар из кореньев.

Один унтер-офицер, рассказывавший, как славно жилось ему, оккупанту, во Франции, придумал себе добавку к скудному рациону: наловил в лесном болотце дюжину лягушек, принес их, дергающихся, в «сухарке», разрезал еще живых на части и сварил лягушачьи лапки с крапивой.

Лагерные бараки, где во всю длину помещения стояли нары, заменявшие привычные нам двухъярусные шконки, предназначались до самого конца войны для людей, пригнанных на принудительные работы. На стояках нар, на опорных балках виднелись вырезанные надписи. Солдаты, отмаршировавшие до Смоленска и Киева и обратно, уверяли: «Тут украинцы сидели, точно».

Печка-чугунка тоже сохранилась с тех времен. Не задаваясь лишними вопросами, мы считали себя наследниками прежних обитателей и также вырезали на стояках и опорах имена своих девушек или обычную похабень.

Подсушенный кукурузный хлеб я завернул в вышедшую в последние дни войны газету с жирными заголовками, которые призывали стоять до конца. Сверток спрятал под соломенный матрас на нарах. Такая добавка к ежедневной пайке позволяла более или менее приглушить голод.

Когда наш отряд вернулся вечером с лесоповала, сверток с хлебом исчез, даже крошек не осталось. Ефрейтор, который помогал мне подсушивать каравай и которому причиталась за это его четверть, доложил о краже старосте барака, фельдфебелю, привыкшему командовать людьми.

Состоялся большой шмон, перевернули все соломенные матрасы, на которых наверняка спали еще украинцы, обыскали личное барахло всех, кто сказался больным и не уходил на лесоповал или разборку развалин.

Недоеденные куски подсушенного хлеба вместе с газетой обнаружились под матрасом старшего лейтенанта люфтваффе — в нашем лагере рядовой состав сидел вперемешку с офицерами до капитанского звания.

Проступок старшего лейтенанта, то есть кража у своих, считался по неписаным солдатским законам «крысятничеством». За подобные дела следовала неотвратимая и немедленная кара. Хоть я был пострадавшей стороной и свидетелем наказания, однако не помню, приложил ли сам руку к экзекуции, которая состоялась после того, как в бараке выбрали судей и они вынесли приговор, приведенный в исполнение солдатским ремнем по голой заднице.

Вроде бы я до сих пор вижу кровавые рубцы на коже, но, возможно, эта картина нарисовалась задним числом, ибо такие эпизоды, превратившись в многократно рассказанную историю, начинают жить собственной жизнью, обрастая красочными подробностями.

Во всяком случае, крысятника, злость на которого усугублялась ненавистью солдат к любому офицеру, выпороли нещадно. Жгучая ненависть, накопившаяся за годы войны, нашла повод для разрядки. А у меня, натасканного со времен гитлерюгенда на абсолютное послушание и привыкшего до недавних пор к беспрекословному повиновению, исчезли последние капли респекта по отношению к офицерам великогерманского вермахта.

Позднее этого «летуна», которого к концу войны прикомандировали к пехоте — таких называли «подарком Геринга», — перевели в другой барак.

Подсушенный кукурузный хлеб был неплох на вкус, немножко сладковат и чем-то похож на сухари. На медали «За оборону Западного вала» я не раз выменивал хлеб, который подсушивал и ел, макая в грибной суп. В еловом подлеске я собирал лисички, а поскольку с детства знавал кашубские грибные кушанья, то ухитрялся готовить в бараке разные блюда из рыжиков и дождевиков. С кусочком маргарина из дневного рациона жарил лисички на плите печки-чугунки. А еще мне полюбилась крапива. Это были первые блюда моего собственного приготовления. Ефрейтор доставал мне соль и угощался моими грибами.

С тех пор я охотно готовлю для гостей. Для гостей вполне реальных, которых приводит ко мне нынешний день, а также для персонажей воображаемых или для исторических личностей: вот недавно за моим столом гостили Мишель де Монтень, молодой Генрих Наваррский и старший из братьев Манн, биограф будущего французского короля Генриха IV, — компания небольшая, но словоохотливая и любящая уснастить беседу цитатами.

Говорили мы о камнях в почках и желчном пузыре, о кровавой Варфоломеевской ночи, о втором брате из ганзейского семейства, снова о гонениях на гугенотов, сравнивали Бордо и Любек. Позлословили насчет юристов, ставших прямо-таки национальным бедствием, поразмышляли о твердом и жидком стуле, вспомнили о курице, которая полагалась по воскресеньям каждому французу, а отведав ухи и панированных телячьих зобных желез с рыжиками, гости подискутировали о бедственной

судьбе Просвещения на фоне столь стремительного технического прогресса. Занимал нас и до сих пор не потерявший своей актуальности вопрос, стоит ли Париж обедни. А когда я подал на десерт сырное ассорти с грецкими орехами, только что сорванными с нашего белендорфского дерева, разговор зашел о том, в какой мере кальвинизм послужил питательной средой для капитализма.

Будущий король смеялся. Монтень цитировал то ли Ливия, то ли Плутарха. Старший из братьев Манн иронизировал по поводу чрезмерного увлечения младшего литературными лейтмотивами. Я превозносил искусство цитирования.

Мой первый гость, отслуживший немало лет ефрейтор, которого я потчевал лисичками, рассказывал мне о руинах древних храмов на греческих островах, о красоте норвежских фьордов, о винных погребах французских замков, о высоких кавказских вершинах, о своих командировках в Брюссель, где, по его словам, лучше всего готовят pommes frites. Он так долго носил военную форму, что успел прошагать половину Европы, пройти испытание фронтом в разных странах, а потому выглядел космополитом. Когда тарелки опустели, он исполнил для гостеприимного хозяина песенку о польской девушке Марушке.

Если мои географические познания расширялись благодаря информационным сообщениям Верховного главнокомандования вермахта, то моего помотавшегося по белому свету гостя перипетии войны наделили той страноведческой эрудицией, которую теперь — в долгие мирные времена — демонстрируют дома, среди друзей или знакомых, нынешние туристы, маниакально увлеченные фотографией. А еще он говаривал: «Вот уляжется вся катавасия, и я проедусь по этим местам с моей Эрной».

Грибное блюдо и крапивный салат сделали из меня повара и гостеприимного хозяина, однако зачатки моего до сих пор не ослабевающего увлечения: объединять то да се в одной кастрюле, фаршировать одно другим, добиваться особого вкуса с помощью различных приправ, попутно придумывая себе гостей, живых или умерших, — наметились еще на ранней стадии гложущего голода, когда меня, выздоравливающего раненого, оторвали от заботливых рук финских медсестричек, чтобы из мариенбадского курорта направить прямиком в голодный лагерь Верхнего Пфальца.

После регулярной семнадцатилетней кормежки, когда еды почти всегда бывало вдоволь, я стал одним из более десятка тысяч военнопленных, которым довелось изведать голод; за ним

было первое и последнее слово, он постоянно угнетал нас и одновременно служил неиссякаемым источником вдохновения: чем больше я худел, тем безмерней становилось мое воображение.

Никто из десяти тысяч военнопленных не умер от голода, однако недоедание придавало нам аскетический вид. Одухотворенными выглядели даже те, кто не имел к тому предрасположенности.

Мне подобная одухотворенность была, пожалуй, к лицу: расширившиеся глаза видели даже больше, чем наличествовало реально, а обостренный слух внимал торжественным хорам небесных сфер. Голод напоминал нам о библейском изречении: «Не хлебом единым жив человек», которое звучало то циничной лагерной заповедью, то утешительной банальностью, поэтому у многих возрастала потребность в пище духовной.

Началось какое-то брожение, в лагере что-то назревало. Всюду проявлялась активность, которая сменила угнетавшую всех до недавних пор коллективную апатию. Люди перестали бесцельно слоняться, предаваться унынию. Побежденные воспрянули духом. Более того, наше сокрушительное поражение высвободило силы, которые пребывали под спудом на протяжении долгих лет войны и теперь заявляли о себе так, будто речь шла все же о победе, пусть даже на совершенно другом поприще.

Оккупационные власти воспринимали врожденные организационные способности немцев как некий особый талант. Мы формировали группы и кружки, распределившие между собой в лагере широчайшее поле деятельности, дабы способствовать подъему образовательного уровня, развитию художественного вкуса, углублению философских знаний, возрождению религиозной веры или приобретению практических навыков.

На возникших курсах можно было изучать древнегреческий, латынь и даже эсперанто. В других кружках занимались алгеброй и высшей математикой. Спектр умственных спекуляций и глубокомыслия простирался от Аристотеля до Спинозы и дальше до Хайдеггера.

Впрочем, не забывалось и профессиональное образование: будущие прокуристы осваивали двойную бухгалтерию, мостостроители изучали проблемы статики, юристы крючкотворствовали, экономисты углублялись в ориентированные на прибыль законы рынка и консультировали друг друга впрок относительно перспективных биржевых спекуляций. Все происходило в предвосхищении мирного времени и открывавшихся впереди возможностей.

С другой стороны, существовали кружки, посвятившие себя библейской экзегетике. Спросом пользовались даже вводные курсы буддизма. А поскольку некоторому количеству музыкальных инструментов удалось уцелеть, несмотря на многочисленные отступления последних лет войны с их огромными потерями, то ежедневно производил свои сборы оркестр губных гармоник, прилежно устраивавший репетиции прямо под открытым небом, на которых присутствовали даже американские офицеры, а то и заокеанские журналисты. Исполнялся солдатский интернационал всех армий — «Лили Марлен», но, к радости публики, звучала и концертная классика: «Петербургские санки» Рихарда Эйленберга или «Венгерская рапсодия» Листа.

Создавались певческие кружки, сформировался целый хор a-capella, который по воскресеньям ублажал небольшую компанию меломанов исполнением мадригалов и мотетов.

Столь многое и даже более того предлагалось нам каждодневно. Ведь времени у нас хватало. В лагере Верхнего Пфальца для трудовых отрядов не было работы за пределами ограждения. Им не разрешалось даже разбирать завалы в соседнем Нюрнберге. Зато внутри ограды, в палатках, казармах, просторных конюшнях — раньше здесь размещался гарнизон кавалерийского полка — можно было смело предаваться различным занятиям, помогающим бороться с постоянно гложущим голодом.

Лишь немногие отказывались участвовать в подобных занятиях. Им нравилось чувствовать себя побежденными и оплакивать проигранные сражения. Некоторые проводили военно-стратегические игры в ящике с песком, демонстрируя, как можно было одержать победу, например, в Сталинграде или в танковой битве под Курском. Однако большинство записывалось сразу на несколько курсов, чтобы заниматься, скажем, с утра стенографией, а во второй половине дня — изучением средневерхненемецкой поэзии.

Но что сподвигло меня самого стать прилежным учеником? С пятнадцатилетнего возраста, то есть с тех пор, как я надел ладную форму вспомогательных частей люфтваффе, мне уже не докучала школа с ее отметками, поэтому было бы разумно сделать выбор в пользу математики и латыни, предметов, по которым я был слабоват, или же — дабы развить искусствоведческую эрудицию — записаться на цикл лекций «Раннеготические скульптуры донаторов в Наумбургском соборе». Полезен был бы и терапевтический кружок, обратившийся к распространенным в лагере «Проблемам девиантного поведения в

пубертатном возрасте». Однако голод подтолкнул меня в кружок кулинарии.

На сей шаг меня соблазнил один из множества листков на доске объявлений, которая находилась перед зданием лагерной администрации. На листке даже красовался нарисованный человек в поварском колпаке. Этот самый диковинный среди всех лагерных курсов должен бы работать ежедневно, занимать два часа и проходить в бывшей ветеринарной станции кавалерийского полка. Предлагалось запастись бумагой для записей.

Хорошо, что в Мариенбаде, где удалось разжиться медалями «За оборону Западного вала» для будущего обмена, мне достались, кроме стакана с игральными костями, еще и стопка бумаги форматом DIN-A4, две общие тетради, карандаш, а также точилка и ластик.

Там и сям моя память обнаруживает прорехи; например, не помню, сбрил ли я свой юношеский пушок на щеках именно в лагере, и вообще не могу сказать, когда обзавелся собственной кисточкой и бритвой, зато мне не нужны никакие вспомогательные средства, чтобы перед глазами отчетливо возникло полупустое помещение бывшей ветеринарной станции. В рост человека стены облицованы белым кафелем. По верхнему краю идет синий глазурованный бордюр. Напротив широких окон совершенно точно висела черная школьная доска, однако не могу сказать, откуда взялся данный предмет педагогического обихода. Возможно, черная доска применялась уже для обучения армейских ветеринаров, когда им наглядно объясняли устройство лошади, ее пищеварительного тракта, скаковых суставов, сердца, челюстей, копыт и, не в последнюю очередь, рассказывали о заболеваниях этих четвероногих животных, используемых для верховой езды и в качестве тягловой силы. Как лечить от колик? Когда лошади спят?

Не уверен, пустовало ли это учебное помещение, когда заканчивались два академических часа «Кулинарных курсов для начинающих», или же в его стенах с помощью доски, мела и губки изучали древнегреческий язык или законы статики. Возможно, там рассчитывались первые нормы прибыли и условия ее максимизации для предстоящего экономического чуда, а может, опережая время, там разрабатывались будущие слияния в горнорудной и металлургической отрасли или столь распространенные ныне «недружественные поглощения». Но вероятно, это помещение годилось не только под курсы, а потому та или иная конфессия проводила там богослужения. Высокие

стрельчатые окна придавали вполне сакральный характер немного гулкому четырехугольнику, который пропах скорее не лошадьми, а лизолом.

Во всяком случае, подобное место действия всегда побуждает придумывать сцены, сюжетная линия бесконечно ветвится и даже теряется совсем; а персонажей для них у меня всегда бывало в избытке. Герой моего романа «Под местным наркозом», написанного в конце шестидесятых, учитель гимназии штудиенрат Старуш уже рассказывал — пусть не подробно, а лишь мимоходом — историю «Кулинарных курсов для начинающих», только он перенес эти события в бад-айблингский лагерь под открытым небом, то есть из Верхнего Пфальца в Верхнюю Баварию, и к тому же отказался от такого реквизита, как школьная доска.

Моя нынешняя версия опровергает фантазии моего литературного персонажа, где в роли мастера кулинарного дела выступает безликий господин Брюзам; в конце концов, голод загнал на абстрактные кулинарные курсы не кого-нибудь, а меня самого.

Единственным в своем роде, незаменимым — таким я вижу у школьной доски нашего маэстро, хотя имя его запамятовал. Высокий, сухопарый мужчина средних лет, выглядевший апостолом, одетым в обычную военную форму, хотел, чтобы ученики называли его Шефом. Этот седовласый человек с короткой стрижкой умел внушать к себе уважение совсем не по-военному.

Поначалу он ознакомил нас со своей профессиональной карьерой. Как шеф-повар он пользовался спросом от Бухареста и Софии до Будапешта и Вены. Упоминались гранд-отели и других городов. В Загребе или Сегеде он служил личным поваром у некоего хорватского или венгерского графа. В ряду достижений его кулинарного прошлого назывался даже венский отель «Захер». Однако я не помню точно, успел ли он поработать, обслуживая высокопоставленных пассажиров, в вагоне-ресторане легендарного «Восточного экспресса», был ли свидетелем хитроумных интриг и загадочных убийств, разгадать которые способен только литературно одаренный детектив с богатой фантазией и тонкой интуицией.

Так или иначе, наш маэстро работал исключительно на юго-востоке Европы, где обитает множество народов, чьи национальные кухни резко отличаются друг от друга, но в то же время обнаруживают взаимопроникновения.

Судя по намекам, он был выходцем из Бессарабии, то есть, по

тогдашнему выражению, «трофейным немцем», которых, как и прибалтийских немцев, вернули «на родину, в Рейх» в соответствии с пактом, заключенным между Гитлером и Сталиным. Но что знал я тогда по глупости моих юных лет об этом пакте, последствия которого сказываются по сей день? Ничего, кроме уничижительного прозвища «трофейные немцы».

С начала войны происходило то, о чем знали все — а следовательно, и я — в окрестностях моего родного города: по всей Кашубии и до самой Тухельской пустоши семьи польских крестьян изгонялись со своих земель, а на их место селили прибалтийских «трофейных немцев». Их тягучий диалект походил на местный, его легко можно было передразнить, тем более что в гимназии «Конрадинум» я, пусть непродолжительное время, сидел на одной парте с однокашником, приехавшим из Риги.

Но моему слуху казался странноватым диалект нашего шеф-повара, которого, по его собственным словам, «разжаловали в рядовые от полевой кухни» и который закончил свою армейскую карьеру ефрейтором. Стоя у школьной доски и сопровождая свои пояснения выразительной жестикуляцией, он слегка гнусавил, как наш любимый комический киноартист Ханс Мозер.

Можно было бы предположить, что он садистски истязал своих изголодавшихся слушателей живописанием изысканных кушаний, вроде окорока с хреном, шашлыка, дикого риса с трюфелями или глазированной фазаньей грудки; но нет — он знакомил нас с простыми домашними блюдами. Рассказ о вкусной и здоровой пище неизменно включал в себя основательный экскурс, посвященный тому или иному домашнему животному, откормленному на убой.

Мы, голодные, записывали. Целыми страницами. Возьмем… Добавим… Все это следует на протяжении двух с половиной часов…

Ах, если бы из моего утраченного мариенбадского имущества сохранились хотя бы эти две тетради. А так — из всех сдвоенных уроков, которым я внимал вместе с другими участниками кулинарных курсов — таких же, как я, юнцов или зрелых отцов семейства — остались лишь фрагменты, зато запомнившиеся до мельчайших подробностей вроде сочной, хрустящей корочки.

Он был кудесником. Одним лишь жестом он вызывал в нашем воображении живую картину праздничного убоя скотины. Из ничего рождались удивительные вкусовые нюансы. Воздух превращался в густые супы. Три слова, произнесенные его слегка гнусавым голосом, могли размягчить камень. Если бы я собрал сегодня моих литературных критиков, постаревших вместе со мной, и пригласил бы к нам в качестве почетного гостя маэстро,

он продемонстрировал бы им чудо воображения, ничем не скованного, объяснив тем самым и магию творчества на чистом листе бумаги; впрочем, они неисправимо убеждены, что все знают сами, а потому без аппетита поковыряли бы приготовленные мной бараньи ребрышки с турецким горохом, предпочитая худосочную пищу с низким содержанием литературного холестерина.

«Сегодня, прошу покорно, мы займемся свиньей», — произнес маэстро и, скрипнув мелом, уверенным движением нарисовал на доске контур изрядно откормленной свиньи. Затем он расчленил это домашнее животное, занявшее всю черную поверхность доски, на части, пронумеровал каждую часть римской цифрой и снабдил соответствующим наименованием. «Первым номером обозначен всем прекрасно известный свиной хвостик, который отменно вкусен, если сварить его с обычной чечевичной похлебкой…» Затем он упомянул голяшки, которые хороши для варки. Потом перешел к рульке передней ноги и окороку задней. За ними последовали шейная часть, корейка, толстое мясо, грудинка.

В промежутке звучали непреложные истины: «Шейная часть свиной туши нежнее и сочнее котлетной… Филейный кусок прекрасно запекается в тесте». Оглашались и другие наставления, которыми я руководствуюсь до сих пор.

Нам, кому ежедневно полагался черпак водянистых щей или перлового супа, он советовал делать острым ножом продольные и поперечные надрезы на жировом слое при приготовлении жаркого из свинины: «Получится роскошная корочка!»

Обращая к нам пристальный взгляд, он обводил глазами присутствующих, не пропускал никого, меня в том числе, и говорил: «Знаю, судари мои, у вас уже слюнки текут». Тут делалась пауза, когда в тишине каждому в отдельности и всем вместе было слышно, как сглатываются эти слюнки, после чего, вняв нашему общему бедственному положению, он провозглашал: «Ну, довольно на сегодня о сочном жарком. Поговорим лучше о том, как правильно забить свинью».

Пусть мои тетради оказались утраченными, но луковица воспоминаний поможет мне доподлинно воспроизвести четкие сентенции, которые произносил маэстро. Оборачиваясь назад, я вижу его жестикуляцию, которая превращается в целую пантомиму, ибо при описании убоя речь шла прежде всего о том, чтобы «теплую свиную кровь» аккуратно собрать в корыто, где ее нужно непрерывно помешивать, дабы кровь не сворачивалась и не образовывала сгустков. «Помешивайте! Непрерывно помешивайте!»

Сидя на скамейках, ящиках или просто на кафельном полу, мы послушно помешивали воображаемую кровь в воображаемом корыте, слева направо, потом справа налево, затем крест-накрест, помешивали кровь, которая сначала, дымясь, била струей из разреза, а под конец сочилась каплями. Нам чудилось, будто мы слышим затихающий визг свиньи, чувствуем тепло, ощущаем запах ее крови.

Когда в последующие годы мне доводилось бывать приглашенным на деревенский праздник по случаю убоя скота, реальность всякий раз разочаровывала меня, ибо выглядела намного бледнее, чем волшебные рассказы маэстро; действительность оказывается лишь слабым отзвуком произнесенных им слов.

Вскоре мы научились смешивать взбалтываемую свиную кровь с овсяной кашей, чтобы, приправив ее майораном, сварить эту густую массу, а потом начинить ею хорошо промытые свиные кишки, которые затем нужно перевязать, и получается замечательная колбаса. Под конец маэстро порекомендовал согласно южноевропейскому рецепту добавлять в колбасную начинку «триста грамм изюма на пять литров крови, прошу покорно».

Его влияние, предопределившее мои вкусы на будущие времена, оставалось столь ощутимым, что на протяжении всей последующей жизни я с огромным аппетитом поглощал колбасу с описанной выше начинкой; особенно хорошо такая колбаса шла под мятую вареную картошечку с кислой капустой. И не только потому, что подобное блюдо довольно дешево — а в пятидесятые годы я был весьма стеснен в средствах, — но и до сих пор при неизбежном посещении «Парижского бара» в Берлине мне нравится заказывать французскую кровяную колбасу «буден» с изюмом. Да и северонемецкая кровяная колбаса «шварцзауэр» со свиными почками принадлежит к числу моих любимых блюд. А когда я приглашаю к себе партнеров по скату — состав нашей картежной компании нередко меняется, — то на стол всегда подается эта простая еда.

Ах, что за удовольствие, сыграв кон-другой, отведать жареной или тушеной колбасы, которая еще дымится, а из ее тугой лопнувшей кожицы выпирает начинка: изюм, каша, сгустки запекшейся крови. Так надолго подействовали на меня уроки бессарабского шеф-повара, преподававшего в верхнепфальцском лагере для военнопленных.

«Прошу покорно, судари мои, — говорил он, — со свиньей мы еще не закончили». Подобно библейской Саломее, нацелившей

длинный пальчик на голову Крестителя, он указал мелом на начерченный абрис свиной головы, которая была пронумерована так же, как окорок, шея или хвостик. «На очереди вкуснейшее блюдо — холодец из свиной головы, в котором, прошу покорно, не место фабричному желатину…»

За сим следовало очередное наставление. Основу холодца — он называл его «студень» — составляют половина головы, свиной пятачок и уши, благодаря чему холодец должен непременно желировать сам по себе. Детально описывался процесс варки: половина головы кладется в просторную кастрюлю, заливается подсоленной водой, после чего кастрюлю ставят на маленький огонь; варка продолжается не меньше двух часов, а главной приправой служат гвоздика, лавровый лист и цельная луковица.

В конце шестидесятых годов, когда выплеснулись протестные настроения, а злость, гнев и ярость легко превращались в сенсационные заголовки и пряную приправу для газетных статей, я написал длинное стихотворение под названием «Холодец из свиной головы», для которого воспользовался вполне обычными ингредиентами, однако не преминул добавить «щепотку сгустившегося, запекшегося гнева» и не поскупился на злость; хотя злость, гнев и ярость были не лучшим средством против власти, прибегавшей к открытому насилию, но они зажгли яростно красные транспаранты того движения, что позднее было названо «революцией шестьдесят восьмого года».

Что же касается удаления костей из свиной головы, то здесь прилежный ученик послушно следовал указаниям маэстро: жестами обеих рук он демонстрировал нам, как после варки отделить жир от костей, рыльце от хряща, как соскоблить желе с кожи и свиных ушей, дающих особенно клейкую массу, причем маэстро никогда не размахивал руками впустую. Он целенаправленно орудовал воображаемой челюстью, вычерпал из черепа сгустившийся мозг, предъявил нам вынутый из глотки язык, достал изрядные куски сала, после чего ловко нарезал кубиками свою добычу, перечисляя все, что надлежало добавить в кипящее варево помимо постных кусков мяса из грудной и затылочной части: мелко покрошенный зеленый лук и маринованные огурчики, горчичное семя, каперсы, тертую лимонную корку, черный перец грубого помола.

Настрогав зеленого и красного перца — «только не острого», — он еще раз проварил нарезанное кубиками мясо со всеми приправами, а под конец торжественно, будто совершая священнодействие с елеем, отлил из воображаемой плетеной бутыли уксуса в полную кастрюлю, приговаривая, что на уксус скупиться не стоит, так как он выдыхается при охлаждении. «А

теперь нужно все это переложить в глубокое блюдо, поставить на холод и набраться терпения, которого нам с вами не занимать».

Выдержав паузу, на протяжении которой наш фантом холодца желировал сам по себе без каких бы то ни было искусственных добавок, в то время как за стенами бывшей ветеринарной станции под весенним солнышком на одних курсах затверживались латинские вокабулы, а на других зазубривались математические формулы, маэстро пристально оглядел каждого ученика — всех жертв своего чародейства.

Чтобы в нас не успело зародиться неверие, маэстро слегка прищурился, затем, словно пробуждаясь от насыщенной калориями грезы, произнес, слегка гнусавя на манер упомянутого выше киноактера: «Итак, холодец готов. Застыл, не трясется. Его можно резать. Прошу покорно к столу».

Выдержав еще одну паузу, вновь прищурившись и открыв глаза, он предрек: «Холодец хорош даже на завтрак. Вы сможете убедиться в этом сами, когда все наладится и свинины будет вдоволь».

Из всех моих потерь мне больше всего жаль двух пропавших тетрадей. Цитаты оттуда сделали бы мою историю куда убедительней.

А может, я и вовсе не записывал наставлений маэстро, который демонстрировал нам варку, отделение костей, нарезку мяса кубиками, добавку различных приправ и, наконец, сдабривание готовящегося кушанья уксусом, — торжественное, будто священнодействие?

Может, я настолько дорожил писчей бумагой из мариенбадских запасов, что предпочитал ее расходовать лишь на стихи, в которых на ощупь тянулся к девичьей плоти, или на рисунки, запечатлевшие помятые лица пожилых солдат, а не на обыденные кулинарные рецепты?

На эти вопросы сразу есть ответ: о каких бы утраченных бумагах ни шла речь, со следами от ластика или без оных, я, оборачиваясь назад, вижу, как по листам и страницам стремительно порхает мой карандаш. А еще я слышу, как сглатываю слюнки, и то же самое делают остальные слушатели кулинарных курсов, чтобы заглушить непрестанное урчание зверя, который гложет наше нутро.

Поэтому уроки маэстро засели во мне так прочно, что, когда наступили предсказанные бессарабским шеф-поваром времена и свинины стало вдоволь, я сумел написать не только стихотворный панегирик холодцу из свиной головы, но и порадовать полной кастрюлей роскошного студня многих гостей — живых или

приглашенных из разных исторических эпох. При этом я редко упускал возможность поведать приглашенным на застолье гостям — однажды это были издатели фольклорного сборника «Волшебный рог мальчика», братья Гримм и художник Отто Рунге — о тех абстрактных кулинарных курсах, которые были способны заглушить голод, причем всякий раз моя история несколько варьировалась.

Мне нравилось менять места, откуда якобы был родом маэстро: его родиной становился то венгерский Банат, то Черновцы, где он встречался с молодым поэтом Паулем Целаном, которого тогда еще звали Анчель. После Буковины я переносил колыбель маэстро в Бессарабию. Столь далеко рассеянными жили «трофейные немцы», пока заключенный между Гитлером и Сталиным пакт не вернул их в родимый Рейх.

Иногда к холодцу подавалась жареная картошка. Но шел он неплохо и просто с черным хлебом. Менялся персонал застолья, где присутствовали и далекие гости из-за океана, и европейцы, например, социал-демократическое звездное трио Вилли Брандт, Улоф Пальме и Бруно Крайский, не говоря уж о друзьях из эпохи барокко — обличавший тщеславие Андреас Грифиус и умерший от чумы Мартин Опиц, а также мамаша Кураж и Гриммельсгаузен, тогда еще прозывавшийся Гельнгаузеном, — и все они обычно подчистую съедали мой холодец из свиной головы. Я подавал его и на закуску, и как главное блюдо. Неизменным оставался сам рецепт.

За стремительно пролетевшую пару академических часов маэстро успел поведать еще много интересного о свиньях домашних и диких, о молочных поросятах и их использовании в кулинарии. О том, что у него дома свиней откармливали кукурузой и что в Бессарабии специально высаживаются целые дубравы, ибо при откормке желудями свинина получается сочной, но не жирной, хотя и свиным жиром пренебрегать не следует, поскольку из околопочечного свиного жира можно, скажем, зажарить на сковороде замечательные шкварки, а вот свиную печенку, сердце и легкие хорошо пропустить через мясорубку, чтобы — как и кровь при убое — использовать для начинки колбас: «Только, прошу покорно, обязательно приправляйте фарш майораном!»; рассказывал он и о высоком искусстве копчения окорока и сала.

Убедившись, что все слушатели, включая меня, уверовали в изложенные рецепты и насытились его красноречием, маэстро заключал свой урок словами: «Итак, судари мои, со свиньей мы покончили. А на послезавтра мы уже предвкушаем кое-что другое.

Послезавтра займемся пернатыми. Поэтому скажу заранее: гусь немыслим без эстрагона!»

Неужели эта фраза и впрямь прозвучала через день, ознаменовав собой то, что совершенно необходимо знать для правильного приготовления фаршированного гуся? Нет, наверное, прошло все-таки несколько дней, прежде чем меня вновь полонило облицованное кафелем помещение бывшей ветеринарной станции; гулкое эхо, разносившееся там, слышится мне до сих пор. Дней, когда не происходило ничего, когда существовало только неизбывное чувство голода, если, конечно, не считать мгновенно разлетающихся по лагерю и саморазмножающихся слухов.

Возникли, к примеру, опасения, что в советскую оккупационную зону переведут всех военнопленных, которые были родом из восточных немецких земель. Поговаривали, будто англичане сдали русским целые казачьи полки, сражавшиеся на нашей стороне, из-за чего казаки, страшась мести, целыми семействами или большими группами кончали жизнь самоубийством.

Затем пошла молва о предстоящих массовых освобождениях. А в промежутке судачили о том, будто самых молодых отправят в Америку на перевоспитание. Пожилые солдаты ехидничали: дескать, там выбьют из молокососов нацистскую дурь.

Дольше всех держался слух о якобы уже давно запланированном, а теперь окончательно принятом решении, согласно которому всех разоруженных немецких военнопленных вооружат заново. А именно американской военной техникой: «Танками „шерман“ и прочим…»

Своими ушами слышал, как один фельдфебель говорил: «Будем теперь против Иванов воевать вместе с американцами. Мы им нужны. Без нас они нипочем не справятся…»

Фельдфебелю поддакивали. Рано или поздно война против русских начнется снова, ясное дело. Только об этом американцам стоило подумать, когда Иваны еще находились за Вислой. Хотя, дескать, реальная возможность представилась только теперь, когда нет Адольфа и прочих бонз, вроде Геббельса и Гиммлера, а других прикончили, как Геринга.

«Да, наш фронтовой опыт борьбы с красным нашествием еще понадобится. Мы-то знаем, каково сражаться с Иванами, особенно зимой. Американцы такого не нюхали».

«Только без меня. Я сразу когти подорву. Два года торчал под Ленинградом, затем в припятских болотах, а напоследок — на Одере. С меня хватит!»

Подобные слухи оказались пророческими — ведь Аденауэр и Ульбрихт соответственно отоварились у союзников, благодаря чему возникли две немецкие армии, — однако и они со временем приутихли, не утратив, впрочем, определенной правдоподобности.

Но даже самые воинственные из курсировавших слухов, которые принимало на веру и распространяло дальше немалое число пленных — а некоторые офицеры уже начали надраивать свои ордена, — не могли приглушить всеобщую потребность заниматься самообразованием, приобретать профессиональные знания, укреплять религиозную веру, получать эстетическое удовольствие. Что до меня и других слушателей кулинарных курсов, то никто из нас не горел желанием, надев американскую форму, воевать ради спасения Запада или чего-нибудь еще. Мы вновь и вновь миролюбиво предавались гастрономическому гипнозу, помогавшему забыться от гложущего голода.

Наверное, поэтому я считаю, что академическая пара часов на тему «гусь», которая последовала все-таки сразу же или вскоре за занятием, посвященным свинье, весьма значительно повлияла на мое собственное кулинарное искусство и вообще на становление моей личности. Оглядываясь назад, я вижу себя, с одной стороны, закомплексованным юнцом, лелеющим свои смутные вожделения, а с другой — рано повзрослевшим циником, который насмотрелся на изуродованные трупы и повешенных солдат. Кто раз обжегся, опасается любого огня; вот и я, лишившийся всяческой веры, будь то вера в Бога или Вождя, признавал теперь единственным авторитетом — если отвлечься от старшего ефрейтора, с которым пел в темном лесу «Гансик боится, страшно ему…» — только этого высокого, сухопарого и уже седого человека с лохматыми бровями, нуждавшимися в расческе. Словом и жестом он умел приглушить мой голод, пусть даже всего лишь на несколько часов.

Наш шеф-повар, на уроках которого разная домашняя скотинка побывала под ножом, а также мариновалась дичь, начинялись колбасы, готовилась рыба и другие дары моря, продолжает оказывать на меня столь сильное влияние, что я и сегодня, начиняя бараний кострец чесноком и шалфеем или обдирая шершавую кожу с телячьего языка, чувствую на себе придирчивый взгляд Шефа.

Его наставнический присмотр я ощущал и тогда, когда, пригласив к себе домой на Нидштрассе в берлинском районе Фриденау философа Эрнста Блоха, я готовил к праздничному ужину фаршированного гуся, поскольку дело происходило в День

святого Мартина, и размышлял, начинить ли гуся яблоками или, как советовал маэстро, каштанами. Но в любом случае ученик не забывал наказа: «Гусь немыслим без эстрагона!»

Тогда, в конце шестидесятых, когда, благодаря обилию восклицательных знаков, революция состоялась хотя бы на бумаге, я принял решение в пользу каштанов. А Блоху положил на тарелку половину гусиной грудки, крылышко, а еще косточку-дужку, которую называют «вракой», что тут же побудило философа разразиться пространным монологом. Похвалив каштановую начинку, он рассказал за ужином Анне, мне и четверым удивленным детям — порой с сокращениями, а иногда с затяжными длиннотами — нескончаемую сказку о незавершенном человеке, но ходу которой он перескакивал от Томаса Мюнцера к Карлу Марксу и его мессианству, а оттуда к старине Шеттерхэнду, то есть Карлу Маю; он был то громогласен, как Моисей, вещавший с горы Синайской, то напевал мотив из Вагнера, после чего напомнил об устных истоках литературы и уже тише заговорил о том, что прямохождение является символом человеческого достоинства, и, наконец, обратившись еще к одной сказке — кажется, это были «Гензель и Гретель», — Блох поднял обглоданную «враку», над его челом пророка замерцал нимб, и мы услышали провозглашение его столь часто цитируемого Принципа Надежды, вслед за которым прозвучал панегирик небылицам вообще и Утопиям в частности.

Сидевшие за столом дети — Франц, Рауль, Лаура и маленький Бруно — смотрели на нашего необычного гостя, открыв рты, и слушали его так доверчиво, как некогда я внимал моему маэстро, бессарабскому шеф-повару, дававшему наказ обязательно сдабривать любую начинку для фаршированного гуся эстрагоном.

Внезапно он исчез. Не стало шеф-повара, который утихомиривал наш голод словами: «Прошу покорно, судари мои». Поговаривали, что его забрали по приказу откуда-то сверху. Последний раз его видели в джипе, по бокам два чина военной полиции в белых сверкающих касках.

Поползли всяческие слухи. Мол, командующий Третьей американской армией генерал Паттон, чья откровенная ненависть к русским, звучавшая в его выступлениях, давала пищу досужим разговорам о том, что вскоре нас вооружат и отправят на новый Восточный фронт, — так вот этот стратег якобы затребовал к себе нашего кулинара, который пользовался международной известностью, дабы тот обслуживал в качестве личного повара как самого генерала, так и его высокопоставленных гостей.

Позднее, когда генерал Паттон погиб в результате вроде бы несчастного случая, вновь пошли слухи: дескать, на самом деле генерала убили — по всей вероятности, он был отравлен. Подозрение пало на личного повара, нашего непревзойденного маэстро по части воображаемой кулинарии. Его арестовали, а вместе с ним отправили за решетку еще десяток тайных агентов и сомнительных личностей. Сам судебный процесс и его документы были засекречены по распоряжению некоего немецкого эксперта в области спецслужб. Неплохой сюжет для писателя и киносценариста.

Что до меня, то исчезновение маэстро, якобы ставшего генеральским поваром, сразу же ужесточило мой голод. Уже в наши дни у меня возник соблазн написать детективный киносценарий, в котором под воздействием южноевропейской кулинарии генерал Паттон делает громкие заявления, ведущие к разжиганию новой войны; маэстро подвергает себя опасности, ибо от подстрекателя войны желает избавиться не только НКВД, его хотят устранить и западные спецслужбы: Паттон слишком агрессивен, нетерпелив, позволяет себе говорить лишнее, причем чересчур открыто и совсем не ко времени. Паттона нужно убрать — например, с помощью фаршированного гуся, которого сдобрят не только эстрагоном, но и ядом…

Примерно так могли бы выглядеть в киносценарии новые приемы «холодной войны», там можно было бы подробно описать становление «Организации Гелена» в качестве зародыша западногерманской разведки; подобный фильм мог бы стать неплохим подспорьем для развития киноиндустрии.

В конце мая лагерь на бывшем учебном полигоне Графенвёр был частично расформирован, и нас перевезли на грузовиках в верхнебаварский Бад-Айблинг, где теперь лагерь находился прямо под открытым небом, поэтому нам пришлось жить в накрытых брезентом землянках; через несколько недель нас разделили, мою группу отправили в трудовой лагерь; там я голодал поменьше, поскольку сумел улучшить свой малокалорийный — согласно плану Моргентау — рацион с помощью медалей «За оборону Западного вала».

Особенно выгодно было менять медали на американские сигареты, поскольку я все еще не поддавался никотиновому искушению. За сигареты я мог выторговать хлеб и арахисовое масло. В обозе моих воспоминаний присутствует и килограммовая банка тушенки. А еще толстые плитки шоколада. Кроме того, мне удалось заполучить довольно большое количество бритвенных лезвий «Жиллет» — разумеется, не для

собственного употребления.

Однажды — это произошло еще в Бад-Айблинге — я выменял за три сигареты «Кэмел» пачку тмина, который жевал, вспоминая о тушеной капусте со свининой по рецепту исчезнувшего маэстро.

Тмином я делился с моим солагерником, с которым сидел под одной плащ-палаткой, когда зарядили дожди, и играл в кости, пытаясь угадать наше будущее. Вот он, зовут его Йозеф, он пытается в чем-то убедить меня, говорит настойчиво, но тихо, почти нежно и никак не идет у меня из головы.

Я мечтал об одной профессии, он о другой.

Я утверждал, что истин много.

Он говорил, что истина одна.

Я признавался, что больше ни во что не верю.

Он провозглашал догму за догмой.

Я кричал: Йозеф, ты, верно, хочешь стать Великим инквизитором или метишь еще выше?

У него всегда выпадало на несколько очков больше, при этом он назубок шпарил цитатами из святого Августина, словно подглядывал в лежавший рядышком латинский оригинал.

Так мы целыми днями болтали, играли в кости, пока однажды его не отпустили домой, поскольку он был родом из здешнего баварского края, а я не мог указать места своего проживания, поэтому считался бездомным и был отправлен сначала на дезинфекцию, а затем в трудовой лагерь.

Там о себе заставили говорить два события, каждое из которых касалось нас, POW: во-первых, разнеслась весть о двух атомных бомбах, сброшенных американцами на японские города, чьи названия я раньше никогда не слышал. Мы отметили для себя этот двойной удар, но ощутимее и реальнее было для нас другое событие, а именно отмена в конце лета принудительной голодной диеты, ранее прописанной нам американским политиком Моргентау. Новый суточный рацион превысил тысячу калорий. Теперь нам ежедневно полагалась даже осьмушка колбасы.

С этих пор мы питались, пожалуй, лучше всех тех, кто за оградой из колючей проволоки, на воле, шел со своим голодом на черный рынок. От рабочих отрядов, расчищавших завалы в Аугсбурге и Мюнхене, мы слышали, что там люди простаивают в очередях перед булочными или мясными лавками, чтобы достать хоть что-нибудь. Мир им выдавали по все более скудным нормам, а наша лагерная жизнь все улучшалась и улучшалась. Вырабатывалась привычка, неволя становилась все более обжитой.

Некоторые из военнопленных, особенно те, кто некогда

проживал на территории, занятой русскими и поляками, даже боялись освобождения. Вероятно, я тоже боялся. Не имея известий от отца и матери — успели ли они спастись бегством из Данцига или утонули, оказавшись на борту «Вильгельма Густлоффа»? — я пробовал свыкнуться с мыслью, что потерял родителей, дом и родину. Мне нравилось жалеть себя, примерять разные роли, чувствовать себя сиротой. Особенно ночью, на соломенном матрасе.

По счастью, в лагере были мои ровесники, находившиеся в точно таком же положении, как и я. Но больше, чем мамы и папы, нам не хватало того, что грезилось в неясном образе женщины. Из-за этого вполне можно было сделаться голубым. Потому иногда, нет, нередко, нас тянуло друг к другу, и мы давали волю рукам.

А потом ситуация вновь улучшилась. С помощью школьного английского, который я пускал в ход безо всякого стеснения при первой же возможности, отчего он вскоре американизировался, мне удалось пристроиться к команде, отправленной в казармы на аэродроме Фюрстенбек, где нам надлежало посудомойничать на ротной кухне US Air Force. А еще мы чистили картошку и морковку. Каждое утро грузовик отвозил нас в такое место, какое бывает только в сказках, где текут молочные реки с кисельными берегами.

Работала там и группа displaced persons — DP, как гласила аббревиатура на спинах их курток; она занимались стиркой и глаженьем. Это была дюжина молодых евреев, уцелевших, благодаря счастливой случайности, в том или ином концлагере и желавших теперь уехать в Палестину, но не получивших соответствующего разрешения.

Как и мы, они поражались огромному количеству объедков, которые изо дня в день оказывались в мусорных баках, — горам картофельного пюре, жареных кур, у которых съедали только грудку и ножки. Мы могли лишь безмолвно глазеть на подобное расточительство, поэтому оставалось только гадать о мучивших нас смешанных чувствах. Неужели в зеркале, где мне до тех пор виделся идеализированный образ победителей, появилась трещинка?

Хотя нам и нашим еврейским ровесникам перепадало достаточное количество остатков еды, на этом наша общность и заканчивалась. Строгой охраны не было, поэтому во время перекуров мы устраивали словесные перепалки. DP говорили между собой на идише или по-польски. Если они знали немецкие слова, то только что-нибудь вроде: «Стой!», «Молчать!», «Смирно!», «Давай-давай!», «Марш в газовую камеру!». Вокабуляр,

принесенный в качестве сувенира из той жизни, о которой мы ничего не желали знать.

Наша лексика заимствовалась из солдатского обихода: «Собачье отродье! Засранцы! Драть вас надо!»

Поначалу американцы посмеивались над нашими перепалками. Это были белые Джи-Ай, для которых мы мыли посуду. Они сами обзывали солдат из соседней роты «ниггерами». Молодые евреи и мы внимали этой брани молча, поскольку наши раздоры имели иную подоплеку.

Потом к нам решили применить воспитательные меры. Однако американский Education Officer, в очках и с бархатным голосом, постоянно носивший свежевыглаженные форменные рубашки, старался напрасно, ибо мы не верили тому, что он нам показывал: черно-белые фотоснимки из концлагерей Берген-Бельзен, Равенсбрюк… Я видел горы трупов, печи крематориев. Видел голодных, истощенных, превратившихся в ходячие скелеты людей из другого мира. В это было невозможно поверить.

Мы твердили: «Разве немцы могли сотворить такое?», «Немцы никогда такого не совершали», «Немцы на такое не способны».

А между собой говорили: «Пропаганда. Все это пропаганда».

Один профессиональный каменщик, которого вместе с нами, считавшимися молодыми нацистами, в целях перевоспитания ненадолго вывозили в Дахау, сказал после того, как нас провели по всему концлагерю, показывая все до мельчайших подробностей: «Душевые кабинки видали, которые якобы газовые камеры? Их же недавно побелили. Американцы наверняка все задним числом построили…»

Понадобилось время, чтобы я по частям начал понимать и признавать, что я — пусть не ведая того, а точнее, не желая ведать — стал участником преступлений, которые с годами не делаются менее страшными, по которым не истекает срок давности и которые все еще тяготят меня.

О чувстве вины и стыда можно, как и о голоде, сказать, что оно гложет, постоянно гложет; только мой голод был временным, а вот чувство стыда…

Мое упрямое нежелание признавать факты поколебали не Education Officer и его аргументы, даже не показанные им в высшей степени красноречивые фотографии; нет, мое внутреннее сопротивление было сломлено, пожалуй, лишь год спустя, когда — не помню где — я услышал по радио голос рейхсюгендфюрера Бальдура фон Шираха, возглавлявшего «Гитлерюгенд». Нюрнбергский трибунал предоставил перед вынесением приговора последнее слово подсудимым, обвиняемым в военных

преступлениях. Чтобы снять вину со своей организации, Ширах заявил, что члены «Гитлерюгенда» ни о чем не подозревали, только он один знал о спланированном и реализованном массовом истреблении евреев в ходе «окончательного решения еврейского вопроса».

Ему я не мог не поверить. Работая в кухонной команде посудомойкой и переводчиком, я оставался упертым. Мы проиграли войну, ясное дело. Победители превосходили нас численностью живой силы, количеством танков, не говоря уж о калориях. Но как быть с фотографиями?

Мы переругивались с еврейскими ровесниками. «Нацисты! Нацисты!» — кричали они.

Мы отвечали: «Убирайтесь в свою Палестину!»

А потом мы вместе потешались над странными, чудаковатыми американцами, особенно над беспомощным Education Officer, которого мы смущали вопросами об явственно презрительном отношении белых американских солдат к их однополчанам-«ниггерам».

Когда нам надоедали перебранки, начинались скабрезные разговоры о женщинах, недосягаемом предмете наших вожделений. Ведь не только мы, военнопленные — POW, но и уцелевшие отпрыски уничтоженных еврейских родителей испытывали сексуальный голод, каждый сообразно собственным представлениям о вожделенных женщинах. Американцы, которые всюду развешивали своих журнальных красоток, казались нам смешными.

Раз-другой один из DP, которого другие еврейские ребята звали Беном, пододвигал ко мне консервную банку с салом, молча, сразу после обыска, но перед тем, как мы лезли в грузовик, поскольку нам запрещалось брать с собой в лагерь съестное.

При взгляде назад Бен представляется мне рыжим и курчавым. О Бене и Дитере я говорил в своей речи, с которой выступал в Тель-Авиве в марте шестьдесят седьмого. Пригласил меня тамошний университет. Мне было тогда тридцать девять лет, я прослыл нарушителем общественного спокойствия из-за склонности называть неприятные вещи своими именами, особенно если они долго замалчивались.

Выступление называлось «Речь о привыкании». Я говорил по-немецки, так как слушатели были преимущественно выходцы из Германии. Я рассказал о Бене и Дитере, о двух командах — одна работала на кухне, другая в прачечной, — об Education Officer, пытавшемся примирить обе враждующие и ругающиеся команды.

В моей речи его звали Херманном Маутлером; в тридцать восьмом ему пришлось бежать из Австрии, эмигрировать в США; он был историком, верил в разум. Рассказ, вплетенный в текст речи, подробно описывал тщетность усилий Маутлера. Когда сегодня, спустя почти сорок лет, я перечитываю этот текст, мне кажется, что тогдашний провал Маутлера во многом близок моим неудачам.

Имя и фамилия Херманна Маутлера вымышлены, но этот хрупкий человек, настоящее имя которого осталось мне неизвестным, видится мне гораздо отчетливее, чем упертый паренек, которого я пытаюсь разглядеть на моем раннем автопортрете; ведь Дитер из моего рассказа — это тоже частица меня самого.

Так сохраняется свежесть историй. Из-за их неполноты, истории приходится додумывать. Они всегда остаются незавершенными. Вечно ждут подходящего случая, чтобы быть продолженными или рассказанными совсем наоборот. Так же обстоит дело и с историей об Йозефе, баварском пареньке, которого отпустили из бад-айблингского лагеря раньше меня, а до этого я переживал с ним томительно долгие дни, накрывался от дождя его плащ-палаткой, давил вшей, жевал тмин и разыгрывал в кости наше будущее. Тихий малый, неизменно уверенный в своей правоте. Я возвращаюсь к нему снова и снова, ибо он, как и я, писал стихи со времен своего министрантства, только планы на будущее были у него совсем иными…

А вот история Бена и Дитера может все-таки завершиться, поскольку осенью — вскоре после того, как мне исполнилось восемнадцать — нашу кухонную команду сменила группа солдат постарше. DP отработали еще некоторое время, но потом им, видимо, удалось найти способ добраться до Палестины, где им предстояло создавать государство Израиль, судьбой которого стали войны — одна за другой.

Education Officer, вероятно, написал книгу о проблемах переходного возраста у лагерных заключенных различных национальностей и разного социального происхождения, о том мужестве, которое необходимо, чтобы заниматься делом, обреченным на неудачу. Мне же смена лагеря принесла нечто такое, чего я раньше не знал, а именно — свободу.

Мое имущество состояло из скудных запасов медалей «За оборону Западного вала» и целой упаковки бритвенных лезвий, когда в начале зимы меня вместе с другими перевезли в Люнебургскую пустошь. Мы ехали на армейских грузовиках по пустым автобанам, сначала местность была холмистой, затем

началась равнина, раскинувшаяся просторно и покойно. Нам объяснили, что переезд связан с предстоящим освобождением. Взорванные мосты над автобанами, подбитый танк на обочине напоминали о пережитых страхах. Приехав на место, мы заняли барак в Мунстерлагере.

Английские охранники заинтересовались частью моих запасов, а именно симпатичными бункерами Siegfried Line. Когда же, предварительно продезинфицировав, снабдив суточным пайком и бумагами с печатью, меня освободили в британской оккупационной зоне, я оказался в краю, обставленном руинами; здесь предстояло осваивать неведомую мне свободу.

Впечатление от первого взгляда обманчиво: при чистке лука глаза теряют резкость восприятия. Расплывается то, что раньше читалось вполне отчетливо. А вот янтарь сохраняет свои инкапсулы неизменно четкими, будь то мошка или паучок. Не дают забыть о себе и другие инкапсулы, скажем, осколок в моем левом плече — так сказать, военный сувенир.

Что же еще сохранила моя память о войне и о лагерной жизни, кроме эпизодов, которые превратились в забавные анекдоты или варьируются в качестве реальных событий.

Сначала — неверие, когда меня ужаснули черно-белые фотографии, потом — немота. А еще урок, преподанный страхом и голодом.

Благодаря кулинарным курсам, на которых не имелось наглядных пособий — если не считать таковым мел и грифельную доску, — я научился живо воображать то, чего горячо желал, даже если оно было совершенно недосягаемым, воображать вместе с запахом, цветом и звуком. Более того, я научился приглашать воображаемых гостей, издалека, из былых времен или таких, кто умер недавно и кого мне остро не хватает — например, друзей моих юных лет, — кто говорит со мной только из книг, кто объявлен покойником, но продолжает жить.

Позднее мои представления о времени раздвинулись, и я написал роман «Палтус», по ходу которого я усаживаю за стол гостей из разных эпох, чтобы потрапезничать с ними, чтобы попотчевать их сионской селедкой из готических времен по рецепту Доротеи; требухой — такой, как ее приготовила аббатиса Маргарет Руш своему отцу в качестве последнего кушанья для приговоренного к смертной казни; треской под укропным соусом, как его варила служанка Агнесс для больного поэта Опица; картофельным супом Аманды для Старого Фрица; а еще там была фаршированная грибами телячья голова, которую подала Софи наполеоновскому губернатору, генералу Раппу, который лишь

чудом выжил после этого блюда; не забыть почки с горчичной подливой, которыми Лена Штуббе угощала Августа Бебеля, рассказывая ему о своей «Пролетарской поваренной книге».

Тогда, испытывая гложущий голод, я внимательно слушал наставления мастера-кулинара. В моем распоряжении находились весьма дешевые ингредиенты, поэтому и готовил я супы и клецки из облаков, а также зажаривал воздушных кур. Мое «Я», потерянное в юные годы, было, видимо, лишь пустым сосудом. Кто бы ни наполнял его, среди них оказывался и бессарабский повар. С ним, любившим повторять неизменное «прошу покорно», я охотно посидел бы сейчас за столом.

На земле и под землей

Нет больше колючей проволоки, расчерчивающей круговой обзор вертикальными и горизонтальными линиями. Он или я отпущен с легкой поклажей, в которую входят два фунта выторгованного чая, туда, где находится нечто, именуемое «свободой»; впрочем, передвижение ограничено британской оккупационной зоной.

Только кто и кому даровал свободу? Как воспользоваться этим подарком? Что обещают эти три слога, которые посредством прилагательного можно истолковать так или иначе, то есть расширить, сузить или даже обратить в полную противоположность?

Фрагменты воспоминаний, рассортированные так или этак, складываются в картину со множеством зияющих пробелов. Я рисую силуэт паренька, случайно уцелевшего на войне, нет, я вижу кое-где покрытый пятнышками, но в остальном чистый лист, каковым я и являюсь — неотчетливый набросок того человека,

каким я мог бы, каким хотел бы стать в будущем.

Паренек, который до сих пор носит левый пробор и чей рост насчитывает один метр семьдесят два сантиметра; который теперь раз в неделю сбривает пушок на щеках и которому предоставлена свобода: нетореная дорога. Но все же он рискует делать по ней первые шаги.

Хотелось бы видеть себя серьезным, задумчивым юношей, который скитается среди руин в поисках смысла жизни, но после некоторого промедления я отбрасываю этот приукрашенный автопортрет.

Мне не удается спроецировать на экран достоверный образ, характеризующий мое тогдашнее состояние. Слишком мало фактов. Мне восемнадцать. На момент освобождения признаков недоедания уже не заметно. Вшей нет, на ногах американские шнурованные ботинки с каучуковой подошвой, и выгляжу я, если взглянуть в зеркало заднего вида, вполне недурно.

Неясно только, избавился ли я за время, проведенное в лагере, от подростковой привычки гримасничать. Мое имущество состоит из английского чая в экзотической упаковке, который я, все еще некурильщик, выменял на сигареты и медали Западного вала, а также из изрядного запаса бритвенных лезвий. Это, еще кое-какая мелочь и исписанные листки бумаги заполняют мою солдатскую котомку-«сухарку». А каков мой внутренний мир?

Похоже, безбожному католику ведомы все тогдашние религиозные проблемы, только они ему совершенно безразличны. Но заподозрить его в скрытом атеизме означало бы приписать ему чуждую веру.

Он размышляет. Однако цитат на данный счет не сохранилось. Зато неизгладимы некоторые детали внешности: скажем, форменные брюки и американская штурмовка на подкладке, то и другое перекрашено в ржаво-красный цвет. Теплая шапка — также с американского военного склада — оливкового цвета. И только серая «сухарка» напоминает о немецкой военно-полевой форме.

Чтобы получить освобождение, мне понадобилось указать адрес проживания, который я получил от Филиппа, моего ровесника из лагеря, вместе с весточкой для его матери. Симпатичный паренек с ямочками на ангельском лице, умевший заразительно смеяться. Как и я, он отличался легкомыслием, которое сделало нас обоих добровольцами.

Ему пришлось остаться в Мунстерлагере, а позднее его рабочий отряд переправили кораблем в Англию; меня же выпустили, так как рентген обнаружил в моем левом плече

инкапсулировавшийся к этому времени осколок. Этот осколок сидит там по сей день, мой сувенир, похожий на букашку, который навечно пленен янтарной каплей. Когда я, левша, рисуясь — раньше перед Анной, потом перед Утой, — делал замах, чтобы швырнуть камень или мяч, осколок посылал ощутимые сигналы: «Не надо! Я сплю. Не буди».

В отличие от Филиппа меня сочли непригодным для подземных работ на угольных шахтах Уэльса. А матери я должен был сообщить, что он приедет домой попозже, обязательно. Согласно полицейской регистрации первым адресом моего проживания на свободе значился Кёльн-Мюльхайм, груда развалин, где чудесным образом уцелели таблички с названиями улиц. Они лепились на останки фасадов или висели в качестве указателей на столбах, которые торчали из щебенки. Среди развалин буйно разрослись одуванчики, готовые вскоре расцвести.

Позднее, когда я, словно пес, блуждал, не имея на то соответствующего разрешения, по американской и французской зоне в поисках еды и ночлега, а также гонимый иным голодом, желанием прикоснуться к женскому телу, то города представали передо мной кулисами руин, где уличные указатели направляли меня по ложному пути или в завалы, под которыми, видимо, еще были погребены люди.

Бодрствуя или грезя, я все еще скитаюсь среди развалин, взбираюсь на гору щебня, будто хочу обозреть окрестности, а на зубах неизменно скрипит витающая вокруг пыль и взвесь кирпичного крошева.

Мать моего лагерного сотоварища, шустрая женщина с крашеными или натуральными иссиня-черными волосами, непрерывно курившая сигареты в длинном мундштуке, без долгих разговоров пристроила меня к торговле на черном рынке. Фруктовый мармелад, искусственный мед, американское арахисовое масло, патефонные иголки, кремни для зажигалок и батарейки для карманных фонариков шли через меня — на вес или на счет — покупателям. В качестве собственного капиталовложения я использовал часть бритвенных лезвий, так что вскоре обзавелся кое-какими деньгами. С утра до ночи ко мне обращалась клиентура с предложениями по более или менее равноценному обмену: даже меха — например, чернобурку — можно было обменять на масло.

Среди людей, с которыми я повседневно сталкивался, порхала сестра Филиппа, прелестная куколка, тоненькая, словно выступающая перед публикой танцовщица. Свежая, будто только

что рожденная из пены морской, она была похожа на брата. Она носила шелковые чулочки, часто меняла шляпки, от нее исходил майский аромат, но прикоснуться к ней можно было лишь в мечтах. Правда ли, что однажды она сама мимоходом погладила меня по голове?

Чтобы утешиться, я ходил в кино и до сих пор вижу перед собой этот стойко уцелевший среди руин кинотеатр, где в качестве основной программы шел фильм «Романс в миноре». Главные роли играли некогда очень популярные, не забытые мной актрисы и актеры: Марианна Хоппе, Пауль Дальке и Фердинанд Мариан, которому испортила репутацию роль в фильме «Еврей Зюс».

Еще будучи рядовым вспомогательной службы люфтваффе, я смотрел «Романс в миноре», когда его несколько недель подряд демонстрировали в данцигском кинотеатре «Тобис-паласт». Каждый раз, когда звучал шлягер «В час вечерний…» и на экране появлялась она, Марианна Хоппе… Она перед витриной… Она борется с искушением… Она наедине со своей бедой… Ее просветленное лицо… Жемчужное ожерелье на шее… Ее улыбка… Красавица, неувядающая.

Три или четыре года назад, когда ей было уже за девяносто, она, мечта моей юности, умерла.

Как когда-то в очередях перед торговыми палатками на главной кёльнской улице Хоэ-штрассе толпились голодные люди, так теперь в моей голове роятся вопросы. Пытался ли живущий одним днем и промышлявший на черном рынке юный спекулянт с моим именем возобновить учебу, ведь те времена побуждали людей ко всяческой активности? Хотел ли он получить аттестат зрелости?

А может, ему хотелось приобрести профессию, тогда — какую?

Сильно ли переживал я разлуку с отцом, мамой и сестрой, насколько регулярно изучал списки разыскиваемых лиц, вывешиваемые перед муниципальными учреждениями?

Занимали меня лишь собственные проблемы или же положение дел в мире, особенно то, что называлось в газетных заголовках и петитных подвалах «коллективной виной»?

Не маскировались ли мои собственные тревоги под переживания за потерянных родителей и родину?

О каких еще потерях я сожалел?

Луковица отвечает молчанием: не вижу своих попыток стать старшеклассником какой-нибудь кёльнской школы или приобрести некую профессию. Я не подавал заявок в

регистрационную службу, которая производила розыск беженцев или людей, пострадавших от бомбежек. Мамин образ не менялся в моей памяти, и я мог живо представить ее себе, однако разлуку переживал не слишком сильно. Тоска по родине на стихи не вдохновляла. Чувство вины не терзало.

Похоже, молодой человек, бесцельно слоняющийся меж руин и завалов, занят лишь мыслями о самом себе, других забот у него не обнаруживается. Или может, переживания, которым не подберешь название, приводили меня внутрь Кёльнского собора? Поврежденный снаружи, этот двухбашенный колосс выстоял, хотя весь город, окружавший это величественное сооружение, превратился в усыпанную развалинами пустошь.

Достоверно лишь то, что весной сестра Филиппа, которой я, видно, поднадоел, устроила меня работать к одному нижнерейнскому крест ьянину, имевшему хозяйство в округе Бергхаймс-Эрфт.

Да, дело было весной. Вижу, как я, наскоро обученный, плетусь за плугом или тяну лошадь за поводья, а крестьянин прокладывает борозду за бороздой. Пашем с утра до ночи. Еды хватает. Остается только другой голод, который не утоляется ни кашей, ни фруктовым муссом; наоборот, они только разжигают аппетит, а он растет и становится все непристойнее.

Спал я в небольшой каморке с придурковатым батраком. На подворье работала дояркой девушка из Восточной Пруссии; ее направили сюда по принудительному подселению вместе с престарелым отцом, годным только на то, чтобы ходить за свиньями; крестьянин держал помимо свиней еще двенадцать коров и четырех лошадей. Он уже завладел девушкой, хотя был ревностным католиком и каждое воскресенье ходил с женой в церковь.

И вот в моем вертепчике, где постоянно меняются декорации и персонажи, появляется Эльзабе, так звали эту девушку; крупная, широкая в кости, она стоит возле забора, в тени у ворот или на солнышке меж подойников. Встанет ли она, пройдется или нагнется — загляденье да и только. Тянуло меня к ней так сильно, что я, повинуясь этой тяге, наверняка написал с дюжину стихов — наспех зарифмованные вирши, сочиненные и записанные между прореживанием свеклы и колкой дров.

Тамошняя местность не слишком располагала клирике: то высвеченные солнцем размежеванные наделы, то расплывающаяся под дождем округа, где кроме деревенской церковной башни нет и намека на какую-нибудь возвышенность.

Ночью храпел батрак, днем над четырехугольным подворьем гремел зычный голос крестьянина, к нему присоединялось

мычанье дюжины коров, которых вручную доила богиня с белесыми ресницами. Это было невыносимо. Поэтому я отправился в путь, изголодавшийся, хотя на крестьянском подворье меня неплохо откормили; мой неутоленный голод — о чем свидетельствуют узкие строчки луковичного пергамента — был совсем иного свойства.

Я добрался до Саара: там у меня был адресок сотоварища, которого также освободили из Мунстерлагера и который пообещал мне приют в мансарде домика, где он жил с матерью, принявшей меня словно второго сына.

Это обещало домашний уют, если б в Сааре не голодали куда сильнее, чем в иных местах. Похоже, французские оккупационные власти хотели наказать задним числом всех здешних жителей, а не только тех, кто в тридцать пятом году проголосовал за лозунг: «На родину, в Рейх!» Домик рядовой застройки находился недалеко от Мерцига.

С моим приятелем, настоящее имя которого я, пожалуй, никогда и не слыхал — все звали его Конго, так как он собирался вступить во французский Иностранный легион и уже видел себя сражающимся под небом пустыни против берберских повстанцев, — я ездил в переполненных поездах в сельскую местность, до самого Хунсрюка, казавшегося нам краем света, столь тоскливо холмистыми были тамошние окрестности.

Такие поездки были делом обыденным, их называли мешочничеством. На остатки моего английского чая и бритвенных лезвий, а также на пользующиеся повсюду большим спросом кремни для зажигалок, доставшиеся мне от спекулятивных операций на кёльнском черном рынке, мы выменивали картошку и белокочанную капусту. Мы прочесывали двор за двором, иногда уходили с пустыми руками. Но кроме менового товара, поддающегося взвешиванию или счету, я мог предложить и кое-что другое.

Когда, проявив сообразительность, я погадал по руке заметно беременной хозяйке подворья, которая счастливо делила стол и ложе с оставшимся у нее французом, некогда пригнанным на работу, мне в качестве гонорара дали кроме изрядного куска овечьего сыра еще и шмат копченого сала, настолько довольна была сидевшая за столом хозяйка тем, что в линиях ее ладони я прочитал пусть не многолетнее, но довольно продолжительное отсутствие хозяина дома. С сорок третьего года он считался пропавшим без вести на Восточном фронте, однако присутствовал с нами в виде фотографии на стоячей рамке.

Где же научился я сомнительному искусству хиромантии?

Может, подсмотрел у цыган, которые приходили из Польши через границу Вольного города и бродили по улицам Лангфура, предлагая свои услуги в качестве точильщиков ножей и ножниц или лудильщиков кастрюль?

Кажется, в Верхнем Пфальце, где в большом лагере для военнопленных я, коротая время и борясь с реальным голодом, записался на абстрактные кулинарные курсы, мне довелось посещать и другой кружок, куда меня привлекло искусство хиромантии.

Был ли то природный дар, подсмотрел ли я приемы гадания или обучился им, так или иначе без особого зазрения совести мне удалось в хунсрюкской глубинке вполне профессионально предсказать счастливое будущее: сколь красноречиво свидетельствовали линии на ладони в пользу хозяйки подворья и ее скромно держащегося в тени сожителя, столь же прибыльной и питательной оказалась для меня хиромантия.

И все же не копченое сало стало главной добычей нашего мешочнического выезда в Хунсрюк. На подворье нашла работу и приют золовка хозяйки, из-за бомбежки лишившаяся своего жилья в Руре; она-то и одарила меня тем, что не бросишь на весы и не отсчитаешь штуками.

Вообще-то на нее положил глаз мой приятель Конго, который преследовал ее по пятам, но толку не добился. Весьма сильно поцарапанный, чертыхаясь, он выскочил из овчарни, но тут же вновь ухмыльнулся, поскольку по натуре был весьма добродушным малым. Этот широкоплечий детина принимал жизнь такой, какова она есть.

Ему не хватило войны. Он остался неисправимым авантюристом. Может, поэтому я и продолжал следить за его судьбой: когда в середине пятидесятых франкфуртский студенческий театр поставил мою первую двухактную пьесу «Наводнение», там фигурировал примерно такой же персонаж — вернувшийся домой легионер. Сослуживец Лео называет своего приятеля Конго. Они прошли вместе Лаос, Индокитай, а теперь каждому из них выпала роль блудного сына.

Лишь когда мы собрались на ближайшую железнодорожную станцию, мне забрезжила удача. Золовка хозяйки вызвалась помочь нам довезти до вокзала на тележке мешок картошки, белокочанную капусту, овечий сыр, заработанный шмат копченого сала и все, что мы еще намешочничали — например, целый куль сушеных огненных бобов.

При лунном свете мы отправились в путь; проселочная дорога — километра три или три с половиной — шла сначала в гору, а потом под уклон; впрочем, расстояние, как и время,

припоминаются не слишком точно.

Конго тянул тележку, не давая себя подменить. Мы плелись за ним, сперва молча, затем разговорились. Расспрашивали друг друга о виденных кинофильмах, но за руки не взялись. Нашей парочке — оба одинакового роста — нравилась молодая артистка Кнеф, чью будущую славу мы предвосхитили. Фильм, который я недавно опять смотрел по третьему телевизионному каналу, назывался «Под мостами».

Местный поезд на Бад-Кройцнах ожидался лишь часа через два, поэтому Конго улегся на скамью в зале ожидания и сразу заснул. Мы стояли перед сараем, который, если верить облупившейся надписи, и был железнодорожной станцией. На небе торопливо двигались то ли облака, то ли луна.

Было ли еще что-нибудь, что можно было увидеть, сказать или хотя бы только пожелать?

Тут молодая женщина, казавшаяся мне юной девушкой, попросила, чтобы я немножко проводил ее с тележкой по лесной дороге — не потому, что ей страшно, а просто так.

Дело, похоже, происходило в начале лета, светила почти полная луна. По обе стороны проселка высились копны свежескошенного сена, которые по пути на станцию мне ни на что не намекали. Они стояли ровными рядами до самой опушки, выделявшейся темной полосой на фоне неба. Иногда на этот строй набегала тень облаков, потом копны вновь начинали манить к себе серебристым отблеском. А может, они уже по дороге на станцию посылали нам одно приглашение за другим. И еще мне показалось, что усилился аромат скошенного луга.

Едва исчез из виду железнодорожный вокзал вместе с моим спящим приятелем и нашими мешками — или же нам понадобилось чуть больше времени? — как я отпустил пустую тележку, а спутница взяла меня за руку. Нас потянуло с проселка к ближайшей копне.

Видимо, именно я послушно дал увлечь себя на скошенную траву, поэтому мне и запомнилась Инга — и не только из-за того, что она была у меня первой, — со множеством подробностей. Ее широкое, словно полная луна, лицо, усеянное веснушками. Впрочем, сейчас это в счет не шло. Хорошо помнятся ее скорее зеленоватые, чем серые глаза, которые она не закрывала. Ее руки, загрубевшие от работы в поле, показались мне большими. Они знали, как мне помочь.

Ни с чем не сравнимый запах сена. Изголодавшийся, я был слишком жаден, поэтому ей приходилось учить меня, чтобы я был помедленнее, не так напорист, а нежен до кончиков пальцев, как и она сама.

Сколько открытий. Влажных и глубоких. И все это рядом, под рукой. Мягкое, округлое, податливое. На какие звериные звуки мы оказались способны.

А затем все погрузилось в аромат сена. Плененные им, мы хотели еще. Или нам хватило одного раза? Надеюсь, новичок оказался способным учеником.

Что же потом? Наверное, мы перешептывались, лежа в копне, а может, шептал только я. Не знаю, какие слова шептал я тогда, на скошенной траве. Запомнилось только, что Инга вдруг заговорила серьезно, будто почувствовала необходимость объясниться. Семья пострадала от войны. Домик рядовой застройки на окраине Бохума разбомблен. Жених погиб на Балканах, два года назад, ведь там всюду было полно партизан. Он работал шахтером, что освобождало от призыва в армию — «по брони», сказала она, — однако его все же забрали, сразу после Сталинграда, да еще определили в саперы. Сначала подготовка в Гросс-Бошполе, затем фронт, а позднее, как говорилось в письмах, он уже только строил мосты в горах…

Она рассказывала еще что-то. Но это стерлось из памяти, как имя ее жениха, которое она все время привычно повторяла, словно он лежит рядом.

Неужели я тоже нашептывал ей на сене какие-то слова? Что-нибудь многозначительное о звездном небе? О луне, которая то появлялась, то исчезала? Или что-нибудь лирическое, только что сочиненное, ибо когда какое-либо событие выбивало меня из колеи, появлялись стихотворные строки, рифмованные и без рифм.

Наверное, я что-то промямлил, когда она с легкой озабоченностью или из простого любопытства спросила, кем я хотел бы стать. Сказал ли я уже тогда, в копне: «Хочу быть художником, непременно!»?

Хоть и поблескивает у луковицы одна мясистая кожица под другой, но ответа она не знает. Между оборванных строчек пустеют пробелы. Мне же остается лишь толковать эти недоступные прочтению места, гадать об их содержании…

Крупинка из россыпи воспоминаний, каждый раз пересортированных заново, подсказывает, что я вроде бы чем-то рассмешил Ингу, мне же самому было не до смеха; дебютант, лежащий рядом с ней под почти полной луной, внезапно погрустнел, будто зверек, сам не понимая, отчего и почему, не помогли ни нежные слова, ни ласковые прикосновения. Даже запах сена сделался вдруг невыносимым.

Когда мы поднялись, наша копна выглядела смятой; Инга натянула трусы, а я принялся застегивать штаны. Потом она

начала подравнивать копну, я, кажется, помог ей. Издали можно было подумать, будто мужчина с женщиной вышли в поле на ночные работы.

Чувство безутешного одиночества меня отпустило. Нет, мы не напевали тихонько, встраивая наше разворошенное ложе в ряд с другими копнами: две пары прилежных рук.

Не уверен, но, возможно, она сказала: «Черкни мне открытку, если захочешь», назвав свою фамилию, которая звучала по-польски и кончалась на «ковек» или на «екая», как это бывало у рурских футболистов.

Больше ничего. Или все же? Может, небольшая заминка, всего на мгновение. Потом мы разошлись в противоположные стороны. Она тянула за собой пустую тележку.

А ведь я, будто мне не впервой и у меня имелся опыт, не оглянулся. Что было, то прошло. «Не гляди назад» — говорится в детской песенке и в стихотворении, которое я написал позднее, много лет спустя.

Однако на недолгом и все же затянувшемся обратном пути кто-то обнюхал свою левую руку, будто закрепляя в памяти то, что еще несколько минут назад было осязаемым.

Когда я опустился на скамью рядом с приятелем, которому Инга расцарапала лицо, от меня еще пахло луговым сеном. А в поезде до Бад-Кройцнаха, увозившем наши мешки с добычей, Конго не переставал добродушно ухмыляться, однако никаких скабрезностей он себе не позволил.

По сей день то поспешное расставание тяготит меня. Куда было торопиться? Словно я чего-то испугался и убежал. Ведь поезд пришлось ждать еще долго. Бесполезное время.

С запозданием говорю себе: не лучше ли было бы, вновь почувствовав голод, опять уложить ту, кого звали Ингой, на соседнюю копну?

И зачем вообще нужно было возвращаться в бедный калориями Саар? Ведь ты бы даже смог постепенно сродниться с холмистым Хунсрюком, этим Богом забытым и таким католическим краем, раз уж он сумел послужить темой для популярного телесериала.

Твой приятель Конго уехал бы и без тебя, тем более что он запасся провиантом в виде картошки, белокочанной капусты, сыра и платы за твою хиромантию; к тому же он, не навоевавшись вдосталь, все равно хотел податься в Алжир или Марокко, чтобы подохнуть там во славу Grande Nation.

Что же до крестьянки, хозяйки подворья, то время от времени ты гадал бы ей по руке, делал благоприятные предсказания, чем

обеспечил бы женщине спокойный сон и счастливое разрешение от бремени. А если бы однажды у ворот подворья объявился пропавший в России хозяин… Поздний возвращенец… На улице, за дверью…

Дальше пробелы, обрывы кинопленки. Ничего похожего на новые любовные победы или интрижки. Только время года будто замерло без движения: весна сорок шестого.

Я непрерывно скитаюсь, то еду в Везербергланд, то оказываюсь в Гессене, на самой границе американской оккупационной зоны, затем вполне легально попадаю к британцам в Гёттинген, предварительно несколько дней пожив и отъевшись под Нёртен-Харденбергом у еще одного приятеля, крестьянского сына, страдавшего небольшим дефектом речи.

Но копна сена больше нигде не подворачивалась, заработать удачным гаданием по руке тоже не получалось. Только беспокойные скитания, нежелание где-нибудь осесть. Впрочем, там и сям приходилось оформлять полицейскую регистрацию места жительства, хотя бы ради самого необходимого — продовольственных карточек.

Зачем я попал в Гёттинген? Уж, во всяком случае, не ради университета. Да и на что он мне, если у меня нет аттестата зрелости? Ведь с тех пор, как мне исполнилось пятнадцать, в школу я больше не ходил. Учителя отпугивали меня, что впоследствии подтвердилось многими страницами моих рукописей, на которых фигурировали такие персонажи, как учительница начальных классов фройляйн Шполленхауэр из главы «Расписание уроков» романа «Жестяной барабан» или учитель физкультуры Малленбрандт из новеллы «Кошки-мышки», а еще страдалец Старуш, гимназический штудиенрат из романа «Под местным наркозом», и, наконец, бездетная супружеская пара, учителя Харм и Дёрте из повести «Головорожденные, или Немцы вымирают»; педагоги всегда давали мне достаточно материала. Даже пьеса под названием «Тридцать два зуба» посвящена не только гигиене, но и педагогическому безумию.

Вместо школьных занятий меня учили, как быстро разобрать карабин К-98, вновь собрать его и изготовить к стрельбе, я научился управлять установщиком взрывателя на восьмидесятивосьмимиллиметровой зенитке, а в качестве артиллериста — обслуживать танковое орудие; муштрой вбили умение мгновенно найти укрытие, маршировать строем и привычку на любой приказ тотчас отвечать «есть»; потом я научился «доставать» еду, чуять опасность, то есть избегать «цепных псов» из полевой жандармерии, выносить вид

растерзанных трупов и повешенных солдат; я быстро обучился страху, от которого мочился в штаны, умел спать стоя, спасаться фантазиями, воображать без масла, мяса, рыбы и овощей вкуснейшие супы или жаркое, приглашать к столу гостей из разных эпох, я наловчился гадать по руке, и только от аттестата зрелости, который позволил бы поступить в университет, меня отделяла непреодолимая пропасть.

И тут на подходе к гёттингенскому вокзалу — а я любил ошиваться вблизи оживленных вокзалов — я встретил одноклассника, с которым мы учились вместе в невозвратно далеком прошлом. Не помню, сидел ли я рядом, стояла ли его парта впереди моей или позади, было ли это в «Конрадинуме», в гимназии Святого Петра или Святого Иоанна.

Он заговорил со мной, сказал, видимо, что-то дельное, поэтому я отправился с ним по городу, в общем-то пощаженному бомбежками; пошли туда, где во времянке для восточных беженцев ютился он с матерью, но, к сожалению, без взрослой сестры.

Так называемые «ниссеновки» — бараки под выгнутыми дугой крышами из листовой стали — выстроились в ряд, между ними сохло на веревках белье. Обед состоял только из крупяного супа с редкими ленточками капусты. Мне выделили раскладушку. Старший сын женщины погиб в боях под Монтекассино, мужа арестовали русские, отправили сначала в Диршау, потом еще куда-то; теперь он считался пропавшим без вести. Единственный сын заменял ей все утраты.

Через несколько дней я дал этому однокласснику, уверявшему, будто он сидел рядом со мной на одной парте, уговорить меня пойти в специальную гимназию, открытую для тех, кто готов усердной зубрежкой наверстать упущенное, воскресить то, что сгинуло за минувшие годы. Он убеждал меня, что там можно опять всерьез взяться за учебу, даже нацелиться на аттестат зрелости. Наверное, ему хотелось вновь обзавестись настоящим школьным портфелем, пусть даже из искусственной кожи, да ведь и у меня через плечо висела только холщовая котомка-«сухарка». По его словам, без аттестата человек неполноценен. Дескать, сейчас так обстоит дело со многими. «Пойми же, наконец! Без аттестата ты — ничто!»

Но я сумел выдержать не больше одного-единственного занятия. Первым уроком была латынь. Это еще куда ни шло. Латынь — она и есть латынь. Но вторым уроком значилась история, некогда мой любимый предмет. Ее материки, поделенные знаменательными датами на весьма обширные пространства, имели немало белых пятен, где могла развернуться

моя фантазия, заселяя их вымышленными персонажами, которые носили преимущественно средневековые костюмы и вели бесконечные войны. Что такое человек? Не что иное, как частичка, участник массовки, одно из действующих лиц, яркий камешек в мозаике истории. Я сам, усевшись за школьную парту, ощущал себя чем-то вроде цветного шара, которым играют на бильярде.

Многое из той поры моих странствий забылось: например, количество учеников, оставшихся после латыни на урок истории, — все они были старше нас обоих на несколько военных лет; зато преподавателя истории я вижу совершенно отчетливо, словно можно рукой дотянуться: малорослый, жилистый, короткая стрижка «ежиком», без очков, но с галстуком-бабочкой, он расхаживал между рядами парт, затем резко повернулся на каблуках, будто внезапно услышал приказ Мирового духа. И начал урок классическим вопросом: «На чем мы остановились?» — чтобы тут же ответить самому себе: «На Эмсской депеше».

Наверное, это соответствовало учебной программе. Но мне не хотелось останавливаться на Бисмарке и его махинациях. Какое мне дело до тысяча восемьсот семьдесят первого года?

Мой ускоренный курс по тому предмету, который называется войной, был гораздо свежее. Он закончился лишь позавчера.

Его уроки до сих пор преследовали меня в дневных фантазиях и ночных кошмарах. Я ни на чем не хотел останавливаться.

Что могла дать мне та война, объединившая Германию «железом и кровью»?

Какое мне дело до Эмсской депеши?

Что еще предстояло жевать и пережевывать, какими ненужными датами забивать свою память?

И какой период истории — уж не мой ли, недавний? — собирался перепрыгнуть этот учитель, чтобы забыть о нем, сделать вид, что ничего не произошло, умолчать, будто случилась лишь досадная неприятность?

Я встал с места, словно услышал от малорослого преподавателя хорошую подсказку, взял свою «сухарку», которую всегда носил с собой, и молча вышел — окрик педагога меня не удерживал — не только из класса для наверстывающих упущенное фронтовиков, но и навсегда покинул школу с ее неизменной косностью и консерватизмом. Пожалуй, я даже наслаждался своим уходом.

Моего одноклассника, который наверняка получил аттестат, чем до конца жизни обрел полноценность, я больше никогда не встречал. Зато поскольку мое издательство с типографией

находятся на улице Дюстере-штрассе в Гёттингене, этот город по многим причинам стоит того, чтобы я наведывался сюда.

Все побочные линии описанного эпизода померкли, но одна встреча отчетливо высвечивается в памяти: сразу после окончательного ухода из школы я вижу себя в зале ожидания железнодорожного вокзала.

Куда я собирался ехать? С какими планами?

Может, мне вдруг захотелось на юг? Отправиться, пусть нелегально, в американскую оккупационную зону, где после недолгих поисков я нашел бы в баварском захолустье, где-нибудь между Альтэттингом и Фрайлассингом, моего солагерника, чтобы еще раз попытаться угадать будущее, сыграв в кости?

Вижу, как, беспомощно озираясь, иду между скамьями в зале ожидания гёттингенского вокзала, ищу свободное место, но все занято. Зал переполнен, духота. Наконец, просвет на скамейке. Рядом со мной, будто именно его я и искал, — мой любимый типаж в перекрашенной вермахтовской форме: вечный старший ефрейтор, легко опознаваемый даже без двух шевронов на рукаве.

Везет мне на них. Как на того старшего ефрейтора, который вывел меня из темного леса, словно маленького Гансика; такой не подведет, впрочем, теперь он выглядел высоким, костистым здоровяком. Я сказал себе: на старшего ефрейтора, который не пожелал выслуживаться и становиться унтер-офицером, можно положиться. Верченый, крученый, битый, он находил выход из любого положения. Наступление или окопное сидение, рукопашная, контратака или отступление — он знал свой маневр. Он всегда отыщет щелку, увернется, уцелеет, хоть и не без ущерба, — с таким не пропадешь.

Он сидел рядом, вытянув деревянную ногу, и курил трубку. Дымил какой-то дрянью, лишь отдаленно напоминавшей табак. Похоже, он пережил не только последнюю войну, но и Тридцатилетнюю заодно с Семилетней: типаж вне времен. Пилотка сдвинута на затылок, разговор начал вопросом: «Ну, что, парень? Не знаешь, куда податься?»

Про деревянную ногу под перекрашенной штаниной можно было только догадаться, но позднее эта деревяшка еще сыграет свою роль. «А давай подадимся в Ганновер, там тоже есть вокзал. Что-нибудь да надумаем…»

Словом, мы сели в ближайший поезд из тех, что стоит у каждого полустанка, и проехали с дюжину остановок. Проторчав в давке, мы сумели пристроиться в полном купе для некурящих, что ничуть не смущало моего старшего ефрейтора. Он дымил своей трубкой.

Продолжая дымить, он извлек из «сухарки» краюху хлеба и кусок колбасы, которую, по его словам, достал в Айхсведе, где, как известно, изготовляются лучшие колбасы.

Страшным десантным ножом он порезал колбасу на ломти толщиной с мизинец — больше для меня, чем для себя, — не выпуская при этом трубки изо рта. Затем он принялся кормить меня, своего фронтового товарища, как он меня называл.

Сидевшая напротив нас пожилая дама в довоенной шляпке горшком начала жаловаться на дым из трубки, указала перстом на табличку с запретом для курильщиков, демонстративно раскашлялась, не прекращая своих жалоб, а в конце концов визгливым голосом кликнула кондуктора и даже попыталась привлечь на свою сторону остальных пассажиров, призывая их дать отпор «непристойному поведению» злонамеренного курильщика, при этом слово «непристойный» акцентировалось особой интонацией, с какой говорят ганноверцы из «приличного общества»; тогда мой спутник, называвший меня товарищем, взял правой рукой лоснящийся нож, устрашающе поднял его, другой рукой сдвинул трубку в угол рта, застыл на мгновение в такой позе, а потом резко саданул ножом через штанину в правое бедро, где застрявший клинок еще некоторое время вздрагивал. Сам старший ефрейтор жутко захохотал.

Испуганная дама в шляпке бросилась вон из купе. Ее место сразу же занял кто-то, стоявший в проходе. Бывший старший ефрейтор вытащил нож, сложил его, убрал в карман и выбил трубку. Мы медленно приближались к Ганноверу.

От прошлого остаются случайные фотографии, сохранившиеся в архиве памяти. Тогдашний молчаливый поедатель колбасы до сих пор видит перед собой дрожащий нож, воткнутый в деревянную ногу, хотя он до конца не уверен, приключилась ли эта история при поездке из Гёттингена в Ганновер или же по пути в обратном направлении до Касселя и дальше на Мюнхен, поскольку мне хотелось навестить в Баварии, будь то в Марктле-на-Инне или в другом захолустном городке, моего солагерника Йозефа, с которым примерно год назад я жевал тмин, бросал кости, пытаясь угадать будущую судьбу, и спорил о непорочном зачатии. У родителей я его не застал. Вероятно, он уже учился в какой-нибудь семинарии, упражнялся в схоластике, сдав все экзамены «на отлично». А я…

К тому же героем этой истории мог послужить совсем другой человек с деревянной ногой, таких инвалидов тогда было много. Кровяная колбаса или салями, нож складной или нет, путь туда или обратно — память отбирает и держит в резерве то, что

складывается в историю при каждом новом рассказе то так, то этак, нимало не заботясь ни о происхождении сюжета, ни о сомнительности деталей.

Достоверно могу лишь сказать, что рядом со мной в зале ожидания гёттингенского вокзала оказался старший ефрейтор вроде бы с деревянной ногой, который, догадавшись о моей непристроенности, посоветовал по прибытии в Ганновер обратиться насчет работы в тамошнее управление акционерного общества «Бурбах-Кали АГ», занимавшегося добычей калия: «Там сейчас нужны шахтеры. Получишь продовольственные карточки для работников особо тяжелого физического труда. По ним масло дают, и крыша будет над головой. Действуй, парень!»

Два бывших фронтовика перед ганноверским Главным вокзалом рядом с конной статуей некоего Эрнста-Августа, бронза которой изрешечена осколками бомб.

Младший последовал совету старшего, ибо каким бы ни был этот молодой человек по натуре и каким бы ни сделался со временем, одно обстоятельство из личного опыта сыграло в его взрослении особую роль: он хоть и не доверял никому из взрослых, однако делал исключение для определенного типажа, коим являлся старший ефрейтор. Так повелось с тех пор, как некто, когда-то работавший парикмахером, вывел его из леса через русскую линию фронта. Спустя несколько дней русские «тридцатьчетверки» обстреляли дорогу, по которой шли отступавшие части с беженцами, и старшему ефрейтору размозжило обе ноги, так что он едва сумел выжить; моему новому знакомому, встреченному в гёттингенском зале ожидания, повезло больше: он отделался деревянной ногой. Он знал, куда идти и что делать, а чего делать не надо. К его советам стоило прислушаться.

А еще мне понравилось слово «шахтер». Хотелось залезть под землю, спрятаться там, чтобы больше не видеть быстро сменяющихся ландшафтов, провалиться, исчезнуть, пропасть без вести, но при этом, раз уж такое необходимо, работать глубоко в недрах земли, занимаясь тем, что признается особенно тяжелым физическим трудом. Возможно, я надеялся найти под землей нечто такое, чего не видел наверху.

Прежде чем покинуть моего знакомого с деревянной ногой и последовать его совету, я подарил ему в благодарность остаток табачных талонов, поскольку все еще не был приверженцем никотина и не нуждался в сигаретах, которые доминировали на тогдашнем рынке в качестве наиболее стабильной валюты; они составляли мое богатство, оцениваемое поштучно.

Итак, я обратился в управление акционерного общества «Бурбах-Кали АГ», где меня не заставили ждать, а без особых проблем занесли в кадровый реестр, определив сцепщиком. Местом работы стала шахта «Зигфрид I», находившаяся неподалеку от деревни Гросс-Гизен округа Зарштедт. Там мне выдали лампу-карбидку и казенные деревянные башмаки. Для ночлега выделили в бараке верхнюю койку двухъярусных нар, к каким я привык за последние годы.

Деревня располагалась между Хильдесхаймом и Ганновером на равнине, пригодной для выращивания свеклы. Лишь на юго-западе синела холмистая кромка Везербергланда. Над по-летнему зелеными полями возвышались подъемная шахта, жерновая мельница-камнедробилка и котельная с пристроенной сбоку небольшой прачечной; тут же размещалось похожее на виллу административное здание шахтоуправления, а надо всем этим громоздился высоченный белесый конус терриконa, пологий с одной стороны; на него изо дня в день высыпалась вскрышная или отработанная порода, прицепленные к тросу вагонетки катились на роликах. Доверху наполненными они поднимались наверх, опорожненными спускались вниз. До сих пор у меня в ушах стоит скрежет их подъема и спуска, поэтому, проезжая на поезде от Рацебурга через Люнебург и Ганновер в I еттинген, где находится типография моего издателя Герхарда Штайдля, я всякий раз поглядываю на белесые терриконы, встающие из полей, занятых под сельскохозяйственные культуры: терриконы дожили до наших дней, став частью окрестного ландшафта. А калийные рудники, в том числе шахта «Зигфрид I», выведены из стоя, закрыты уже несколько десятилетий назад.

Барак разделялся на шестиместные комнаты, где стояли хорошо знакомые мне двухъярусные нары. Еда в столовой была невкусной, зато сытной. К тому же продуктовые карточки для работников особо тяжелого физического труда позволяли дополнительно получать колбасу, сыр, хорошее масло и яйца, которые можно было брать к завтраку или перед вечерней сменой. Для профилактики силикоза ежедневно полагалось молоко. Деревянные башмаки предназначались для работы под землей. В раздевалке мы снимали одежду, складывали ее в специальные мешки, которые подвешивались под потолок, надевали рабочие спецовки; здесь же мы принимали душ после смены.

Я работал сцепщиком на откатном штреке горизонта с отметкой девятьсот пятьдесят метров. По этому штреку длиной в

несколько километров электровозы тянули пустые или наполненные ломкой калийной рудой вагонетки от спусков с верхних горизонтов к стволу главной подъемной шахты, где по звонку также спускались или поднимались шахтеры, пришедшие на очередную смену или уходящие на поверхность.

Моя работа заключалась в сцепке пустых и полных вагонеток, которые я отцеплял возле подъемника, а во время движения к забоям, где взрывалась и дробилась калийная порода, мне приходилось открывать и закрывать вентиляционные пологи.

Сплошная беготня на сквозняке. Частенько спотыкался о рельсы. Разбивал коленки.

Меня обучали другие сцепщики. Я соскакивал с последней вагонетки не быстро движущегося состава, обгонял его, отодвигал сделанные из искусственной кожи клапаны вентиляционных пологов, пропускал состав, задвигал клапаны и на ходу вновь вспрыгивал на последнюю вагонетку.

Обычно машинист электровоза, мой напарник по смене, притормаживал, чтобы я успел справиться со своей задачей, однако раз-другой я отставал от состава, и мне приходилось плестись за ним вслед, одному, по длинному откатному штреку.

Описание этой работы выглядит так, будто я вкалывал до седьмого пота, чтобы оправдать особые продуктовые карточки, однако все было несколько легче, поскольку каждую смену на час или два отключалось электричество; тогда отключения электричества вообще считались едва ли не повседневной нормой и воспринимались с известной долей фатализма.

Мы сидели без дела либо у остановленного грузового подъемника, либо — если отключение электричества заставало нас посреди откатного штрека — в одном из больших забоев, достаточно просторных после взрывных работ, чтобы сейчас и в будущем захоранивать ядерные отходы, которые излучают и излучают свою радиацию.

Позднее я перенес заключительную главу романа «Собачьи годы» в шахту, где, правда, уже прекратили добычу калия. Зато на всех горизонтах и во всех забоях там разместились птичьи пугала, изготовленные здесь же и предназначенные на экспорт. Застывшие в различных позах или движущиеся с помощью встроенных механизмов, они служили костюмированной моделью человеческого общества, олицетворяя страдания и радости, а в качестве товара имели определенную рыночную цену. Их поставляли на заказ, они пользовались спросом по всему миру. А поскольку человек создан по божьему образу и подобию, то и самого Бога можно было бы считать Прапугалом.

Когда отключалось электричество, свет под землей исходил

только от лампочек-карбидок, из-за которых по стенам забоев призраками блуждали наши собственные огромные тени. Из недавно проложенных штреков, от замолкших вибрационных грохотов, из глубины забойной камеры собирались шахтеры, забойщики, подрывники, горный мастер и мы, сцепщики, с машинистами электровозов. Пестрая компания, сбившаяся на время, пока нет электричества, из кадровых рабочих, нередко перешагнувших пенсионный рубеж, и наспех обученного вспомогательного персонала, в основном молодежи.

Вскоре разговор переходил на политику, голоса звучали громче, разгорался спор, готовый перерасти в драку и не заканчивавшийся ею лишь потому, что снова давали ток, включалось освещение откатных штреков, начинали работать вибрационные грохоты и гудеть электровозы. В шахтном стволе урчал подъемник. Перепалка на разных диалектах тут же затихала, и спорщики, давясь недосказанным аргументом, принимались за работу: в колеблющемся свете лампочек-карбидок расходящиеся люди становились все меньше и меньше.

Для меня, только прислушивавшегося к разговору и подхватывавшего без разбору то одни доводы, то другие, но в остальном молчавшего, словно пораженный немотой, эти часы отключенного электричества стали своего рода уроками, которые я недополучил в школе. В душной жаре шахты — мы потели, даже когда не работали, — я пытался следить за ходом мысли спорщиков, многое не понимал, сам себе казался глупым и был таковым, но не решался задавать вопросы пожилым шахтерам. Меня бросало то в одну сторону, то в другую, ибо определились противоборствующие группировки: грубо говоря, их было три.

Наиболее маленькой оказалась группа классово сознательных коммунистов, которые предсказывали скорый крах капитализма и победу коммунизма; у них на все имелся готовый ответ, и они охотно грозили кулаком. К их числу относился горный мастер, который вне работы был человеком добродушным и общительным; он жил неподалеку от шахты в собственном домике; с его дочерью я иногда ходил в кино.

Вторая, самая большая группа повторяла пропагандистские лозунги нацистов, искала виновников в крушении прежнего порядка; они вызывающе напевали мелодию гимна штурмовиков «Знамена ввысь, сплоченными рядами…» и грозились в сослагательном наклонении: «Если бы Вождь был жив, он бы всех вас…»

Третья группа пыталась примирить спорщиков, высказывая практичные и обычно довольно скромные предложения по улучшению существующей ситуации; эта группа, скажем,

возражала против национализации акционерного общества «Бурбах-Кали АГ», но поддерживала огосударствление крупных концернов под контролем профсоюзов. Она то уменьшалась, то опять подрастала; ее представителей, социал-демократов, нацисты презрительно именовали «соци», а коммунисты и вовсе называли их «социал-фашистами».

Хотя я, всего лишь глупый молодой сцепщик, слушая разговор со стороны, понимал только немногое из того, что доводило спорщиков до белого каления, мне было видно, как апогей дискуссии неизменно объединял коммунистов с закоренелыми нацистами, причем их союз с удвоенной силой старался криком заткнуть рот социал-демократам. Еще недавно смертельные враги, коммунисты и нацисты выступали единым красно-коричневым фронтом против ненавистных «соци».

Все развивалось по одной и той же схеме, шло по заколдованному кругу. Каждое отключение электричества формировало прежний расклад сил. Мне было трудно занять чью-либо сторону. Без прочной собственной позиции, агитируемый сразу всеми, я склонялся то к одному лагерю, то к другому.

Машинист моего электровоза, бывший ранее взрывником, но получивший в результате несчастного случая небольшое увечье, принадлежал к социал-демократам; как-то после смены, когда мы вышли из раздевалки, он так объяснил мне этот противоречивый союз: «Тут все происходит, как накануне тридцать третьего, когда красные объединились с коричневыми против нас, — до тех пор, пока нацисты не ликвидировали коммуну, а потом сразу принялись за нас. Не было солидарности. Да, история никогда их ничему не учила. Они вечно хотят либо сразу все, либо ничего. А нас, социал-демократов, ненавидят за то, что при необходимости мы готовы довольствоваться и половинкой».

Не скажу, чтобы подобные дискуссии при мерцании ламп-карбидок меня сильно просветили и способствовали формированию моих ранних политических убеждений в первые послевоенные годы, однако в голове юного сцепщика забрезжили догадки относительно неблаговидного союзничества, разрушившего то государство, которое коммунисты с нацистами презрительно именовали «системой»; именно это союзничество окончательно добило Веймарскую республику.

Шахта не сделала из меня сознательного социал-демократа, но на поверхности развивались события, которые дали мне некоторый толчок в этом направлении; таким событием послужила, например, поездка в очищавшийся от руин и завалов Ганновер, куда одним воскресным утром мой машинист взял меня на митинг, где под открытым небом перед десятками тысяч

участников выступал председатель социал-демократической партии Курт Шумахер.

Нет, он не говорил — он кричал, как это делали все тогдашние политики, а не только нацистский гауляйтер Форстер, выступая в Данциге на Майском поле; однако мне, ставшему позднее социал-демократом и убежденным единомышленником тех, кто все взвешивает с-одной-стороны-и-с-другой-стороны, запомнились некоторые из слов, выкрикнутых хрупким на вид человеком, который стоял под палящим солнцем с пустым, полощущимся на ветру рукавом и надсаживал глотку над головами десятков тысяч собравшихся людей.

После многолетнего заключения в нацистских концлагерях он выглядел аскетом. Святой столпник возвышал перед нами свой голос. Он твердо верил, что из руин возродится демократическая, социально ориентированная Германия. Каждое слово — будто удар молота по наковальне.

Против моей воли — вообще-то крик мне не нравился — товарищ Шумахер убедил меня.

В чем? С какими последствиями? Понадобились долгие годы, чтобы прежний юный сцепщик после первых неудачных попыток в том виде спорта, который зовется утопией социал-демократического образца, примкнул к Вилли Брандту и его «политике малых шагов». Прошли еще годы, пока в книге «Из дневника улитки» я не предписал прогрессу двигаться медленно, ползком, оставляя влажный след. Длинный путь, вымощенный булыжниками сомнений.

Однако уже в шахте моя политическая скорлупа, внутри которой было пусто, стала давать трещины. Я пробовал присоединиться к одной из спорящих сторон. Так шахта «Зигфрид I» послужила для меня бесплатным репетитором, у которого я получал уроки весьма противоречивого содержания: подобно колеблющейся игре тени и света в огромных, величиной с целый собор камерах-забоях, я склонялся то к одному мнению, то к другому, пока меня не взялись охмурять не отказавшиеся от своих взглядов нацисты.

Когда в шахте затеялись споры о создании единой партии из коммунистов и социал-демократов в советской оккупационной зоне, я начал повторять аргументы моего машиниста, который всегда заботливо притормаживал состав, чтобы сцепщик успел отодвинуть и задвинуть клапаны вентиляционного полога и вспрыгнуть на последнюю вагонетку — он предупреждал, что насильственное объединение чревато плачевными последствиями; зато после работы, на поверхности, приветливый горный мастер, отец трех дочерей, переводил мне тезисы

«Манифеста Коммунистической партии» на язык малокалорийной действительности ранних послевоенных лет.

Оба агитировали меня с переменным успехом. Но когда сегодня, во времена абсолютного господства капитала, я сознаю свое полное бессилие, то обращаюсь к прежнему юному сцепщику, зову его к моей писательской конторке, начинаю его допрашивать, сначала вкрадчиво, затем с пристрастием, а он ловко уклоняется от моих каверзных вопросов, пытающихся припереть его к стенке, то по некоторым оговоркам этого юноши в шахтерском комбинезоне я догадываюсь, что, пожалуй, решающую роль в становлении его мировоззрения сыграла старшая дочь горного мастера, которая в промежутке между сменами залучила сцепщика в отцовский дом с палисадником и верандой; она убеждала без агитации.

Хоть и не красавица, она была не лишена привлекательности. С детства чуточку подволакивала ногу. Несчастный случай? Она никогда об этом не рассказывала. А может, я не слишком прислушивался, когда она объяснила причину своего физического изъяна?

Говорила она с придыханием, быстро, сбивчиво, будто ей не хватает времени. Помнится ее овальное, продолговатое лицо, близко посаженные карие глаза, темные и гладкие волосы. Всегда задумчивая, она морщила лоб. Умница, фразы выстраивала логически правильно. Ее речь сопровождали летучие жесты, будто второй голос. Любимое словечко — «суть»: «по сути дела», «суть в том, что…»

Она работала практиканткой в конторе, учась на секретаршу, и отпечатала там на пишущей машинке несколько моих наспех зарифмованных стихов. Теперь они выглядели более значительными, легче читались и казались вполне пригодными для публикации; при перепечатке она заодно исправила орфографические ошибки.

Мы старались встречаться почаще. Меня не смущало, что она чуточку подволакивала ногу. Лицо и летучие жесты были достаточно сильным магнитом. Не слишком фигуристая, тоненькая, она стояла у ворот шахты, поджидая со смены отца, а может, и меня. Она была такая легкая, что я мог поднять ее плоское тело на нужную высоту и, стоя, войти в нее, когда мы, вернувшись из Зарштедта после кино, пробовали на веранде или в подъезде стать на несколько минут единой плотью.

Подняться наверх, в ее девичью комнатку, мне не разрешалось. Идти в барак с двухъярусными шконками ей не хотелось. Заботясь обо мне, она позволяла мне делать то, что

подразумевалось программой наших киновечеров, хотелось ли этого только мне или ей тоже. Я же научился прислушиваться к ее просьбе быть осторожным.

Гораздо полнее, чем за краткие минуты на веранде или в подъезде дома, мы чувствовали друг друга на тропинке среди свекольных полей. Ее подсказки. Все называлось своими именами. Над округой возвышался отвал горной породы, который белесо поблескивал на фоне более или менее облачного неба; глядя на него, мы подолгу обсуждали недавно просмотренные кинофильмы. Один из них назывался «Фани при газовом свете», его жутковатый сюжет разыгрывался в туманной Англии; в другом — «Убийцы среди нас» — играла Хильдегард Кнеф.

Говорили мы и о Боге, которого не существовало, соревновались в развенчании религиозных догм. Два питомца экзистенциализма, хотя о нем еще ничего не знали или ведали лишь понаслышке, что обозначает это понятие. Зато оба читали «Заратустру» и понахватались где-то таких мудреностей, как философские категории «заброшенности» и «подлинности». Копешек сена в здешнем краю не водилось.

После первых заморозков поспела сахарная свекла, поэтому с наступлением темноты мы, прихватив мешки, корзины и вооружившись короткими тяпками, пробирались в поле. Мы были не единственными, кто собирал урожай по ночам. Нашими врагами были крестьяне и собаки.

В домашней прачечной горного мастера, жена которого умерла в последний год войны и который, оставшись вдовцом с тремя дочерьми, хозяйничал довольно беспомощно, мы варили под его руководством сироп из свеклы, предварительно почистив ее и порезав в тазик. Запомнилось постоянное помешивание бурлящего варева деревянным черпаком, запах и вкус липкого, приторного сиропа, трехголосый смех девушек, режущих свеклу. Сироп разливался по пузатым бутылкам, вынесенным с шахты. Из остатков на донышке тазика мы делали леденцы, добавляя анис.

При варке сиропа пелись песни. Отец научил дочерей нескольким рабочим песням. Ни концлагерь, ни фронт не выбили из него, как он любил повторять, «классовое сознание».

Имена дочерей? Одну из них — которую? — звали Эльке. Порой девушки бывали весьма язвительными, но до политических споров дело при варке сиропа почти никогда не доходило.

В день моего девятнадцатилетия в далеком Нюрнберге по приговору трибунала были повешены военные преступники, а я скромно отпраздновал свой день рождения с несколькими приятелями на шахтном горизонте с отметкой девятьсот

пятьдесят метров. Это было накануне сбора урожая свеклы, а вскоре среди списков, вывешивавшихся администрацией бургомистра Гросс-Гизена, я обнаружил фамилию дальнего родственника, которого вместе с женой и дочерью приютил в качестве беженцев Любек. Написал ли я туда сразу или же немного помедлил?

По всем городам и деревням оккупационных зон местные власти вывешивали в коридорах административных учреждений списки, где указывались фамилии и личные данные пропавших людей; часто сообщалось и о погибших. Красный Крест и другие организации осуществляли рассылку, обновление списков. Отдельно вывешивались фотографии пропавших детей. Беженцы или депортированные из Восточной Пруссии, Силезии, Померании, Судетской области и моего родного Данцига, солдаты различных званий и родов войск, миллионы людей, пострадавших от бомбежек, эвакуированных, разыскивали друг друга. Матери хотели найти дочерей и сыновей, потерявшихся во время бегства. Занимались поисками разлученные друзья и подруги. Каждому кого-то недоставало. Вот и я разыскивал в еженедельно вывешиваемых списках моих родителей с сестрой, которая была младше меня на три года.

Вопреки рассудку я воображал, что мама осталась дома, будто она продолжает стоять за прилавком, отец замешивает на кухне тесто для пирога, а сестра с ее косичками — играет в гостиной, поэтому я не мог или не хотел представить себе мою семью где-нибудь на чужбине, куда маму, отца, сестру изгнали силой и где у них нет ни жилья, ни привычной мебели, ни висящих на стене олеографий в хороших рамках, ни кафельной печки, которая одновременно отапливала гостиную и спальню.

Остался ли радиоприемник на нашем буфете? Кто слушает его, какую ловит волну? Что произошло с маминым застекленным книжным шкафом, который, по сути дела, был моим? Кто листает теперь мои альбомы, полное собрание репродукций, полученных на сигаретные талоны и аккуратным образом вклеенных на отведенные места?

Да, разумеется. Сразу же после краткого промедления я написал дальним родственникам. Но прежде чем от них, живших раньше в данцигском районе Шидлиц, пришел ответ, мы отпраздновали женитьбу моего соседа по бараку, который был родом из Силезии. Невеста, а прежде — солдатская вдова, жила в ближайшей деревне.

Ясно вижу перед собой смешливую блондинку со множеством папильоток на голове. Потом вижу ее в подвенечном платье из

парашютного шелка, который мы выменяли на несколько центнеровых мешков калийной соли.

Я вместе с приятелем, таким же сцепщиком, изображали шаферов, ибо других желающих в деревне не нашлось. Жених, будучи уроженцем Катовиц, говорил на обычном в тех краях немецком диалекте с польским акцентом. Он ловко играл на губной гармошке и научил нас песенке из четырех куплетов, из которых я помню лишь строчки: «Антек, обнаружив вошь, вмиг хватается за нож».

Вечером мы устроили шумный праздник на кухне овдовевшей солдатки. Из Гросс-Гизена, из окрестных деревень или Зарштедта не пришли ни родственники, ни соседи. Сестра и даже родители не пожелали сесть за один стол с зятем, который, по нижнесаксонским понятиям, был иностранцем, к тому же нищим. Кто прибывал сюда из чужих краев, оставался чужаком.

Мы пили без удержу, словно должны были утолить жажду за всех отсутствовавших гостей. Жених, оба шафера и особенно невеста старались поддерживать веселье. Под тушеную свиную шею пили спиртное стаканами. Уж не помню, кто больше, кто меньше. Картофельной самогонки выставили предостаточно, еще кое-что достали на черном рынке, даже яичный ликер. Напитки сомнительные, от которых все мы рисковали ослепнуть — недаром газеты ежедневно сообщали о массовых отравлениях в результате семейных попоек; причиной служил самогон, разбавленный метиловым спиртом. Однако мы продолжали чокаться, пить за здоровье молодых и громко злословить насчет отсутствующих гостей.

Рано или поздно вся четверка очутилась на спальном ложе бывшей солдатской вдовы. Хоть и не ослепшие, орудовали вслепую. О том, что вытворяли эти тела, луковичные пергаменты умалчивают. Во всяком случае, невеста знала, чувствовала или догадывалась, что произошло или не произошло за остаток ночи: с кем — да, а с кем — нет или почти нет, а с кем — неоднократно.

В головах кровати висела картина со времен первого брака, там красовалась то ли пара лебедей, то ли кричал одинокий олень.

Когда утром — нет, скорее, к полудню — мы проснулись, белокурая новобрачная уже хлопотала на кухне, накрывая стол к завтраку. Разносился аромат яичницы и шкварок. Блондинка смеялась, улыбалась супругу и обоим Молодым сцепщикам, а те старались не встречаться взглядами, пялились в пустоту, почти не разговаривали, а если и произносили редкую фразу, то речь шла исключительно о ближайшей вечерней смене.

Так туманно, неопределенно в подробностях, закончилась свадьба и брачная ночь, которая скорее приключилась, нежели состоялась — на поверхности, в тени копра, с видом из спальни на возвышающиеся над окрестностями отвалы отработанной породы. А под землей продолжало отключаться электричество, и шахтеры вели свой идейный спор, в котором я по-прежнему не участвовал, ибо он надоел мне бесконечными повторами. Похоже, убеждения юного нациста повыветрились у меня вместе с трудовым потом. Это сварливо тянущееся за нами прошлое хотелось оставить позади и не иметь с ним ничего общего. Меня не привлекала ни одна из старых идей, хотя вместо прежней единственно верной и всеобъемлющей идеи образовался вакуум.

Однако чем заполнить этот вакуум, который не заметен снаружи, но ощутим внутри?

Неотступное, хотя и невнятное желание наполнить жизнь каким-то смыслом помогло юному сцепщику преодолеть скуку невольных простоев тем, что, сторонясь непримиримых спорщиков, он принялся зубрить при свете лампы-карбидки непреложные грамматические правила и вокабулы мертвого языка, то есть все-таки стал школяром.

Эта абсурдная ситуация предстает предо мной настолько живо, что я до сих пор слышу, как спрягаю латинские глаголы. Нет никаких сомнений: тот юный сцепщик, который на горизонте с отметкой девятьсот пятьдесят метров учит латынь, пытаясь расширить свои убогие познания, — это я. Как в гимназические времена, он корчит гримасы и твердит: qui, quae, quod, cuius, cuius, cuius…

Посмеиваясь над ним, я называю его чудаком, но он не дает себя смутить, потому что хочет чем-то заполнить вакуум, пусть даже пустой породой мертвого языка, который, впрочем, его солагерник по Бад-Айблингу именовал «всемогущим», ибо этот язык «навеки покорил весь мир». Более того, Йозеф утверждал, что даже видит сны, выстроенные по грамматическим правилам этого языка.

Грамматику и словарь мне подарила из благих побуждений вышедшая на пенсию преподавательница гимназии, квартировавшая в жутко разбомбленном перед самым концом войны Хильдесхайме, городе-резиденции епископа; она давала мне частные уроки, а платил я за них сигаретами, которые исправно получал, хоть и не был курильщиком.

Встретил я ее случайно, не помню где. В очках с толстыми стеклами, она сидела в кресле с красной обивкой, держа на коленях кошку. «Немножко латыни никогда не повредит», —

посоветовала она.

Я ездил к ней на автобусе, когда выдавалось свободное время. После урока ей нечем было угостить меня, кроме мятного чая.

А потом почтовые открытки от дальних и ближайших родственников оборвали мое школярство. В открытках повторялось: родители с сестрой пережили конец войны и депортацию без физического ущерба. Недавно им удалось перебраться из советской оккупационной зоны в британскую. А именно из Мекленбурга. Через границу, всего с двумя чемоданами. После краткой остановки в Люнебурге, где дед вроде бы нашел пристанище, родители отправились с давно переполненного севера в Рейнланд: там они поселились у одного зажиточного крестьянина под Кёльном, точнее — в округе Бергхайм на Эрфте.

Открытки от рассеявшихся по разным краям родственников говорили и о многом другом: о разрушенном родном городе — «нет больше нашего Данцига», о бедах, которые довелось пережить. О «так называемых преступлениях», «про которые мы ничего не знали», родственники писали: «С нами-то поляки творили всякое, только про это никто знать не хочет…»

Они сообщали о случаях пережитого насилия, о пропавших без вести, о погибших, о деде, не переставшем жаловаться, поскольку не мог перенести утрату столярной мастерской: «циркулярная пила, строгальный станок, заскладированные в подвале оконные и дверные рамы…»

Все одинаково сетовали на усиливающуюся нужду: «особенно тяжко приходится нам, беженцам, которых нигде не ждут. А ведь мы такие же немцы, как и местные…»

Рейнский адрес родителей я узнал, кажется, в администрации бургомистра Гросс-Гизена. Так или иначе, не увольняясь с шахты, я сразу после утренней смены сел в автобус. Похоже, дело было перед самым Рождеством или, скорее, в первые дни Нового года. Что-то задержало меня. Может, привязанность к дочке горного мастера?

На обочинах дороги лежали сугробы. Я захватил с собой кило припасенного масла и две пузатые бутылки из-под брома, тайком вынесенные из шахтной лаборатории; в бутылках был свекольный сироп — моя доля от собранного урожая.

Нет, не помню ни прощальных слез дочки горного мастера, ни напутственных слов ее отца в связи с моим поспешным отъездом, причем второпях я прихватил с собой шахтное

имущество, сунув его в матросский мешок; спустя более двадцати лет я вновь оказался в этом уголке Нижней Саксонии, чтобы накануне предстоящих выборов в бундестаг — речь шла о «новой восточной и внутренней политике» Вилли Брандта — помочь при создании «избирательских инициатив», а после митинга в Хильдесхайме рассказал местному кандидату от СДПГ о работе сцепщиком в калийной шахте, об отключениях электричества, которые оборачивались политическими дискуссиями.

Таким образом кандидат в депутаты узнал, с каких пор социал-демократическая умеренность стала определять мое политическое мировоззрение. Однако мой рассказ, насыщенный байками, показался партийцу чересчур фантастичным, чем-то вроде продолжения романа «Собачьи годы», поэтому после моего отъезда он обратился в акционерное общество «Бурбах-Кали АГ», которое все еще работает и даже приносит прибыль; там он запросил списки кадрового состава первых послевоенных лет. Отдел кадров документально подтвердил, что на шахте «Зигфрид I» действительно работал человек с моей фамилией и именем, который уехал, «не вернув вверенное ему казенное имущество, а именно деревянные башмаки».

Калий в этом краях больше не добывают, занимаются преимущественно рапсом и сахарной свеклой. Однако до сих пор здесь над плоской равниной возвышается белесый террикон. Он напоминает о тех временах, когда повседневными явлениями были кража свеклы и отключения электричества, когда люди охотились за продуктовыми карточками для работников особо тяжелого физического труда, когда умненькая девушка исправляла мои орфографические ошибки, когда свободу пробовали на вкус в жарких спорах, а на откатном штреке шахты «Зигфрид I» глупый юный сцепщик получал уроки обществознания.

В Ганновере я пересел на поезд, а от Кёльна опять добирался автобусом по уже знакомому мне нижнерейнскому краю. Всюду меня донимал холод. Каждый, кто пережил ту раннюю, начавшуюся уже на исходе ноября зиму, ее не забудет. Эта затяжная зима принесла с собой много снега и устойчивые морозы. Реки замерзли, лопались трубы парового отопления. В общественных зданиях городов устраивались специальные помещения, чтобы люди заходили обогреться, но таких помещений не хватало. Подвоз бурого угля и кокса срывался. Замерзшие голодали, голодные мерзли.

Зима сорок шестого — сорок седьмого была особенно убийственной для детей и стариков, ибо обычный дефицит всего

усугублялся нехваткой топлива. Товарные составы с углем подвергались нападениям, люди рубили парковые деревья, выкорчевывали пни. На каналах вмерзали в лед угольные баржи, их приходилось охранять круглосуточно. Своего рода эрзац-обогревателем служил юмор. Может, поэтому в репертуаре городских театров Ганновера и Кёльна значился шекспировский «Сон в летнюю ночь»: артисты дурачились на сцене, а зрители разогревали себя аплодисментами.

Но бедная калориями и теплом жизнь продолжалась. А я, привыкший к шахтному теплу на горизонте с отметкой девятьсот пятьдесят метров, теперь мерз на дневной поверхности в нетопленом поезде и промозгло-выстуженном автобусе.

Мерзли все мои попутчики, но мне чудилось, будто я страдаю от холода особенно сильно, хотя юного сцепщика вроде бы нагрели впрок, откормили за счет продуктовых карточек для работников тяжелого физического труда, к тому же дочка горного мастера снабдила его на дорогу теплыми варежками.

Но возможно, причина была в том, что предчувствие встречи с семьей наполняло меня тревогой, я боялся разочарования, опасался, что мама, отец и сестра покажутся мне чужими, что внешний холод усилится внутренним ознобом, когда они увидят перед собой сына и брата.

Я прижимал к себе матросский мешок с килограммом припасенного масла и пузатыми бутылками, наполненными свекольным сиропом.

О своем приезде я не известил, возвращение блудного сына должно было стать сюрпризом. Но, выйдя из автобуса, я увидел маму, отца и сестру на остановке Флиссштеттен, которые стояли там, будто это они приготовили мне сюрприз. На самом же деле они всего лишь хотели поехать в Бергхайм, чтобы оформить регистрацию своего нового местожительства. Случайность?

Позднее мама настаивала, что наша встреча была велением судьбы. Она твердо веровала: все беды и радости, — например, то, что мне удалось выжить, хотя я должен был погибнуть, — предопределены высшей волей, судьбой. Да еще одна цыганка предсказала ей мое скорое возвращение: дескать, мамин любимец приедет с богатыми подарками, под которыми, видимо, подразумевались масло и сироп.

Сын испугался. Они стояли перед ним жалкие, в болтающихся пальто, которые казались им слишком большими по размеру. Мама выглядела понурой. Отец ухитрился сберечь в перипетиях последних недель войны свою велюровую шляпу. Сестра — без косичек, уже не ребенок.

Вероятно, я познакомился с ней словами: «Даддау, да ты уже

настоящая молодая дама». А она, неизменно уверяющая в спорных случаях, что все помнит «точнее», чем ее брат, до сих пор вспоминает прорицательницу: «Истинная правда, была гадалка, она все предсказала…»

Недавно мы с несколькими внуками вновь посетили наш родной и уже чужой город, побывали на побережье между Сопотом и Глеткау; тут у нас с сестрой завязался разговор, в котором среди прочего зашла речь о новом Папе. Пока дети бродили по берегу, отыскивая у кромки прибоя янтарь, сестра сказала: «Мама даже никакими продуктами отблагодарить не могла, у нас у самих ничего не было, но цыганка все равно погадала ей по руке и пообещала: через три дня сынок вернется».

А всего за два года до той встречи — хотя, казалось, будто это было в невозвратно далеком прошлом, — когда Данциг еще стоял целехоньким со всеми своими башнями и фронтонами, в сентябре сорок четвертого, отец провожал меня на вокзал. Он молча донес мой фибровый чемоданчик, на лацкане пиджака наличествовал круглый партийный значок. Я, еще шестнадцатилетний, в коротких штанах, с призывной повесткой в нагрудном кармане уже тесной мне куртки, стоял рядом с ним на перроне. Мать отказалась идти на вокзал, не захотела смотреть вслед поезду, уходящему на Берлин, навстречу моей смерти. А теперь судьба опять свела нас вместе.

Мы обнимались снова и снова, будто по принуждению. Безмолвно или с какими-то бессвязными словами. Слишком многое, гораздо больше, чем можно было выразить словами, произошло за последнее время, у которого не было начала и которое не могло найти своего завершения. Одно было сказано гораздо позднее, поскольку было слишком ужасным, другое вообще осталось несказанным.

Насилие, пережитое матерью, заставило ее умолкнуть. Она постарела, занедужила, мало что сохранилось от ее прежней веселости и озорства.

А этот худосочный старик — неужели мой отец? Он, излучавший уверенность в себе и всегда старавшийся иметь представительный вид?

Похоже, только сестре удалось все пережить без особого урона. Она показалась мне даже чересчур повзрослевшей. Ее светлые глаза с любопытством разглядывали меня, ее старшего брата.

Только теперь я начал сознавать то, что недостаточно отчетливо доходило до меня за последние месяцы войны, в

госпитале, плену, а потом во время бесцельных скитаний на свободе, ибо меня занимал только я сам и мой удвоенный голод. Утраты все изменили. Пострадал каждый. Руинами стали не только дома. Мир — оборотная сторона войны — выявил преступления, которые задним числом заставили считать преступников жертвами.

Передо мной стояли беженцы, изгнанные с родины, их было всего трое — статистически ничтожно малая величина по сравнению с миллионами. Я обнимал уцелевших, которые, как говорится, отделались испугом. Худо-бедно жизнь продолжалась, однако…

Ведь мы ничего не знали друг о друге. «Наш мальчик вернулся», — говорил отец всем, кто выходил из автобуса или садился в автобус, отправлявшийся в Бергхайм. Но я уже не был мальчиком, которого он провожал на данцигский Главный вокзал, когда в некоторых костелах, казалось, вечного города, будто прощаясь, зазвонили колокола.

Местные власти подселили родителей с сестрой к зажиточному крестьянину. Подселение было принудительным, ибо добровольно никто не хотел пускать к себе беженцев и депортированных. Особенно там, где война не нанесла заметного ущерба, где дом, хлев и иные хозяйственные постройки прочно зиждились на фундаменте наследственного права, а с крестьянской головы не упал ни единый волос, хозяева никак не желали признавать тот факт, что они, некогда приветствовавшие победоносное начало войны, проиграли ее вместе с пострадавшими.

Лишь под нажимом властей хозяин подворья предоставил моим родителям поделенное надвое помещение с бетонным полом — бывшую кормовую кухню для свиней.

Жалобы не помогали. «Возвращайтесь туда, откуда пришли!» — гласил ответ крестьянина, сидевшего на своем гектаре земли и бывшего не менее ревностным католиком, чем тот, от которого я сбежал весной минувшего года. Всюду чувствовалось недоверие, а то и устойчивая враждебность по отношению к чужакам или, как здесь говорили, к «пришлым».

Царил холод. Наше жилье никак не соответствовало погодным условиям, от бетонного пола, не утепленного подвалом, сквозило. Небольшой запас поздней картошки подмерз. На мягких оттаявших клубнях оставались вмятины от пальцев. Варишь ли картофелину в мундире или чистишь ее, она делается стекловидной, водянистой, противно сладковатой. От соседнего свинарника несло вонью, внутри нашей кормокухни на стенах поблескивал иней.

Мы спали в одном помещении. Сестра на кровати с матерью, а сын с отцом. Здесь было еще теснее, чем в мои детские годы, когда мы жили в лангфурской двухкомнатной квартире и занимали спальню вчетвером; да еще там была кафельная печка. А здесь имелось нечто вроде прихожей, где стояла чугунная печка с плитой, к которой мы жались вечерами. Усевшись рядом, мы предпочитали спасительное молчание, ибо в беседах многое недоговаривалось.

Чугунку топили обломками угольных брикетов, принесенных отцом в рюкзаке с работы. Он подыскал себе место вахтера на проходной конторы при ближайшем угольном карьере. Сыграл свою роль четкий, разборчивый почерк. Теперь отец вел контрольно-учетный журнал, регистрируя приходящих на работу и уходящих с нее.

Обломки брикетов выдавались в качестве натуроплаты. Когда родителям удалось наконец получить квартиру в поселке Оберауссем неподалеку от карьера, натуроплата «черным золотом» возросла, а продолговатые, яйцеобразные брикеты даже выдавались целыми.

Предприятие, на котором нашел работу отец, обслуживало теплоэлектростанцию. Она дымилась множеством труб и именовалась «Фортуна Норд», как позднее была названа глава из «Жестяного барабана», где речь шла о перезахоронении трупа на кладбище шахтерского поселка Оберауссем; по мере того, как труп откапывали, Оскар Мацерат произносил почти гамлетовский монолог с вопросом: «Жениться или не жениться?»

Прошло около недели после моего неожиданного возвращения если не домой, то к семье, когда отец, нагруженный обломками брикетов, пришел с работы и объявил, по его мнению, «добрую весть». «Сынок, — сказал он, — мне предложили для тебя место ученика в конторе. На самом верху, рядом с начальством. Там хорошо, тепло…»

Он говорил еще что-то, не без гордости за удачу и с отеческой заботой, только не ведал об экстравагантных помыслах сына, который слушал его без радостного блеска в глазах.

Вероятно, прозвучал аргумент, не раз встречавшийся мне позднее в экономических разделах солидных газет: «За угольной отраслью — будущее!» И уж наверняка последовал неопровержимый довод: «Радуйся, что тебя вообще берут учеником, ведь школу ты не закончил…»

До чего же, видимо, был разочарован мой заботливый отец, когда вместо благодарности услышал от сына лишь смех. Боюсь, я действительно высмеял тогда отца, настолько нелепым

показалось мне его предложение.

«Я — конторщик? Смех и только! Я же сбегу через три недели, да еще почтовые марки прихвачу или еще что-нибудь. Уголовником хочешь меня сделать?»

А далее неблагодарный отпрыск поведал о своих настоящих планах.

Но каких? Может, перспектива работы в конторе, возникшая стараниями заботливого отца, и заставила меня определиться с моими планами?

Я располагал пачкой рифмованных и белых виршей — дочка горного мастера аккуратно перепечатала некоторые из законченных стихов на машинке, — доброй дюжиной рисунков с весьма достоверными портретами моих солагерников или соседей по шахтерскому бараку, но еще больше зрительных образов роилось в моей голове, которая всегда была полна ими; эти образы были готовы обрести вид скульптур, камерных или монументальных, изображающих одетых или обнаженных людей, стоящих на длинных ногах или упавших, горестно согбенных, получеловеческих или полузвериных существ; я хотел стать художником, который из простой глины создает фигуры, объемные, осязаемые со всех сторон и доминирующие в окружающем их пространстве.

Нечто подобное, теперь уже без смеха, я и изложил отцу, который тут же сказал, что подобными «художествами» не проживешь, назвав мои планы «бредовой и навязчивой идеей»; он говорил взволнованно и громко, таким я его никогда не видел.

Мама не раз сокрушалась в нашем новом жилье с непобеленными стенами, что не сняла со стены лангфурской квартиры олеографию бёклиновского «Острова мертвых», не вынула ее из рамки, не свернула в трубочку и не присовокупила к убогому семейному скарбу беженцев; она, практичная, деловая женщина, боготворила искусство, она видела во мне, уцелевшем по счастливому велению судьбы, искру дарования собственных рано погибших братьев и разделяла опасения супруга, однако, с другой стороны, не хотела расставаться с надеждой, что ее сыночек создаст когда-нибудь нечто прекрасное, даже грустно-прекрасное, или нечто прекрасное в своей грусти, не хотела расставаться с надеждой, которую втайне лелеяла и которая вызывала у нее улыбку, когда я рассказывал ей о моих грандиозных планах и осыпал ее радужными обещаниями.

Вскоре ее улыбка уступила место страхам, вызванным пережитыми в недавнем прошлом ужасами. Сидя у чугунной печки за вязанием носков из некрашеной шерсти для хозяйских детей — за носки с ней расплачивались ржаной мукой и овсяной

кашей, — мама начинала боязливо сомневаться в осуществимости моих мечтаний, которым она только что улыбалась: «А ты сам-то веришь, сынок, что искусство тебя прокормит?»

В какой-то газете — или, может, уже был иллюстрированный еженедельник? — я наткнулся на статейку с фотографиями, рассказывающую о том, что в находившейся не так уж далеко от нас Дюссельдорфской академии искусств возобновили свои занятия некоторые мастерские. Статья вышла минувшим летом. Фотографии запечатлели профессора с челкой, окруженного учениками; его звали Эвальд Матаре, он вел класс скульптуры.

На другой фотографии была скульптура самого Матаре: лежащая корова, простые формы, маме понравилось. «Только как ты поступишь в академию без аттестата? Ни за что тебя туда не примут».

Меня это не беспокоило. Меня вообще ничего не беспокоило. Спустя десятилетия, когда мои сыновья и дочери также отправились собственной дорогой или окольными путями — например, Лаура, несмотря на явный талант, не захотела становиться художницей, а предпочла гончарное ремесло, к которому и прикипела, — я вспомнил, насколько опрометчиво ринулся на свободу из тесноты нашего вынужденного пристанища, а эта теснота теперь усугублялась еще и спорами между отцом и сыном; я даже не задумывался о рискованности своего шага.

Так закончилась краткая интермедия моего возвращения к родителям, от которой страдали все, особенно «папина любимица», моя сестра Вальтраут, которая представляется мне теперь, при взгляде назад, симпатичной, веселой, даже дурашливой и вроде бы не обремененной сложными душевными переживаниями. Косичек уже не было, волнистые волосы доходили до плеч. Кем она могла стать, кем должна была стать? Пока она мне казалась всего лишь наивной. По ней было действительно незаметно, что ей довелось пережить, а возможно, и выстрадать в Данциге, когда туда «пришли русские». Об этом не говорилось.

Примерно через три недели семейной жизни я с небольшой поклажей — матросским мешком — ушел в утренних сумерках по сугробам, над которыми то крутилась поземка, то парили медленные снежные хлопья. Моей целью была находившаяся километрах в четырех железнодорожная станция Штоммельн. Ориентироваться я мог только по телеграфным столбам. С трудом продвигаясь вперед, я шел, чтобы — взалкав искусства — утолить мой третий голод.

Третий голод

Перед ним с юности оставались бессильными и аскетизм — мое самоограничение, не признававшее ничего, кроме черного и белого цвета, — и разгул, заливавший собой любой лист бумаги. Его не могло одолеть даже пресыщение, когда от слов уже тошнило. Все ему было мало. Мне постоянно хотелось большего.

Обычный, всем известный голод можно хотя бы на несколько часов приглушить даже жидким свекольником с редкими глазками жира, даже подмороженной картошкой; плотское желание — этот неожиданный зуд, этот приступ похоти налетает, как пес с высунутым языком, которого, однако, не отзовешь свистом, — поддается укрощению с помощью случайных знакомств или быстрого рукоблудия; но мой эстетический голод, потребность запечатлеть все, что стоит или движется, любой предмет, который отбрасывает тень, и даже невидимую сущность, вроде Святого Духа или его заклятого врага — капитала, имеющего свойство стремительно исчезать, запечатлеть все, даже если речь идет о папском кредитном учреждении Banco di Santo Spirito, которое я изобразил как святилище разврата, украсив его портал соответствующими скульптурами, — эта потребность

присваивать себе все в виде образов была неутолима, она заявляла о себе днем и ночью, но мое желание заниматься искусством, учиться тому, что я в своей ограниченности считал искусством, пока откладывалось; преградой служили обстоятельства зимы сорок шестого — сорок седьмого года.

Дойдя по сугробам, по колено в снегу, — промерзший и потный одновременно — до железнодорожной станции Штоммельн, я купил билет в одну сторону и уехал от семьи, едва найдя маму, отца и сестру, а после тягомотной езды поездом, который останавливался на каждой станции, прибыл в Дюссельдорф, где меня никто не встречал с распростертыми объятьями.

Расспрашивая прохожих, я добрался пешком — трамваи не ходили то ли из-за снежных заносов, то ли из-за отсутствия электричества, но сам город пострадал от бомбежек меньше, чем Кёльн, Ганновер или Хильдесхайм, — до массивного здания Академии искусств; мрачное сооружение на окраине Старого города оказалось открытым, хотя в вахтерке у дверей не было никого, кто приветливо сказал бы: «Добро пожаловать!» или: «Мы давно тебя ждем».

Поначалу я стучал в дверь, затем потянул за ручку и пошел по коридорам мимо закрытых классов и мастерских, поднялся по лестнице, опять спустился.

Все еще слышу собственные шаги, вижу, как в многоэтажном здании, превратившемся в ледник, порхает парок моего дыхания. Не желая сдаваться, подбадриваю себя словами: «Держись, не вешай нос! Вспомни своего приятеля Йозефа, который говорил: не полагайся на милость небес!..», как вдруг на обратном пути мне встречается само Искусство в лице пожилого человека, типичного художника, каким его изображало немое кино. Изо рта у него тоже вылетал белый парок.

Лишь спустя два года я узнал, кем был встреченный старик, кутавшийся в черную пелерину, обмотанный черным шарфом, в широкополой черной шляпе из фетра; на самом деле ему было всего лет пятьдесят, звали его Энзелинг. Он числился профессором Академии искусств, имел право на пожизненную пенсию. Вероятно, он навещал свою мастерскую, где стыли большие, в человеческий рост, жутко белые гипсовые фигуры нагих людей обоего пола. А может, он всего лишь хотел сменить холод собственной квартиры на стужу академии.

Он тотчас остановил меня вопросом: «Что вы тут ищете, молодой человек?»

Мой ответ последовал незамедлительно: «Хочу стать скульптором», или что-нибудь вроде: «Желаю посвятить себя

искусству!»

Обернусь назад на минуту, обращусь к луковице. В конце концов, здесь принималось судьбоносное решение, речь шла о том, что делать; более того, решалось — быть или не быть. Что скажет об этом влажная кожица?

Возможно, я обрушил на фигуру в черном мои познания из истории искусств, благоприобретенные в юные годы с помощью сигаретных купонов. Но сколько бы я ни пытался припомнить ту встречу в промерзшем фойе академии, тогдашние стойкие холода не дают оттаять репликам из состоявшегося разговора. Дословно слышится лишь отрезвляющее замечание профессора: «Академия закрыта из-за отсутствия угля».

Эти слова прозвучали окончательным приговором. Однако некто, кем, несомненно, был я, не позволил себя обескуражить. Я твердил о желании посвятить себя искусству, и эта риторическая фигура настолько заполонила собой гулкое пространство, что профессора, в котором только глаза юности могли углядеть старика, похоже, убедила сила моего эстетического голода.

Он принялся задавать вопросы. Мой возраст, девятнадцать лет, не вызвал возражений и был, видимо, сочтен подходящим. Место рождения, столь значимое, осталось без комментариев. Вероисповедание вообще не заслужило вопроса. Сообщение о том, что в школьные годы я занимался на вечерних любительских курсах при данцигском Техническом училище у известного художника-анималиста Фрица Пфуля, который замечательно писал лошадей, и немного научился рисовать с натуры, не побудило профессора одобрительно хмыкнуть. Не захотел он слышать и о моем своевременно оборванном, скоротечном, но вполне достаточном знакомстве с войной. К счастью, не последовало ни единого вопроса об аттестате зрелости, открывающем все дороги и двери.

Вместо этого профессор Энзелинг ограничился краткими указаниями, которые отправили меня кратчайшим путем — налево, потом направо и еще раз направо — на Аллею Гинденбурга, где находилась Служба трудоустройства.

Он порекомендовал мне подыскать там место ученика каменотеса или камнереза. Такой работы всегда хватает. Надгробья пользуются спросом в любое время.

Под конец этой профориентации мой профессор выступил пророком, хотя и безбородым, но вполне убедительным: «Завершив профессиональную подготовку, молодой человек, обращайтесь снова к нам. Уголь к тому времени наверняка появится».

Именно так и не иначе. Я решил после войны не подчиняться

ничьим приказам, но посчитал для себя полезными советы опытного старшего ефрейтора; я, обожженное дитя войны, неизлечимо пораженное духом противоречия, я, не без труда научившийся не верить любым обещаниям, я — кем бы я ни был тогда — исполнил данный профессором наказ, хотя и не совсем вслепую. Пророк действительно подсказал единственно верный путь. И этот путь, кем бы он ни был подсказан, не мог миновать Службу трудоустройства. Сказано — сделано.

Ах, если бы сейчас, когда мои внуки, завершая учебу, не знают, что делать дальше, и обращаются ко мне за советом, я мог бы дать им столь же простую и надежную подсказку:

«Луиза, прежде чем предпринять такой-то шаг, сделай, пожалуйста, сначала…»

«Ронья, с аттестатом или без, но тебе надо…»

«Лукас и Леон, настоятельно рекомендую вам…»

«А ты, Розана, могла бы…»

Во всяком случае, через полчаса в Службе трудоустройства мне выдали официальный бланк с печатью, на котором значились вписанные от руки адреса трех мастерских, занимавшихся обработкой камня. Все они изготовляли надгробия, а потому находились неподалеку от городских кладбищ. Обошлось без особой бюрократии. Свидетельством об окончании школы никто не поинтересовался.

Воспоминания на удивление капризны: вдруг растаял снег, спали морозы. Прекратились отключения электричества, даже пошел трамвай. Я осел неподалеку от Верстенского кладбища в первой же мастерской, куда обратился, поскольку у ее владельца Юлиуса Гёбеля работал старый скульптор по фамилии Зингер, который как раз ваял распятого Христа с роскошной мускулатурой, — повернув голову влево, Христос, высеченный в виде барельефа на большой плите, страдал настолько натурально, что пройти мимо было просто невозможно.

Не то чтобы меня восхитил высеченный из диабаза атлетический страстотерпец, но привлекательной показалась сама возможность приобрести хорошие профессиональные навыки. Я договорился о приеме в мастерскую, хотя Гёбель — одетый не в рабочий комбинезон, как подобает представителю профессионального цеха каменотесов, а в выходной костюм; да и позднее он почти никогда не прикасался к камню, не сделал по нему ни одного удара — сказал, что для начала моего ученичества мне будут поручать лишь самые простые виды работ по оттеске камня.

Он, похожий скорее на велеречивого торговца надгробиями, а

не на мастера-каменотеса, показал будущему практиканту готовые могильные камни, которые выстроились рядами перед мастерской в ожидании скорбящей клиентуры. Ученик счищал с поставленных вертикально плит и без того тающий снег.

На камнях еще отсутствовали имена покойников и даты их смерти. Сами камни были матовыми или отполированными до блеска, каждый из них — и метровые стелы, и лежачие или стоячие плиты — имел свою цену. Любой из родственников или близких усопшего мог выбирать — у Гёбеля или в нескольких каменотесных мастерских, которые расположились вдоль улицы Биттвег, — из довольно богатого ассортимента. Коммерция на бренности человека, а проще говоря, на смерти процветала, благодаря оживленному спросу даже во времена всеобщего дефицита.

Гёбель назвал мне разные сорта мрамора и гранита, объяснил различия между песчаником и известняком, посетовал на отсутствие новых поставок из каменоломен, показал старые надгробия, которые лежали в сторонке среди бурьяна и ждали повторного использования, после того как устаревшие надписи будут стесаны. Он перечислил наименования некоторых инструментов, пожаловался, что уже несколько лет нет поставок зубил с наконечниками из особо твердых сплавов; такие наконечники, как известно, весьма дороги и продаются только за валюту, поскольку изготавливаются в Швеции.

О таких инструментах, как бучарда, долота и шпунты, о силезском мраморе, бельгийском граните, травертине и известняке я написал целую главу, только случилось это позднее, гораздо позднее, когда мне удалось опорожнить на бумагу самого себя, слово за словом; в этом смысле я просто ограбил мастерскую на кладбище, как профессиональный осквернитель могил. Что поделать, литература живет за счет оторванной пуговицы или ржавого гвоздя от подковы, за счет бренности человека и тем самым за счет выветрившихся надгробий.

Поэтому, странник на жизненном пути, на окольных дорогах к искусству, на узкой тропе меж поэзией и правдой, я неизменно спотыкался о «Жестяной барабан»; эта книга начала отбрасывать свою тень еще до того, как была заключена в переплет и разошлась по всему миру.

Например, на бумаге — она, как говорится, все стерпит — я забрал старшего подмастерья Корнеффа из фирмы Гёбеля и сделал его хозяином собственной мастерской, где Корнефф стал обучать горбатого героя моего Первого романа, как с помощью бучарды, долота и шпунта превратить грубую глыбу, только что

доставленную из каменоломни, в гладко обтесанную, а потом отполированную метровую стелу для одиночной могилы; мой словоохотливый герой Оскар Мацерат, которому осточертело зарабатывать себе на жизнь спекуляциями на черном рынке, оказался таким же понятливым учеником, как и я, начавший — без горба и пригодной для романа биографии — работу в качестве практиканта.

Что только не служит предметом повествования!

Примером того, как прожитая жизнь становится исходным материалом для художественного текста, который после множества корректур успокаивается лишь в напечатанном и изданном виде, можно считать старый надгробный камень, из тех, что по истечении положенного срока был снят с могилы и теперь лежал рядом с другими такими камнями за мастерской. По распоряжению мастера Гёбеля с камня начисто стесывалась прежняя надпись, после чего на лицевой стороне уже ничто не напоминало о человеке по имени Фридрих Гебауэр (1854–1923). Затем с помощью различных инструментов поверхность диабаза отшлифовывалась до нового блеска, и на ней высекалось очередное имя, даты жизни и смерти, увековеченные таким образом опять на положенный по закону срок; повторное использование камня — залог того, что наше посмертное существование ограничено во времени. Имена меняются, но сохраняются надписи, вроде: «Смерть — врата жизни»; они остаются в рамке, их не нужно стесывать, не нужно уничтожать.

И точно так же, как есть что сказать о вроде бы отслужившем свое и вновь воскрешенном материале, кое-что можно поведать и о живых персонажах, но я пока ограничусь лишь фигурой старшего подмастерья Корнеффа, хотя не уверен, что таковым было его настоящее имя.

Он действительно страдал фурункулезом. Особенно на загривке виднелись рубцы от зажывших фурункулов. Всякий раз по весне, в том числе и весной сорок седьмого, там вызревали гнойные нарывы величиной с голубиное яйцо, из которых выдавливалась целая рюмка гноя. Когда у Корнеффа начинали набухать фурункулы, наглые ученики камнерезных мастерских на улице Биттвег принимались распевать на мотив известной детской песенки: «После зимней спячки, у Корнеффа болячки…»

Правда и то, что Гёбель, без особой выдумки названный в романе Вебелем, запечатлел свою фамилию крупными буквами на вывеске фирмы. Будучи больше коммерсантом, нежели мастером-камнерезом, он спустя несколько лет прикупил в Хольтхаузене солидную фабрику, где распиливались плиты, — травертином он облицевал несколько фасадов, а мрамором выложил полы в

нескольких новостройках; его коммерческий взлет в годы «экономического чуда» мог бы сам по себе послужить занимательной историей.

Фирма Гёбеля, с которой я подписал договор о том, что поступаю туда практикантом, привлекла меня еще по одной причине: кроме смехотворной ежемесячной платы в размере ста рейхсмарок — такую же сумму платил скупой огородник Корнефф поступившему к нему на обучение Оскару, — мне, накопившему богатый опыт недоедания, был обещан дважды в неделю овощной суп с мясом, причем при желании гарантировалась добавка.

Жена Гёбеля варила эти супы, которые приправляла разными травами, в жилом доме, который примыкал непосредственно к мастерской. Она выглядела волоокой матроной, ей весьма шли уложенные венком косы, как их некогда носила рейхсфрауэнфюрерин Гертруд Шольц-Клинк. Несмотря на бездетность, госпожа Гёбель заслужила бы в прежние времена Золотой крест матери, настолько заботливо пеклась она о насыщении своих едоков.

Надгробный камень, проданный крестьянам с левого берега Рейна, приносил в качестве натуроплаты десять кило бобовых, окорок и несколько неощипанных кур. За красный майнский песчаник для двойного надгробия давали откормленного барана, чьи ребра и лоскуты брюшины шли на приготовление густого овощного супа. Плита на детскую могилу стоила пары гусей; нам доставалась наваристая похлебка с гусиными потрохами — крылышками, шейкой, сердцем и желудком.

Госпожа Гёбель кормила всех, кто глотал пыль под крышей мастерской, а к их числу относились трое худосочных учеников, двое подмастерьев — выходцев из Силезии, которые специализировались на шрифтах, старший подмастерье Корнефф, скульптор Зингер и я, самоуверенный новичок; один из силезских братьев сразу же посоветовал мне не мнить себя кем-то особенным, тем более будущим скульптором.

Позднее он рассказал мне о Бреслау — поначалу целом, затем пережившем тяжелейшие бои и под конец совершенно разрушенном. При этом он сожалел не столько о бесчисленных жертвах, о валявшихся на улицах трупах, которые собирались похоронными командами и закапывались в братских могилах, сколько о том, что этим покойникам не понадобились надгробные памятники.

Силезские братья были начитанны. Они знали наизусть стихотворные изречения Ангелуса Силезиуса и могли высечь на камне его строки:

Стань сущим, человек: исчезнет этот свет,
И Сущее сведет случайное на нет.

Так меня приняли на фирму Гёбеля. Проблемой оставалось жилье. Весь мой скарб умещался в матросском мешке и холщовой солдатской котомке-«сухарке», все еще висевшей у меня через плечо, что красноречиво свидетельствовало о бездомности практиканта. Но проблема быстро разрешилась, поскольку с материнской стороны я все-таки числился католиком и на вопрос Гёбеля о религиозной принадлежности правильно назвал единственно истинное вероисповедание.

Судя по всему, Гёбель позвонил из своей конторы прямо Господу, отрекомендовал меня в высших сферах как приверженца правильной веры, благодаря чему буквально через минуту мне нашлось место для ночлега, пусть не в раю, но в одном из его филиалов, каковым являлся приют организации «Каритас» в дюссельдорфском районе Ратер-Бройх.

От трамвайной остановки на улице Биттвег, где, как уже упоминалось, находилось несколько мастерских по обработке камня — в том числе специализирующаяся на песчанике и базальте мастерская Моога, которая выведена в «Жестяном барабане» под названием «Фирма С. Шмоог», — я быстро добрался с одной пересадкой до моего будущего жилья на площади Шадовплац. Похоже, мама помолилась моему ангелу-хранителю, так что все чудесным образом утряслось без каких-либо усилий с моей стороны.

Охотно и совершенно бесплатно воспоминание предлагает на выбор богатый ассортимент событий, которые происходят одновременно; рассказчику приходится решать, продолжить ли повествование о мастерской по обработке камня или лучше заняться рассмотрением изломов моего внутреннего мира? Или может, стоит вернуться к данцигским кладбищам, которые позднее послужат темой повести «Ука»? Пожалуй, сначала все-таки следует устроиться на жилье.

Приют благотворительной организации «Каритас» в дюссельдорфском районе Ратер-Бройх содержали монахи-францисканцы. Три или четыре священника и дюжина простых монахов обслуживали это заведение, располагавшееся неподалеку от разбомбленных заводов концерна «Маннесманн»; когда-то оно давало пристанище странствующим подмастерьям, но со

временем сюда все чаще попадали обычные бездомные или же одинокие старики. В двадцатые годы здесь у монахов жил даже знаменитый серийный убийца Петер Кюртен. Комплекс зданий за низкой кирпичной оградой и забором удивительным образом уцелел, надобность в этом приюте никогда не иссякала, поэтому он продолжал служить делу милосердия, пережив смену политических режимов, как в мирные, так и в военные времена: приток ищущих пристанища не прекращался.

Настоятелем приюта был отец Фульгентиус. Когда я обратился к этому суровому мужчине средних лет, в рясе, он не стал интересоваться крепостью моей веры, а сразу повел к затхло пахнущим сундукам с пожертвованной одеждой, поскольку захотел приодеть новичка — молодого человека в перекрашенной военной форме. К тому же для работы в мастерской Гёбеля мне понадобился комбинезон, так как шахтерские шмотки сцепщика сильно истрепались.

Приоделся я с ног до головы. Настоятель даже выудил из сундука кальсоны и две рубахи на смену, а также связанный из разноцветных остатков шерсти свитер, который еще долго согревал меня. Сверх того отец Фульгентиус вручил мне галстук в красный горошек на синем фоне. «Воскресный!» — сказал он, намекая на посещение воскресной службы в часовне при приюте.

Все пришлось впору. Похоже, выглядел я теперь отменно, ибо, заглядывая в платяной шкаф моей памяти, я вижу там отутюженные выходные брюки, а также свой первый послевоенный пиджак с явно угадываемым рисунком «в елочку».

Размещение в жилом тракте солидного сооружения, построенного в восьмидесятые годы девятнадцатого века, не принесло с собой ничего нового — все оказалось лишь вариацией привычных обстоятельств. Мне отвели спальное место, каким оно уже бывало у юного зенитчика, рядового службы труда, мотопехотинца, военнопленного и, наконец, шахтера-сцепщика: верхняя койка двухъярусных нар. Вместе с еще четырьмя такими же двухъярусными нарами они стояли в помещении без окон, которое, как выяснилось к вечеру, занимали ученики мастерских и студенты — одни немного моложе меня, другие чуть постарше. У всех, как и у меня, в голове — девки, постоянный разговор о бабах и их телесном устройстве. Наверное, кое-кто мог бы найти утеху с податливой девицей в соседнем Графенбергском лесу, однако зимой сорок седьмого все было сковано затяжными морозами.

Кстати, отсюда шли пешеходные дорожки к специальному лечебному учреждению, где несколько лет спустя некий пациент попросит санитара Бруно принести «пятьсот листов невинной

бумаги», что обернется далеко идущими последствиями.

Наша комната с ее неистребимым запахом молодых мужчин не имела окон, поскольку находилась в центре здания, зато изрядно протапливалась и хорошо держала тепло; к ней притулилась келья монаха, имя которого я позабыл. Сам же монах, высокий, вечно куда-то спешащий, в коричневом балахоне, запомнился мне до мельчайших деталей.

Нам он казался ангелоподобным, а у его всегда покрасневших глаз, которые хоть и следили за вполне мирскими делами, вроде раздачи хлеба, бывало такое выражение, будто он лицезрит Деву Марию. Он подпоясывался вервием, на котором висела связка ключей, оповещавшая об его приближении за два коридорных колена. Он неизменно бежал, спешил, будто по срочному вызову. Никто не знал, на какое количество замков распространяется его владычество.

Этот монах жил словно вне времен, поэтому и не поддавался уточнению его возраст; он осуществлял ненавязчивый и дружелюбный, но неусыпный надзор не только над нами, кому прибитый к дверям листок с внутренним распорядком запрещал «визиты женщин», но и над соседним залом, полным тяжело дышащих и хрипящих стариков. Их было около сотни — уж, во всяком случае, не меньше семидесяти. Койка к койке, умирающие и вновь прибывающие постояльцы олицетворяли собой дом для престарелых, который содержался организацией «Каритас».

Через откидное окошечко своей кельи монах-надзиратель днем и ночью приглядывал за залом, где безжизненно лежали старики, чей покой нарушался лишь эпидемическими приступами кашля или внезапными ссорами.

До поздней ночи, перед тем, как заснуть, мы слышали голос монаха; он говорил со стариками через смотровое окошечко, увещевал их, словно малых детей.

Иногда безымянный монах позволял и мне заглянуть в смотровое окошечко. То, что я видел там, бренность человеческого существа, настолько живо запечатлелось во мне, что я и сам вижу себя лежащим на одной из семидесяти или сотни коек с неизлечимо хроническим кашлем заядлого курильщика под присмотром ухаживающего за мной монаха. Иногда, когда, несмотря на запрет, я раскуриваю под одеялом трубку, он тихо, но строго распекает меня через окошко.

По другую сторону нашей спальни находилась открываемая только монахом-надзирателем дверь в столовую стариков. Высокие окна столовой выходили во двор, который летом затеняли каштаны. Под каштанами стояли скамейки, их всегда занимали старики, страдающие хроническим кашлем или астмой.

К завтраку два монаха, обслуживающих кухню, приносили на стол большую кастрюлю молочного супа с манкой. Он готовился из сухого молока, который присылали из Канады францисканские собратья. Сколько мы ни жаловались, суп всегда подгорал. Этот привкус — то слабый, то резкий — до сих пор всплывает в памяти.

Приют «Каритас» в дюссельдорфском районе Ратер-Бройх обеспечил мне на несколько лет дешевую еду и кров над головой, поэтому могу сказать, что вплоть до денежной реформы и даже после этого поворотного события завтрак неизменно состоял из уже упомянутого молочного супа, двух ломтей серого хлеба, кусочка маргарина и — в зависимости от снабжения — сливового мусса, искусственного меда или похожего на резину мягкого сыра.

Иногда по воскресеньям и всегда по большим церковным праздникам — например, на праздник тела Христова — полагалось вареное яйцо. Тогда к обеду подавали котлеты или куриное фрикасе и даже сладкое желе или ванильный пудинг. Зато ужин бывал однообразным, а потому вспомнить нечего.

По будням студенты, отправлявшиеся на лекции, и ученики с практикантами, уходившие на работу, получали судок с обеденным рационом, вкус у которого был слишком одинаково неопределенным, чтобы назвать ингредиенты того, что содержалось в судке.

Наши продуктовые карточки забирала кухня. Впрочем, мы не голодали. Нам выдавали лишь талоны на одежду и табачные изделия.

Обеспечиваемый подобным образом, я изо дня в день ездил на работу. По сравнению со всеобщей нуждой за пределами приюта «Каритас», жилось мне довольно неплохо, если бы только не мой второй голод, который особенно сильно давал о себе знать и донимал меня во время трамвайных поездок.

Всегда переполненный трамвай шел из Рата, останавливался неподалеку от приюта, затем со звонком тормозил у каждой остановки — и так до площади Шадовплац, где я пересаживался на трамвай, который направлялся к Билку и Верстенскому кладбищу.

Сидячее место мне никогда не доставалось. В вагоне теснились невыспавшиеся и бодрые, молчаливые и болтливые пассажиры обоего пола. Я видел, обонял, слышал все, что звучало на рейнском диалекте: типичное для послевоенных лет преобладание женщин над мужчинами, запах поношенной одежды, местные шутки, анекдоты и сплетни.

Отчасти по собственному почину, отчасти подталкиваемый другими, я пробирался к молоденьким девушкам, или меня прижимали к взрослым женщинам. Даже если меня не притискивало к ним вплотную, мои брюки касались женской одежды. При каждом торможении или ускорении материя сближалась с материей, тело с телом.

После зимних пальто и курток на вате наступила весенняя пора осязаемо тонких тканей. Коленка упиралась в коленку. Соприкасались голые локти, ладони, поднятые над головой к высоким поручням.

Не удивительно, что за полчаса езды до работы мой и без того живущий самостоятельной жизнью, да к тому же легковозбудимый пенис приобретал полустоячее или стоячее положение. Пересадка не слишком помогала, брюки по-прежнему оставались ему тесны. Я старательно пытался отвлечь мысли на что-нибудь другое, но он не успокаивался. Насытившись утренним молочным супом, я тем острее переживал другой голод.

И так изо дня в день. Я постоянно испытывал смущение и страх, что восстание будет замечено и что окружающие возмутятся, начнут громко негодовать.

Но никто из оказавшихся рядом пассажирок возмущения не выказывал. Никто не обращался к кондуктору, нашептывая ему жалобы на ухо и указывая глазами на меня. Лишь обладатель своевольного повстанца сознавал свое бессилие перед лицом бунта, происходившего в собственных штанах.

Со временем пассажиры начинали узнавать друг друга. Они в одно и то же время садились в трамвай, который довольно точно придерживался расписания. Взаимные мимолетные улыбки мягко слетали с губ и появлялись вновь. Люди приветствовали друг друга легким кивком и, оставаясь чужими, знакомились все ближе. Из болтовни девушек и женщин, часто прерываемой хихиканьем, я узнавал или догадывался, что они работают продавщицами в универмаге, служат на телефонной станции, стоят у конвейера на заводе концерна «Клёкнер», сидят в конторах. Я целенаправленно проталкивался к тем, кто работает, и редко теснился возле домохозяек.

Начиная с осени ежеутренняя толчея сводила меня с двумя студентками театрального училища. Обе одевались ярко, разговаривали громко, не обращали внимание на окружающих, обсуждая «Гамлета» и «Фауста» в постановке прославленного Густава Грюндгенса, судача о знаменитой Элизабет Фликеншильдт и еще более популярной Марианне Хоппе, то есть о тогдашних звездах театрального Дюссельдорфа: мастере перевоплощения, который приобрел сомнительную репутацию,

актрисе, отличавшейся строгой сценической выучкой, и второй актрисе, моем кумире, фильмами которой я восхищался со школьных лет.

Ежедневно прислушиваясь к театральным сплетням, я чувствовал, как оживает мой третий голод — тяга к искусству; мне хотелось присоединиться к разговору о комедии Грабе «Шутка, сатира, ирония и глубокий смысл», которая, видимо, значилась в репертуаре городского театра, однако я помалкивал и лишь прижимался к плоским, костлявым — сообразно малокалорийному времени — девичьим телам, а болтуньи, увлеченные разговором, не замечали, что происходит с ними, благодаря моему интересу к содержанию их болтовни, в моем безудержном воображении — с каждой по отдельности или с обеими сразу.

Обе мечтали сыграть Гретхен в «Фаусте» или клейстовскую Кетхен из Хайльбронна. Им удавалось произносить раскатистое «р-р-р» точно так же, как это делала Фликеншильдт. Однако походить на Марианну Хоппе не получалось, не тот формат. Болтали они без удержу. Но со мной не обменялись ни словом.

Когда позднее Грюндгенс поставил в переоборудованном кинотеатре сартровскую пьесу «Мухи», я, будучи зрителем, вроде бы углядел среди беспокойного хора, одетого в костюмы насекомых, моих плоскодонок.

А еще я толкался с секретаршами и телефонистками, которых давка прижимала ко мне, заставляя испытывать неловкость и сладостное мучение. Лиц почти не помню. Но у одной из девушек, к которым я прижимался, были удивительно широко посажены глаза, безучастно глядевшие куда-то мимо меня.

Лишь при виде до блеска отполированных надгробий, стоявших рядами во дворе мастерских по обработке камня на улице Биттвег, при взгляде на высеченные имена и даты утихало возбуждение от ежеутренней получасовой поездки на трамвае. Ослабевал и привкус подгоревшего молочного супа.

Судок с едой я сдавал жене мастера, которая, забрав судки у скульптора Зингера, старшего подмастерья Корнеффа, силезских братьев-шрифтовиков и худосочных учеников, разогревала обеды в чане с кипятком.

Лишь по вторникам и пятницам я ездил на работу без судка в котомке-«сухарке». Это были дни, когда нас кормили сытными и вкусными супами, но ученикам и мне они доставались не даром, причем плата взыскивалась безотлагательно.

Сразу за складом камней жена мастера — она была родом из крестьян с левого берега Рейна и, судя по всему, любила животных — устроила что-то вроде клети, где наряду с пятком

леггорновских кур содержала козу, которая якобы давала молоко, а потому ежедневно нуждалась в зеленом корме. Белая лохматая коза имела розовое вымя. Козья мимика характеризовалась крайним высокомерием. Хоть я и сомневаюсь, что эта коза давала молоко, однако обращение к луковице подтверждает: жена мастера и впрямь сдаивала тугое козье вымя.

Каждый день ученики или я тащили на веревке козу туда, где, постоянно обновляясь, росла трава. Между надгробными камнями на складе зелени не было, там гуляли куры, послужившие мне мотивом для стихотворения «Пернатые на Центральном кладбище», зато травой можно было поживиться за оградой.

Когда же на обочине улицы Биттвег коза объедала всю траву и даже крапиву, приходилось отправляться на выпас вдоль железнодорожного полотна, которое тянулось к Верстену и далее на Хольтхаузен. Зеленого корма по обеим сторонам железной дороги хватало на много дней.

Ученики — «мальцы», как их называл Корнефф, — не видели никакой проблемы в исполнении своей обязанности, которая состояла в том, чтобы оттащить высокомерное животное к месту кормежки, хотя на это уходила немалая часть их собственного обеденного перерыва. Один из учеников, очкарик, которому трудно давалась работа с камнем, отчего позднее он перешел на почту, стал чиновником и вроде бы сделал неплохую карьеру, даже нарочно задерживался на козьей кормежке, значительно превышая время, отведенное на обед.

Для меня же походы с козой, которую вдобавок ко всему еще и звали Геновефой, оборачивались кошмаром. Мучения усугублялись наличием зрителей. Дело в том, что параллельно железнодорожным путям располагались прикрытые деревьями здания Городской больницы; подобные учреждения вообще не редкость вблизи кладбищ и мастерских по изготовлению надгробий. По дороге к главному входу и оттуда всегда мельтешило множество людей, не только посетителей, но и обслуживающего персонала.

Медсестры, поодиночке или веселыми стайками, любили отдохнуть в обеденный перерыв под сенью деревьев. Ах, их бойкий щебет! Завидев меня, молодого человека с козой, они не ограничивались улыбками.

Приходилось сносить насмешки, даже издевки. Обряженный в рабочую одежду — залатанный комбинезон, — препирающийся со своенравной козой, которая вечно тянула меня в неверную сторону да еще громко блеяла, я становился посмешищем и сам видел себя таковым. Подобно святому Себастьяну, который

притягивает к себе вражеские стрелы, я служил мишенью для обидных реплик.

Моя тогдашняя застенчивость мешала мне ответить насмешницам в нарядных белых халатиках еще более дерзкими шутками, чтобы выйти победителем из словесной перепалки. Я слишком смущался, а потому, едва ехидные медсестрички скрывались из виду, отыгрывался пинками на Геновефе.

Тот, кто мнит себя пригвожденным к позорному столбу, жаждет мести, которая, однако, почти всегда бьет мимо цели; в моем случае месть изливалась на бумаге. О, эти оставшиеся втуне язвительные шпильки, колкие реплики, в которых прячется любовный зов.

Регулярное позорище, свершавшееся в обеденное время, имело свои последствия. Герой моего романа Оскар Мацерат, страдавший нарушениями роста, попадает на ту пору, когда я откармливал козу Геновефу, в больницу, и там ему удается уговорить на рандеву приставленную к нему медсестру Гертруду, а сразу же после выписки пригласить ее на кофе с пирожным; я же никак не решался пригласить какую-нибудь медсестричку на свидание.

Оскар умел краснобайствовать, у меня же отнимался язык.

Он ухитрялся извлекать выгоду даже из собственного горба, уж тем более не лез в карман за словом; мне же ничего интересного для разговора на ум не приходило, отсюда неловкие, а потому двусмысленные жесты.

Ему удавались, оставаясь свежими, древнейшие словесные уловки соблазнения, я же давился словами, не мог сказать ничего толкового.

Ах, если бы я был так же дерзок, как Оскар! Ах, мне бы его остроумие!

Да еще меня преследовало злосчастье. Однажды, когда я уже подобрал комплимент для одиноко прогуливавшейся медсестры с личиком мадонны и даже приготовил еще несколько комплиментов про запас, навязанная мне коза начала долго и громко мочиться.

Что было делать? Потупить взгляд? Спрятаться за надгробья, которые стояли рядами по ту сторону железнодорожного полотна? Изобразить полную непричастность?

Все тщетно. Геновефа никак не прекращала затяжное мочеиспускание. Наша курьезная пара являла собой уморительное зрелище.

Я бы до сих пор краснел при воспоминании о безостановочной струе Геновефы, если бы не возможность переключиться на другие воспоминания того времени: вскоре мне

посчастливилось добиться быстрых успехов на ином поприще, а именно на танцплощадках «Ведиг» и «Лёвенбург». В качестве партнера я пользовался спросом. Этот танцевальный успех, заработанный молодыми ногами, запечатлелся в недавних стихах старого человека, который мнит себя еще достаточно ловким для «Последних танцев», пусть даже сил ему хватит только на «Tango mortale».

Танцевальная лихорадка по выходным. А в будни я учился под руководством Корнеффа наносить ровные удары деревянным молотком, который называется киянкой. Я занимался чистовой теской грубо оспицованной поверхности песчаника и бельгийского гранита. Вскоре мне удалось сделать желобковую окантовку плиты из силезского мрамора, правда, небольшой и предназначенной для детской могилы. А потом я даже рискнул резать ионики на метровом камне, заказанном для надгробия отставного профессора.

Старик Зингер научил меня пользоваться пунктирным аппаратом на треноге, переносившим точку за точкой с гипсовой модели распятого Христа на еще не обработанную базальтовую глыбу, которую мне довелось обтесывать. Подвижная игла треноги фиксировала на модели наиболее глубокие и выпуклые точки. Каждая из них переносилась с гипса на камень. После переноса всех точек камень обтесывался бучардой, потом в ход шло желобковое долото, а для более тонкой работы — долото пикообразное. Если кто-либо халтурил, Зингер сразу же пресекал это одним лишь взглядом из-под оправы очков. Он, участвовавший в молодости в создании гамбургского памятника Гинденбургу, учил меня, что у каждого камня должно быть собственное лицо.

Я набил себе долотом мозоли, которые вскоре ороговели. Мускулы окрепли, ими можно было похвалиться. Да и выглядел я как настоящий каменщик; кстати, спустя несколько лет я даже подумывал о том, что если вдруг произойдет политическая реставрация, вернется цензура и государство начнет вводить запрет на профессию для неугодных писателей, то я на худой конец смогу прокормить семью, работая каменотесом, и сознание этого обстоятельства придавало мне уверенности. Ведь, как известно, у смерти не бывает каникул, поэтому надгробия нужны всегда, даже в кризисные времена; надгробия для одноместных и двухместных могил, предлагаемые Гёбелем, пользовались неизменным спросом.

Так мы и били киянками, удар за ударом. Попутно я глотал пыль от бельгийского гранита, вонявшую серой, будто

стариковские ветры. А для окончательной полировки использовалась шлифовальная машина. Зато к выходным мы стряхивали с себя каменный прах: субботним вечером начинались танцы, которые затягивались до воскресного утра.

Это начиналось так: надзиравший за кашляющими стариками и за нами, обитателями двухъярусных нар, монах, который с утра до ночи носился в развевающейся рясе и бренчал связками ключей, стоял субботним вечером у открытой двери своей кельи, молитвенно сложив руки, и смотрел, как мы наряжались к выходу в город.

Я надевал черные брюки, доставшиеся мне из сундука отца Фульгентиуса, куда складывалась пожертвованная одежда. Монах, работавший в прачечной, наводил на них утюгом острую стрелку. Пиджак с узором «в елочку» придавал мне вид профессионального танцора, который заводит публику танцзала. К сожалению, зеркала в нашей десятиместной комнате не имелось.

Немолодой студент — тип старшего ефрейтора, — который учился на инженера и позднее в качестве менеджера на заводах «Маннесманна» сумел воспользоваться удачной конъюнктурой с трубопрокатом, научил меня завязывать на галстуке узел средней величины. Одни начищали до блеска обувь, другие сооружали прическу с помощью подсахаренной воды. Каждый выглядел франтом хоть куда.

Наш погруженный в молитву монах, спрятав руки в рукава своей рясы, глядел нам вслед, а мы шумно, будто идем делить найденный клад, отправлялись на танцы.

Тут у меня проблем не возникало. Я танцевал с детства. На праздниках, которые устраивали горожане в ресторане «Цинглеровская горка» или в украшенном гирляндами зале летнего ресторана «Кляйнхаммеровский парк», популярного у лангфурцев, я бывал до войны и после ее начала не только зрителем, который запасал впрок наблюдения для своих будущих литературных сочинений. Жители предместья, одетые в выходные наряды или дерьмово-коричневую партийную форму, собирались здесь, чтобы повеселиться вместе, хотя веселье порой заканчивалось потасовками; я же, тринадцатилетний, под руководством одиноких солдатских невест учился танцам — «рейнской польке», уанстепу, фокстроту, медленному вальсу, с юных лет умел танцевать танго, поэтому вскоре после войны сделался желанным партнером на танцплощадках.

Диксиленд исполнял «Chattanooga», «Hey-ba-ba-ribop», «Tiger Rag», а по заказу мог сыграть и танго. Танцплощадки возникали

всюду — в подвальчиках-ресторанах Старого города, в дюссельдорфском районе Герресхайм и соседнем пригороде Графенберг, где среди леса находилось лечебное заведение, получившее широкую известность благодаря пациенту, который с маниакальной страстью предавался воспоминаниям; мне также нравился этот лес, поскольку разгоряченный танцор уводил туда по тропинкам какую-либо девушку с телефонной станции, чтобы устроиться там на скамейке или — что было желательней — в стороне от дорожек, прямо на мягком мху.

Смена партнерш, расплывчатые воспоминания, которые опираются на тактильные ощущения, теряются в черной дыре. Не помню имен, кроме одного: ту грудастую девушку звали Хельгой — когда в зале внезапно приглушили свет, она пригласила меня на белый танец, после чего присохла ко мне.

Это было время танцевальной лихорадки. Мы, потерпевшие поражение, переживали что-то вроде наркотического опьянения, чувство раскрепощенности, заслышав блюз заокеанских победителей «Don't fence me in…».

Мы радовались тому, что сумели выжить, и хотели забыть, что обязаны этим случайностям войны. Позорные, ужасные события затаились в прошлом, они не подлежали обсуждению. Прошлое с его холмами братских могил превращалось в ровный пол танцплощадки.

Минули годы, прежде чем я смог взглянуть на ту пору со стороны и рассказал, как пациент специального лечебного заведения отплясывал в графенбургском ресторанчике «Лёвенбург» уанстеп на мотив «Розамунды», а Оскар получил возможность назвать все своими именами и достоверно описать то, о чем я старался забыть с каждой неделей, потому что это тяготило меня; через полвека бесы вновь заявляют о себе, стучатся в дверь, требуют впустить.

Воспоминания основываются на прежних воспоминаниях и рождают воспоминания новые. Это и делает память похожей на луковицу, у которой каждая снятая чешуйка обнажает давно забытые вещи вплоть до молочных зубов самого раннего детства, а острый нож способствует особому эффекту: порезанная на кусочки луковица гонит из глаз слезу, замутняя взгляд.

Среди воспоминаний легко отыскивается отчетливая картинка, где я сижу во дворе приюта «Каритас». Напротив — старик, я пытаюсь запечатлеть на бумаге его лицо.

Карандаш рисует помутневшие глаза, полузакрытые веки, подглазные мешки, сухую, потрескавшуюся кожу ушей, шамкающий рот. Рисует лоб, похожий на изборожденное поле,

лысый или покрытый редкими волосами череп, тонкую, пульсирующую кожу на висках, морщинистую шею.

Мягкий карандаш хорошо вылепливает переносицу, скулы, отвисшую нижнюю губу, покатый подбородок. Лоб прорезают глубокие продольные и поперечные складки. Прочерченные карандашом линии утолщаются или сходят на нет. Тень от очков. Под нею два кратера, ноздри с выбивающимися кустиками седых волос. Бесконечное разнообразие оттенков серого между черным и белым: мое кредо.

Я с детства любил рисовать карандашами. Изображал мрачные фантазии, увиденный вплотную бугристый узор кирпичной кладки. При этом я всегда пользовался ластиком, который стирался, оставляя крошки; впоследствии я посвятил этому вспомогательному средству, который приходит на помощь карандашу, целый стихотворный цикл, где есть такая строка: «Мой ластик и луна — убывают».

И вот на скамейках приюта «Каритас» вполоборота ко мне сидят старики, неподвижно глядя туда, куда им велено. Сидят по часу, а то и по два. Многих мучат приступы астмы. Некоторые бормочут что-то бессвязное, возвращаясь к временам Первой мировой, боям под Верденом или к периоду большой инфляции. Я расплачивался со стариками моей валютой — сигаретами, давал по две-три штуки; эти сигареты выкуривались сразу же после сеанса или после затяжных приступов кашля, выкуривались до крошечного остатка.

Сам я все еще не курил, а потому оставался платежеспособным, причем мой запас сигарет уходил преимущественно на оплату натурщиков. Лишь однажды бородатый старик с густой гривой на голове согласился позировать бесплатно, сказав, что делает это «исключительно ради искусства».

Рисовальщик под каштанами проявлял немалое прилежание, но ему не хватало критических замечаний хорошего наставника. Я бы с удовольствием показал кое-какие выполненные на плохой бумаге карандашные рисунки, которые сам практикант-каменотес считал более или менее удачными, той внештатной преподавательнице, которая после Сталинграда и объявления тотальной войны была мобилизована для работы в школе, чтобы вести уроки художественного воспитания.

Она преподавала в гимназии Святого Петра, мне тогда было четырнадцать лет. По субботам ей приходилось справляться с ордой скучающих недорослей, из которых пара оболтусов могла в лучшем случае накалякать волосатую вагину или мужика с

огромным членом.

Эту часть класса она попросту игнорировала, и компания оболтусов играла на ее сдвоенном уроке в карты или спала, а она занималась с несколькими учениками, например, объясняла им законы перспективы.

Мне повезло стать предметом ее внимания. Более того, она приглашала меня в Сопот, где находилась ее летняя студия. Молодая женщина, вышедшая замуж за юриста гораздо старше ее, который служил квартирмейстером в тыловом штабе где-то на Восточном фронте, жила одна в заросшем зеленью домике, куда я наведывался не-знаю-сколько-раз.

В коротких штанах или длинных брюках зимней гитлерюгендской формы я отправлялся на трамвае через Оливу до Глеткау, шел оттуда, предвкушая встречу, вдоль дюн или кромки прибоя, однако не пытался найти янтарь среди принесенного прибоем сора, а перед первыми сопотскими виллами сразу сворачивал направо. Проходил дальше мимо зарослей кустарника, на котором набухали почки или, если дело было поздним летом, рдели ягоды шиповника. Со скрипом отворялась садовая калитка.

На веранде, озаренной северным сиянием, вижу приземистые массивные изваяния, скульптурные портреты, выполненные из гипса или еще сырой глины. Позади завешенный мольберт. Вижу ее, в забрызганном гипсом халате, с сигаретой в руке.

Родилась она в Кёнигсберге, но училась не в тамошней художественной академии, а нашла своего наставника в данцигском Высшем художественном училище — профессора Пфуля, известного анималиста, который мастерски писал лошадей и к которому я позднее ходил на курсы рисования для любителей.

Ее гладкие волосы были коротко пострижены по давно отошедшей моде. Разумеется, тогдашний гимназист, мой тезка, был немножко влюблен в Лили Крёнерт. Но никаких нескромных взглядов или прикосновений. Мне кружила голову иная доверительная близость.

На курительном столике — моя учительница непрерывно дымила — лежала то ли забытая, то ли нарочно оставленная стопка потрепанных журналов по изобразительному искусству и выставочных каталогов; им было, пожалуй, столько же лет, сколько мне, даже больше; одни были иллюстрированы черно-белыми репродукциями, другие — цветными.

Гимназист заглядывал в эти журналы, листал их, рассматривал запрещенные картины Отто Дикса и Клее, Хофера и Фейнингера, а также скульптуры Барлаха — «Читающий монах»

— или «Коленопреклоненную» Лембрука.

И многое еще. Но что именно? Знаю только, что меня бросало в жар. Ничего подобного я раньше не видел, это завораживало и одновременно пугало. Ведь все это считалось «дегенеративным искусством» и находилось под запретом.

Еженедельные журналы постоянно демонстрировали, что в Третьем рейхе надлежало считать прекрасным: скульпторы Арно Брекер и Йозеф Торак состязались друг с другом в создании грандиозных монументов, мраморных героев, олицетворявших силу своими каменными мускулами.

Заядлая курильщица Лили Крёнерт, смущавшая меня легкой косинкой глаз, молодая женщина с мальчишеской стрижкой и далеким супругом, любимая учительница, которая познакомила меня с запрещенным Лембруком и обратила мое внимание на терпимых режимом Ганса Виммера или Георга Кольбе, подвергала себя опасности, поскольку ее — как она полагала, небездарный — ученик, мог вполне заложить ее. Доносы бывали обычным делом. Достаточно было написать анонимку. В те годы идейные гимназисты довольно часто доносили на своих преподавателей, как это произошло через год с моим учителем латыни монсиньоре Стахником, которого отправили в концлагерь Штутхоф.

Лили Крёнерт пережила войну. В начале шестидесятых я, совершая поездку по Шлезвиг-Гольштейну с моими сыновьями-близнецами Францем и Раулем, выступил в Киле, в книжном магазине «Кордес», где читал главы из романа «Собачьи годы»; на следующий день я встретил во Фленсбурге Лили Крёнерт с ее мужем, которому также посчастливилось уцелеть. Она по-прежнему курила и только улыбнулась, когда я поблагодарил ее за рискованные уроки искусствоведения.

Ах, если бы она могла помочь мне критическими замечаниями, когда я, некурильщик, рисовал под сенью каштанов мягким карандашом кашляющих стариков, расплачиваясь с ними сигаретами.

Утолив первичный голод безвкусным, но оставлявшим долгое послевкусие приютским супом, я тем острее чувствовал по будням во время трамвайных поездок иной голод, однако и его удавалось приглушить благодаря покладистым девушкам с субботних танцев; но оставался еще один неутоленный голод — эстетический.

Вижу себя зрителем на дешевых местах дюссельдорфского театра, которым руководил Грюндгенс — кажется, в этом или в следующем году он поставил здесь гётевского «Торквато

Тассо», — а еще меня буквально захлестнула волна визуальных впечатлений от множества сменявших друг друга художественных выставок: Шагал, Кирхнер, Шлеммер, Маке, кто еще?

В приюте «Каритас» отец Станислаус пичкал меня Траклем, Рильке, а также самыми ранними экспрессионистами и избранными поэтами барокко. Я прочитал все, что сумела уберечь францисканская библиотека в годы нацизма.

В сопровождении благорасположенной ко мне дочери гимназического учителя — они с отцом, штудиенратом, были беженцами из Бунцлау — я ходил в зал имени Роберта Шумана, дабы на время концерта утолить голод тем, чего алкали мои глаза и уши.

Но одержимость чтением и пассивное потребление художественных ценностей лишь усиливали мой эстетический голод как тягу к собственному творчеству.

Стихи я писал погонными метрами, так осуществлялся поэтический обмен веществ моего организма. После смены я высекал из известняка в мастерской Гёбеля мои первые малоформатные скульптуры: женские торсы, девичью головку в экспрессивном стиле. А «пеликановский» блокнот продолжал заполняться рисунками с натуры, для которых мне позировали за сигаретные гонорары астматические старики: страницу за страницей занимали усохшие лики, шрамы, потухшие глаза, кожа да кости. Бородатые или небритые несколько дней, со слезящимися глазами, полуопущенными веками — такой глядела на меня старость. Отматывая киноленту назад к скамейкам в тени каштанов под весенним, летним или осенним солнцем, я вижу, как зарисовываю эти дремотные лица, предвосхищающие на моих листах собственную смерть.

Эти рисунки некурильщика оказались утрачены, поэтому неизвестно, бывали ли моими натурщиками и соседи по комнате. Возможно, рисунки запечатлели также настоятеля приюта, отца Фульгентиуса с его мрачным взглядом и с оспинами на лице, а еще отца Станислауса, почитателя Рильке, человека тихого, с тонким вкусом, который любил цитировать стихи из «Упрямого соловья», принадлежащие барочному поэту монаху Шпее фон Лангенфельду. Хорошо бы, чтобы среди моих рисунков был и запечатленный в образе ангела наш вечно спешащий надзиратель, лицо которого неизменно имело такое выражение, будто ему только что явилась сама Дева Мария. Достоверно могу сказать лишь то, что большинство из пропавших рисунков были портретами стариков.

Проведя год у Юлиуса Гёбеля со старшим подмастерьем

Корнеффом, скульптором Зингером и его пунктирным аппаратом на треноге, пресытившись овощным супом, которым меня кормили дважды в неделю, и вдосталь нагулявшись с молочной козой Геновефой на веревке, практикант решил сменить место работы и профессиональной подготовки.

Прочь от блеющей скотины, прочь от пунктирования распятого атлетичного Христа, прочь от мраморных мадонн, застывших в контрапосте на лунном серпе, прочь от отполированных до блеска — несмотря на запреты кладбищенского распорядка — гранитных плит, от сломанных роз, которые мне приходилось высекать на медальонах детских надгробий. Мне больше не хотелось видеть леггорновских кур, расхаживающих между могильными камнями.

Меня привлекла к себе крупная мастерская «Фирмы Моог», находившаяся в конце улицы Биттвег. Там работали преимущественно с песчаником, туфом и базальтом, которые доставлялись прямо из эйфельских каменоломен. Там мне вряд ли придется возиться с надгробным китчем. Там не заставят мучиться с козой.

Но уход от старшего подмастерья Корнеффа дался мне нелегко, я скучал по его своеобразному шарму. Ведь весной мы вместе несколько раз скрепляли дубелями могильные камни, число которых доходило до трех, с цоколем и фундаментом. Когда он был рядом, легче переносилась работа со смертью. С ним можно было позлословить обо всем на свете.

Позднее Корнефф стал персонажем главы «Фортуна Норд» в «Жестяном барабане», где он и его подручный Оскар Мацерат возили мрамор и диабаз, были свидетелями перезахоронения и отдавали судки в кладбищенский крематорий, чтобы разогреть обед, — то же самое Корнефф посоветовал и мне; так что тему кладбищенского распорядка и ваяния надгробных памятников можно считать закрытой. Остается, пожалуй, лишь сказать несколько слов о «поэзии и правде», о том, кто кому и что вложил в уста, кто сочиняет правдивее, Оскар или я, кому, в конце концов, следует верить, кто водил чьим пером и что осталось недосказанным.

Но поскольку господин Мацерат никогда не работал на «Фирме Моог», я надеюсь на какое-то время избежать преследований со стороны последыша, рожденного в мои молодые годы.

Как бы ни было приятно выметать из инкубатора яичную скорлупу от собственных вылупившихся птенцов, там обычно остается довольно сомнительный приплод: свидетельства мелочной дотошности, ждущие своего воскрешения похеренные

придумки вроде той, что Геновефа, едва я с благословения мастера Зингера покинул фирму Гёбеля, вырвала в час очередной кормежки веревку из рук пасущего ее ученика, кинулась прочь; ее последнее блеяние раздалось из-под колес трамвая, шедшего в сторону Билка.

Жена Гёбеля, волоокая матрона, будто бы даже говорила, что Геновефа бросилась под трамвай с горя, не пережив моего ухода.

В первые месяцы, проведенные в «Фирме Моог», я выполнял вместе с учениками и подмастерьями работу, результаты которой, запечатленные в камне, способствовали уже не украшению кладбищ. На сей раз речь шла об устранении повреждений, причиненных войной городским паркам, в том числе Дворцовому парку.

Одни статуи из песчаника стояли обезглавленными, другие были превращены осколками бомб в одноруких инвалидов, поэтому приходилось то водружать недостающую головку на шею Дианы, то восстанавливать по сохранившимся фотографиям или гипсовым моделям главу Горгоны Медузы. Реставрации требовали утраченные конечности или разбитые головки ангелов. Но «Фирма Моог» получала заказы и на целых амурчиков с их пухлыми ручками, складочками, ямочками и локонами. Шеф фирмы предусмотрительно налаживал связи с муниципальными властями.

Благодаря ученикам, а все они происходили из семей потомственных каменотесов, я понял, что любой неверный удар, любая ошибка при работе с камнем непоправимы, но есть уловки, с помощью которых можно скрыть дефект. Короче, мы целыми днями занимались устранением последствий войны, своего рода художественной штопкой. Рецепт каменной массы, раствор которой должен быть не слишком жидким и не слишком густым, доверил мне на прощание мастер Зингер, наказав хранить в тайне этот профессиональный секрет.

Что же касается искусства, подлинного предмета моего устойчивого голода, то здесь мерилом для меня стал поступивший от некоего анонима заказ на изготовление нескольких копий женского торса высотой около метра. Во всяком случае, наш шеф имел весьма таинственный вид, когда распаковывал модель, заботливо укутанную шерстяными одеялами.

В гипсовой модели сразу же угадывалась рука автора, который некогда пользовался признанием и даже считался выдающимся скульптором, но при нацистах был изгнан из всех музеев — Вильгельм Лембрук; я познакомился с его творчеством,

пусть бегло, еще будучи школьником, когда просматривал запрещенные журналы у мой преподавательницы Лили Крёнерт. Она называла его «одним из величайших мастеров».

Но в «Фирме Моог» фамилия Лембрука не упоминалась. Правда, кое-какие догадки о происхождении гипсовой модели высказывались. Один подмастерье пошутил, вспомнив цитату из «Фауста»: «Три ставь в ряд — и ты богат».

Именно столько камней песчаника было заготовлено для копий. Видимо, заказ поступил от какого-то антиквара, который торговал копиями на черном рынке, выдавая их за оригиналы. В те послевоенные годы находилось немало несведущих покупателей — местных нуворишей и коллекционеров-любителей, приехавших из-за океана; наступила эра фальшака.

Так или иначе, все три копии из светлого песчаника были сразу же проданы, едва их подготовили к отправке, поставив на деревянные табуреты.

Безрукий торс насчитывал девяносто сантиметров от середины бедра до макушки слегка повернутой головы. Небольшой наклон таза намекал на контрапост. Это был Лембрук среднего периода, скульптура создавалась незадолго до Первой мировой войны, вероятно, в Париже.

Как обычно, мы разметили поверхность гипсовой модели множеством карандашных точек, которые затем были перенесены на камень. Для этого мы использовали разметочную иглу пунктирного аппарата на треноге.

Маэстро Моог следил за нашей работой самолично. Ученики из богатых профессиональными традициями династий потомственных каменотесов знали разные уловки, но когда появлялся грузный Моог, никакие ухищрения не помогали. Приподнимая двумя пальцами тяжелые веки, он проверял каждую деталь, после чего опять опускал веки и делался похожим на Будду. Он никогда не прибегал к помощи пунктирного аппарата и иглы на подвижной металлической руке, от его глаз и без них не мог укрыться ни один дефект.

К моему стыду, вынужден признаться, что явно схалтурил на гладкой, но напряженной поверхности спины копируемого торса. Пришлось исправлять ошибки. Это значит, нужно было добавить каменной массы на пространстве между лопаток, хотя то, что было изъято из камня, осталось изъяном.

Не знаю, кто является счастливым обладателем моей копии Лембрука, кто был прежним клиентом анонимного антиквара и кому достался фальшивый оригинал после перепродаж; но мне до сих пор хочется каким-либо образом испросить прощения у

Вильгельма Лембрука, который покончил жизнь самоубийством вскоре после Первой мировой войны.

Ах, если бы иногда действительно осуществлялись мои воображаемые приглашения к застолью и я мог бы принять у себя того, кого Лили Крёнерт называла «одним из величайших», а также художников Августа Маке и Вильгельма Моргнера, которые погибли молодыми в Перт-лез-Юрлю и Лангемарке.

У меня, на бумаге, мы четверо завели бы разговор о тогдашних событиях, о том, с каким энтузиазмом они уходили на войну, а потом поговорили бы об искусстве. Что стало с ним позднее. Как оно пережило любые запреты, но вскоре, освободившись от внешнего давления, оказалось сужено до доктрины и растворилось в беспредметности.

Мы посмеялись бы над ерундой современных инсталляций, над новомодными банальностями, над телевизионным безумием, над суетливой беготней от одной презентации к другой, над культовым поклонением тоскливому металлолому, над пресыщенностью и пустотой арт-рынка с его скоротечной конъюнктурой.

А потом я, гостеприимный хозяин и повар, порадовал бы моих гостей, получивших отпуск у смерти. Сначала попотчевал бы их ухой из голов трески, приправив ее свежим укропом. Затем подал бы на стол нашпигованную чесночком и шалфеем ягнятину с чечевицей под пряным майорановым соусом. А завершением послужили бы козий сыр и грецкие орехи. Эх, до чего славно чокнуться полной до краев рюмкой водки и посудачить о делах мирских!

Лембрук, вестфальский молчун, ограничивался бы лапидарными фразами. Август Маке — любитель поболтать, от него мы услышали бы, как он вместе с Паулем Клее и Луи Муайе совершил недолгую поездку в Тунис, как замечательна там игра света, о приключениях и впечатлениях той поездки, состоявшейся в апреле четырнадцатого года, за несколько месяцев до войны. А Вильгельм Моргнер поведал бы, какие картины написал бы он — возможно, абстрактные, — если бы во Фландрии пуля не оборвала…

Только ни слова о несчастной любви Лембрука к красавице с детским личиком, актрисе Элизабет Бергнер. Говорят, будто он покончил с собой из-за нее, но я в этом сомневаюсь. Причиной была война, которая не могла закончиться в его голове, во многих головах…

Наше застолье наверняка предоставило бы мне случай поблагодарить Лембрука. Он, мой невольный мастер-наставник, установил мне в ранние годы высокую планку и научил

справляться с неудачами..

А потом? Потом произошла денежная реформа. Она разделила все на «до» и «после». Она положила конец прежней жизни и посулила каждому новое начало. Она обесценила одно и вздула цены на другое. Из множества нищих она отсортировала нескольких нуворишей. Она обескровила спекуляцию. Она обещала расцвет свободного рынка, сделав нашими постоянными сожителями как богатство, так и бедность. Она возвела деньги в святыню, заразив всех нас потребительством. А в целом она оживила конъюнктуру, из-за чего значительно увеличилось количество заказов для мастерских по обработке камня на улице Биттвег, где раньше царил натуральный обмен.

Незадолго до этого события, принесшего с собой радикальные перемены, «Фирма Моог» получила подряд на ремонт фасада от одного банка, здание которого все носило безобразные отметины войны. Видно, банкиры устыдились своего фасада. Им захотелось с подобающей внешностью встретить ожидаемое событие; работу предстояло выполнить точно в срок по оговоренной смете.

В облицовке, поврежденной осколками бомб, следовало сделать выемки, чтобы на их место поставить новые блоки ракушечника, только что поступившие из каменоломни; их нужно было точно подогнать и закрепить шпонами. Кто именно был заказчиком? Ну, допустим, «Дрезднер Банк», который поменял название, а раньше звался «Рейн-Рур-Банк».

От этой поры сохранилась единственная фотография. На ней снят молодой человек, стоящий высоко на стальных трубах строительных лесов и взирающий на мир так, будто ему открывается глобальный обзор. Демонстрируя свою профессиональную принадлежность, левша держит круглую киянку, какой работают каменотесы, другая рука сжимает долото.

Фотография сделана, вероятно, коллегой по работе. Выемка на заднем плане позволяет разглядеть, каким мощным камнем облицован фасад «Дрезднер Банка». Внутри все выгорело, но само многоэтажное здание устояло под бомбами и теперь жаждало нового капитала и новых сверхприбылей.

Юный каменотес занимает все пространство снимка, поскольку правление банка, этого монетарного бастиона, который служил любому режиму, в том числе преступному, не желало фотографических свидетельств, ограничившись устранением повреждений на фасаде. Банк вновь позаботился о своей репутации, о благообразии, хотя бы внешнем.

Худощавый паренек в кепке и комбинезоне, который стоит с

самоуверенным видом на стальных трубах строительных лесов и озирает мир, — это я накануне денежной реформы. Автопортрет в позе деятельного человека.

Хотя верхние этажи банка, перед которыми я стою на лесах, запечатленный черно-белой фотографией — уже такой далекий, но еще узнаваемый, хранили на себе следы пожара и пустовали, однако зал обслуживания клиентов на первом этаже готовился к открытию.

Мы, каменотесы, сидели в обеденный перерыв этажом выше, поглощая содержимое наших судков. В одном месте пол был пробит, временный дощатый настил прикрывал пробоину, но через щели можно было заглянуть в зал.

Так я увидел, как накануне «дня Х» служащие банка раскладывали на столах купюры и монеты нового образца, сортировали и пересчитывали их, делали банковские упаковки, чтобы своевременно приготовить их к чудодейственной раздаче. Я был очевидцем этой работы.

Хорошо было бы удлинить руку или забросить удочку. Тогда вместе с другими каменотесами я смог бы стать — нет, не уголовником, а благородным разбойником, эдаким хитроумным Робин Гудом, который осчастливливает бедняков: так близки и притягательны были реликвии новейшей религии.

До тех пор моя почасовая плата на стройке составляла девяносто пять рейхспфеннигов. Со сверхурочными набегало за неделю около полусотни рейхсмарок. Но они вскоре обесценились.

Если бы я знал, что внизу, в зале обслуживания клиентов «Дрезднер Банка», как и в тысячах других мест, будет выплачиваться будущее и все обретет вскоре свою цену?

Неожиданно стало возможно купить все, почти все. Витрины, вчера еще скудные, заполнились ранее припрятанными товарами. Кто имел запасы на складе, сумел быстро обзавестись новыми деньгами. Теперь дефицит казался пережитком прошлого, чем-то почти нереальным. Но все прошлое обесценилось, о нем не стоило говорить, поэтому каждый, пусть не без натуги, старался глядеть вперед.

Не знаю, на что я израсходовал те сорок марок, которые выплачивались каждому от имени лукаво подмигивающей справедливости. Может, набор карандашей фирмы «Кастелль» и новый ластик? Или набор акварелей «Шминке» в пенале с двадцатью четырьмя ячейками?

Наверное, большая часть денег ушла на оплату поездки в Гамбург, куда я пригласил маму. Ей хотелось повидать свою сестру Бетти и тетю Марту, жену папиного старшего брата, дядю

Альфреда, который раньше служил в полиции и жил с кузеном и кузиной в поселке рядовой застройки на улице Хоэнфридбергервег, а теперь ютился где-то на северной окраине Гамбурга.

Гамбург в руинах выглядел не лучше Кёльна. Если приглядеться, обращали на себя внимание высокие дымоходы, которые устояли, хотя сами многоэтажные доходные дома рухнули.

Удивительно, но драматический театр работал. Маму всегда тянуло в театр, будь то опера, оперетта или драма — ребенком я смотрел с ней в Данцигском театре сказку «Снежная королева», — поэтому вечером мы пошли на пьесу Стриндберга «Отец» с Германом Шпельмансом в главной роли. Когда дали занавес, мама заплакала. Родственников, которых мы навещали, я не помню, зато хорошо запомнилась поездка по железной дороге туда и обратно.

По дороге туда, когда разбомбленный Рур остался позади, слева потянулась вестфальская равнина, которая выглядит так, будто в мире вообще не бывает никаких потрясений. Вижу, как мама молча сидит напротив.

Ей не нравятся мои расспросы, она пробует привлечь мое внимание к пейзажу: «Просто загляденье. Смотри, какие сочные луга, сколько коров..»

Но я продолжаю расспрашивать: «Что было, когда пришли русские? Что же все-таки было? Почему Даддау рассказывает только забавные истории? А папа уходит от разговора. Что случилось с Даддау, с тобой? Русские вас…? А когда пришли поляки…?»

Но ей не удается подобрать слова. Слышу только: «Теперь все это в прошлом. Особенно для твоей сестры. Не надо расспросов. От них лучше не станет. В конце концов, нам немножко повезло… Мы живы… Что прошло, то прошло».

А потом, на обратном пути, мама попросила меня разговаривать с отцом не так строго и резко. Ведь он настрадался, все потерял, лишился лавки колониальных товаров, к которой они оба были так привязаны. Но он не жалуется и беспокоится только о сыне. Говорит, как славно, если бы сынок приехал на побывку, а то бывает теперь редко.

«Только в следующий раз, пожалуйста, не ссорься с отцом». А прошлое надо оставить в покое. «Будь с отцом полюбезнее, сынок. Давай лучше в карты поиграем. Он всегда так радуется твоему приезду».

За те немногие годы, которые ей осталось прожить, мама ни разу не обмолвилась ни словом том, что происходило в разграбленной лавке колониальных товаров, в подвале или в

квартире, где и сколько раз ее насиловали русские солдаты. О том, что ей пришлось предлагать себя, чтобы уберечь собственную дочь, я узнал из намеков сестры только после смерти мамы. У нее самой не нашлось слов…

Но и я не смог рассказать о том, что накопилось на душе: о незаданных вопросах… Об истовой вере… О походных кострах, гитлерюгендских линейках… О желании погибнуть геройской смертью подводника, капитан-лейтенанта Прина… Причем в качестве добровольца… О рядовом трудовой службы, пареньке по прозвищу Нельзя-нам-этого… О том, как Провидение спасло Вождя… О присяге знамени войск СС на леденящем морозе… «Пускай кругом измена, мы верность сохраним…» И о концерте «сталинского органа»: множестве убитых — большинство из них молодые, незрелые, вроде меня… О маленьком Гансике, про которого я пел в лесу, пока не услышал ответ… О моем спасителе, старшем ефрейторе, которому размозжило обе ноги, и о том, как меня весьма своевременно ранило осколком снаряда… О том, что до последних дней я верил в окончательную победу. Рана была легкой, однако я забывался в горячечном бреду, и мне чудилось, как я тискаю девушку с черными косами… О гложущем голоде… Об игре в кости… О фотоснимках, которым невозможно было поверить: концлагерь Берген-Бельзен, сложенные штабелями трупы — «Смотреть, не отворачиваться! Смотреть!», о невнятице, ибо этого нельзя передать словами.

Нет, я не смотрел назад или лишь иногда опасливо поглядывал через плечо. Почасовая оплата каменотеса теперь составляла ту же сумму, но уже новыми деньгами, однако вскоре она была повышена еще на семь пфеннигов, я жил только нынешним днем и глядел, как мне казалось, вперед. Работы хватало.

Сразу после упразднения рейхсмарок «Фирме Моог» посчастливилось увеличить количество подрядов на работы за пределами кладбища. Всюду требовалось реставрировать фасады, поврежденные войной. Обновленные фасады пользовались повышенным спросом. За наскоро возведенными строительными лесами устранялись следы войны. На свет появлялись первые образчики фасадной архитектуры, которые позднее получили столь широкое распространение. Особенно популярен стал травертин, сорт мрамора, любимый Вождем.

После смены, во внеурочное время, мы облицовывали большими плитками разноцветного ланского мрамора стены и прилавки мясного магазина, чтобы он сиял чистотой и радовал глаз. Вокруг нуворишеских вилл мы сооружали ограды из туфа.

Только искусства мне недоставало. Все поврежденные войной статуи из песчаника вновь обрели головы, коленные чашечки или роскошные складки каменных драпировок. Выданный за оригинал лембруковский торс с моими огрехами нашел своего покупателя. Старики из приюта «Каритас» отказались позировать мне под каштановыми деревьями, поскольку сигареты теперь продавались свободно, безо всяких талонов на табачные изделия.

Я поигрывал звонкой монетой, радовал подарками родителей, однако даже дополнительный доход от сверхурочной работы не мог приглушить мой третий голод. Спросом пользовались только фасады. Но тут, наконец, пришло известие из Академии искусств.

В положенный срок я подал заявление о приеме в Академию искусств, присовокупив к нему папку с карандашными рисунками — портретная галерея стариков, которые терпеливо позировали мне между приступами кашля, три небольших женских торса, исполненных в манере Лембрука, и экспрессивную женскую головку, а также положительную характеристику, которую подписал мастер Моог практиканту-каменотесу.

К тому же отец Фульгентиус, благоволивший своему постояльцу, заверил, что в ежеутренних молитвах ходатайствовал за положительный исход дела с моим заявлением перед изваянным из раскрашенного гипса святым Антонием, который стоял в часовне, чтобы было к кому обращаться с различными просьбами.

Я рассказал отцу Фульгентиусу, что решение о моем приеме оказалось крайне проблематичным, поскольку из двадцати семи претендентов были зачислены только двое; приемная комиссия сочла мои рисунки свидетельством определенного таланта, подлежащего развитию, но наиболее веским аргументом в мою пользу стала работа камнетесом и камнерезом; впрочем, профессор Матаре не пожелал, к сожалению, брать новых студентов, поэтому на первый зимний семестр по классу скульптуры меня зачислили к некоему, мне неизвестному профессору Магесу; выслушав мой рассказ, настоятель приюта «Каритас», что находился в районе Ратер-Бройх, сделал мне другое предложение, связанное с возможностью заняться искусством.

Отец Фульгентиус часто затевал со мной беседы, в которых объяснял чудо благодати, втолковывал глубокий смысл триединства и других мистерий, а также проливал свет на богоугодность францисканского учения о нестяжании.

Эти беседы с неверующим — иногда он наливал себе и мне

по рюмочке ликера — напоминали мне разговоры, которые я вел в плену, играя в кости с моим приятелем Йозефом; он также пытался, подобно ищейке, разыскать мою потерянную детскую веру в Сердце Христово и Божью Матерь, уже тогда используя с дюжину теологических уловок, словно специально учился им.

Подобно Йозефу в лагере для военнопленных под Бад-Айблингом, теперь меня увещевал отец Фульгентиус, только мой баварский приятель был весьма интеллигентен, а настоятель действовал с крестьянской хитрецой и изворотливостью. В эркере главного здания, который отец Фульгентиус именовал «конторой», он живописал своему постояльцу перспективу, имевшую в себе что-то заманчиво средневековое и поэтому напоминавшую мои школьные фантазии.

Он сказал, что в главном монастыре францисканского ордена недавно умер старый монах, отец Лукас, скульптор. Теперь ждет преемника его мастерская с верхним светом, с ящиками, полными глины, со скульптурными станками; к тому же просторная мастерская выходит прямо в монастырский сад. А еще там есть богатый набор инструментов, и все это нуждается в хозяйской руке. Благодаря щедрому меценату, в запасе даже наличествует каррарский мрамор, который в свое время предпочитал великий Микеланджело. Значит, нужно проявить благоразумную решимость. Недостаток веры восполнится работой над фигурами Мадонны, а там, глядишь, поступят заказы на святого Франциска и святого Себастьяна, что послужит еще большему упрочению веры. А ревностное благочестие и усердие обычно сопровождаются озарениями. За озарениями — тут он может сослаться на собственный опыт — следует благодать.

На мои сомнения относительно обрисованной перспективы и надежды на обретение благодати он ответил улыбкой. И лишь когда я указал на мой второй голод, назвал его хронически неисцелимым, более того — с инфернальной плотоядностью расписал свое пристрастие к юным девам и зрелым матронам, к женщинам вообще, а к сему прибавил искушения святого Антония, грехи, совершаемые с животными и фантастическими существами, что запечатлел в своей фламандской мастерской Иероним Босх, отец Фульгентиус признал тщетность своих уговоров. «Да-да, плоть слаба», — сказал он и спрятал руки в рукава своего балахона; монахи всегда так делают, когда их атакует бес.

Как я стал курильщиком

Кто в силу профессии вынужден годами эксплуатировать самого себя, тот поневоле учится пускать в дело любые остатки. Таковых сохранилось немного. Все, что благодаря подручным средствам можно сложить, разложить, а потом рассказать, двигаясь скачками вперед или назад, поглотили всеядные монстры романов, чтобы потом извергнуться каскадами слов. После такого количества словоизвержений, оприходованных в книгах, можно надеяться, что все опустошено, исписано дочиста.

И все-таки случай уберег кое-какие свидетельства прошлого: скажем, мой студенческий билет, датированный зимним семестром сорок восьмого — сорок девятого года. На нем стоит

печать дюссельдорфской Академии искусств. Помятый, потрескавшийся, он лежит передо мной; в билет вклеена фотография паспортного формата, запечатлевшая молодого человека, кареглазого и темноволосого, что делает его похожим на южанина с намеком скорее на Балканы, нежели на Италию. Он хочет выглядеть солидно, для чего повязал галстук, но при этом в нем угадывается умонастроение — весьма модное после войны, оно именовалось экзистенциализмом и характеризовалось, кроме всего прочего, своеобразной мимикой, жестикуляцией, о чем можно судить по неореалистическим кинофильмам; молодой человек, занятый исключительно самим собой, смотрит в объектив с безбожно мрачным выражением лица.

Сомневаться не приходится: личные данные и собственноручная подпись с удлиненным хвостиком буквы «G» подтверждают то, о чем легко догадаться: чуждый мне молодой человек мрачного вида — это я, студент первого семестра Академии искусств. Галстук достался мне, видимо, из сундука, где отец Фульгентиус складывал пожертвованные вещи. Галстучный узел был завязан специально для моментальной фотографии, снятой автоматическим устройством, которое называлось «Фотоматон». Вот я — гладковыбритый, с аккуратным пробором, но в остальном снимок невыразителен и не оставляет простора для воображения.

Приверженность экзистенциализму, свойственная на ту пору мне и моим сверстникам — что бы ни подразумевалось под этим философским термином, — была импортирована из Франции, но приспособлена к реалиям немецкой разрухи; для нас, переживших «темные времена», как именовался тогда период национал-социализма, экзистенциализм стал подходящей маской, которой соответствовали трагические позы. Экзистенциалист, в зависимости от того, сколь мрачным было его настроение, видел себя либо на распутье, либо на краю пропасти. В не менее опасной ситуации пребывало и человечество. Созвучные подобному эсхатологизму цитаты заимствовались у поэта Готфрида Бенна и у философа Мартина Хайдеггера. Остальное довершала перспектива многократно прошедшей полигонные испытания и ожидаемой в скором будущем атомной смерти.

Этому расхожему клише сопутствовала обязательная сигарета, прилепившаяся к нижней губе. Тлеющая или потухшая, она подрагивала, указывая куда-то в сторону, пока итогом ночных разговоров о человеческой судьбе провозглашалась «заброшенность всего сущего». Речь шла о смысле жизни среди бессмысленности мира, о взаимоотношении личности и массы, о лирическом «Я» и вездесущем Ничто. Постоянно возвращалась

тема самоубийства, добровольного ухода из жизни. Считалось хорошим тоном размышлять об этом вслух с сигаретой во рту.

Вероятно, молодой человек с маленькой фотографии на студенческом билете, как и все его собеседники, с которыми он глубокомысленно обсуждал бесконечный закат мира, сделался сначала маниакальным любителем чая и только потом — курильщиком, однако трудно установить дату, когда я впервые затянулся сигаретой.

И вообще, необходимость соблюдать хронологическую последовательность повествования стесняет меня, как узкий корсет. Ах, если бы я мог сейчас уплыть назад, чтобы причалить к балтийскому берегу, где на одном из бесчисленных пляжей я ребенком возводил замки из сырого песка. Ах, очутиться бы вновь у чердачного окна, чтобы зачитаться книгой, забыв обо всем на свете, как уже не будет больше никогда… Или оказаться бы снова с моим товарищем Йозефом под одной плащ-палаткой в землянке, где мы бросали кости, угадывая будущее, которое представлялось нам еще таким чистым и непорочным.

Мне исполнился двадцать один год, я считал себя вполне взрослым, но все еще твердо воздерживался от курения, когда меня вместе с одной девушкой из Крефельда, чьи небольшие фигуры — жеребята и козы — понравились приемной комиссии, определили в класс скульптуры, который вел профессор Зепп Магес. Мы были у него самыми молодыми студентами.

Кто-то — вероятно, отец Фульгентиус — посоветовал мне взбадриваться не никотином, а виноградной глюкозой, которой он же меня и снабжал, а сам получал их в дар от канадских собратьев-монахов.

Я сразу обратил внимание, что в мастерской все были курильщиками, включая инвалида войны со стеклянным глазом. Полная домохозяйка, позировавшая нам в качестве обнаженной натуры, тоже закуривала, когда по истечении получаса стояния в контрапосте объявлялся перерыв, хотя я предлагал ей виноградную глюкозу.

Одна из старших студенток, носившая прическу, которую со времен войны шутливо называли «отбой воздушной тревоги», пыталась по-матерински опекать меня; она курила сигареты в элегантном мундштуке. Ее подруга, пользовавшаяся особой благосклонностью нашего профессора — похоже, она была его любовницей, — нервно пыхтела самокруткой, которую тут же тушила, когда в мастерской появлялся Магес. Дымили все, а один из студентов даже курил трубку.

Вероятно, я, будучи истовым неофитом, сразу же после начала семестра или, по крайней мере, очень скоро потянулся к

сигарете, подсмотрел, как делаются самокрутки, а еще обзавелся белым халатом до колен, поскольку все студенты и студентки стояли возле своих глиняных фигур в таких халатах, образуя полукруг возле позировавшей на помосте голой домохозяйки и орудуя шпателями или проволочными петлями для срезания глины. Это выглядело так, будто медсестры и ассистенты ждали главврача, ибо профессор Магес также являлся весь в белом, не считая берета.

Комбинезон, выуженный из сундука с пожертвованиями, и разноцветный свитер из остатков шерсти придавали мне несколько второсортный вид. А поскольку сыну столь явно не хватало подобающей одежды, мама, гордившаяся свежеиспеченным студентом академии, скроила мне настоящий халат, использовав для этого две белоснежные простыни, лишь слегка потертые сверху и снизу. Этот халат можно увидеть на моих фотографиях того времени.

Гораздо отчетливей, чем запоздалое начало моей карьеры курильщика, предстает передо мной первое задание, поставленное новичку: профессор Магес разыскал в академических запасниках, в отделе античности, большую женскую голову из гипса в позднероманском стиле и навязал мне ее для изготовления глиняной копии.

На деревянный помост был установлен металлический каркас с прутиками, чтобы удерживать глиняную массу. Голова с пышными локонами была повернута немного влево, слегка наклоненный профиль усложнял копирование.

Я воспользовался раздвижным циркулем и отвесом, так как по положению плеч угадывался небольшой поворот корпуса вправо. К тому же новым для меня был сам материал, сырая и мягкая глина, которую вечером, перед уходом из мастерской, полагалось закрывать мокрыми тряпками.

Я представлял себе позднероманские фигуры и головы совсем иначе, втихомолку бранился, но многому научился по мере того, как продолжал работу над поставленной мне гипсовой головой с намеком на двойной подбородок. Я с любопытством открывал для себя ее красоту, спрятанную в деталях, например, в изгибе век или мочках ушей.

Практиканту камнерезной и скульптурной мастерской приходилось стесывать твердый материал, а по ходу первого семестра я учился набирать серо-зеленую глиняную массу и придавать ей форму подобно тому, как Бог Отец ваял из глины если не Адама, то голову Евы.

За днями суетной занятости, связанной с карнавалом — видимо, это был праздник святого Мартина, — наступило затишье, и я вновь сконцентрировался на моей работе в старом здании академии. Постепенно голова обретала форму, похожую на гипсовый оригинал. Параллельно делались рисунки обнаженной натуры, а также эскизы, призванные запечатлеть полное собрание костей мужского скелета, который получил у студентов шутливое прозвище Тюннес или Шель — два популярных рейнландских персонажа, герои бесчисленных анекдотов.

Многое предлагал и город: в Художественной галерее устраивались все новые выставки. Экспонировались «Рейнский сецессион», объединение «Молодой Рейнланд», экспрессионисты, коллекция «Мамаши Эй», дюссельдорфские художники. Я видел работы Голлера, Шрибера, Макентанца, скульптуры Юппа Рюбзама. В моде был живописец по фамилии Пудлих.

Кабинет графики демонстрировал акварели Пауля Клее, который преподавал в дюссельдорфской Академии искусств, пока его не выгнали нацисты. Поговаривали, что в нашей мастерской до отъезда в Париж работал Вильгельм Лембрук, который был учеником-мастером профессора Янссена. Ходили и другие легенды: например, Август Макке непродолжительное время учился здесь тому, что давала академическая программа. С почтительным трепетом произносились имена других молодых дарований.

Иногда я отваживался заглянуть в соседние мастерские, где мог увидеть, допустим, странного праведника по имени Йозеф Бойс, который слыл гением, но был всего лишь одним из студентов Эвальда Матаре; кто бы тогда подумал, что позднее Бойс до недостижимых высот взвинтит цены на искусственный мед, масло и войлок.

Совершал я короткие визиты и в «зверинец» Отто Панкока, где обитали без особого присмотра молодые таланты и где, словно члены семьи, толпились цыгане. Там никто не носил белых халатов.

В классе скульптора Энзелинга, давшего мне некогда лапидарный и дельный совет по трудоустройству, я столкнулся с Норбертом Крике, который, подражая своему наставнику, превращал живых голых девушек в голых девушек из гипса до тех пор, пока спустя всего несколько лет не пресытился наготой и не стал изготовлять декоративные проволочные фигуры в духе нового времени.

Всюду появлялись гении, не понимавшие, что весь «модерн» от Арпа до Цадкина был уже музейным. Его эпигоны без зазрения

совести выдавали себя за уникумов.

Не пытался ли и я взять разбег для взлета в надземные выси? Или же я утолил свой острый эстетический голод, а теперь довольствовался тем, что отныне кормушка обещала всегда быть хотя бы наполовину полной?

Наверное, профессиональная подготовка в виде работы над неподатливым камнем уберегла меня от претензий на гениальность. Да и Магес, происходивший из семьи пфальцских каменотесов, держал меня на коротком поводке. И еще меня подгоняло довольно заурядное качество, которое все же занимает одно из первых мест в реестре немецких добродетелей, — усердие.

Проживал я по-прежнему в не имеющей дневного света десятиместной комнате приюта «Каритас» в районе Ратер-Бройх, однако моим настоящим домом стала просторная студенческая мастерская с ее выходящими на север высокими окнами, с запахом глины, гипса и мокрых тряпок. Со времен работы камнерезом я привык вставать спозаранок, поэтому первым становился к скульптурному станку и зачастую лишь последним закрывал мокрыми тряпками фигуру, над которой работал. Да и где еще мог я побыть наедине с самим собой хотя бы несколько часов? А так все мои десять пальцев были заняты податливой массой, глиной. Это было похожим на счастье.

Лишь так можно объяснить то обстоятельство, что по субботам перед закрытием академии я приотворял нижнее окно на застекленном фасаде, чтобы воскресным утром пробраться в мастерскую, для чего приходилось карабкаться по фасаду, выложенному горбатым природным камнем.

Это кажется делом рискованным и напоминает сцену из приключенческого кинофильма: страсть заставляет героя карабкаться по стенам, подобно Луису Тренкеру, преодолевающему северную стену Эйгера. Однако мастерские скульпторов, а также мастерские, где изготовлялись отливки из гипса и бронзы, находились на первом этаже, так что мое воскресное скалолазание было делом несложным; да и не мной был изобретен этот способ проникновения внутрь здания, я лишь неумеренно часто пользовался им. Впрочем, это никого не возмущало. Даже управдом делал вид, будто ничего не замечает.

К середине первого семестра я уговорил мою партнершу по танцам из «Лёвенбурга» лазить по воскресеньям в академическую мастерскую вместе со мной; мастерская плохо отапливалась, но я включал обогреватель-рефлектор, и девушка позировала мне на деревянном вращающемся помосте. Она привязалась ко мне, а потому покорно лазила по стене и позировала, хотя и не совсем

безропотно.

В отличие от домохозяйки, которая позировала нам по будням и чье пышное тело вполне соответствовало идеалам французского скульптора Аристида Майоля, а также моего профессора, моя партнерша по воскресным танцам, застывшая в контрапосте и подрагивающая от озноба, была весьма худощавой. Несмотря на чуточку кривоватые ноги и излишнюю зажатость, она была по-своему хороша собой.

Нервная и впечатлительная, она могла расплакаться, когда уставала от долгого стояния в одной и той же позе. Если она начинала капризничать, я подбадривал ее виноградной глюкозой. Кудряшки на ее голове и лобок рдели рыжинкой.

Так себялюбиво относился студент с моим именем к своей первой свободной скульптуре. Сразу после работы и спуска по фасаду — в мастерской мы никогда не позволяли себе любовных утех — мы отправлялись трамваем в Графенберг, где до полуночи царил рэгтайм. Моя субботняя натурщица становилась партнершей по танцам, легконогой и послушной.

Ее пропорции — как же звали ту девушку, Элизабет? — угадывались в нескольких скульптурных эскизах; один из них — «Обнаженная с яблоком» — сохранился в виде гипсовой модели, с которой позднее была изготовлена бронзовая отливка. Отталкиваясь от своих нелегальных эскизов, я приступил под присмотром обычно ворчливого профессора в берете к работе над первой большой, примерно метровой скульптурой улыбающейся девушки.

Совершенно непохожая на пухлые модели Майоля, она стояла, прогнувшись и опустив руки. Магес не возражал. Во времена нацизма он приобрел известность военными памятниками и скульптурной композицией из двух мускулистых гигантов на берлинском Олимпийском стадионе; моя невысокая девушка ему понравилась. Более того, зимой сорок девятого — пятидесятого года эту девушку с несколько глуповатой улыбкой и такую же небольшую женщину с подчеркнуто широкими бедрами, изготовленную моей сокурсницей Трудой Эссер, назвали лучшими работами семестра, после чего фотографии обеих скульптур опубликовали в ежегодном отчете академии. Снятая фронтально, застывшая в дерзком контрапосте гипсовая фигура была подкрашена, отчего выглядела отлитой из бронзы. Улыбающаяся девушка занимала целую страницу в брошюре с ежегодным академическим отчетом.

Тогдашняя публикация не показалась мне примечательным событием, лишь при ретроспективном взгляде она приобретает

определенное значение, ибо при жизни мамы — она умерла от рака в пятьдесят четвертом — это было единственным документальным свидетельством того, что я действительно профессионально занимаюсь искусством. Мама, с опаской относившаяся к моим «сумасбродствам» и, как она выражалась «витанию в облаках», но слепо верившая в сына, теперь имела на руках реальное доказательство его способностей, которым можно было с оправданной гордостью похвалиться перед родственниками и соседями: «Глядите, как отличился мой сынок..»

Вероятно, эта единственная фотография стала для мамы своего рода иконой. Ах, если бы я мог предложить для показа больше, что-нибудь посимпатичнее. Но мои рисунки кистью и пером казались ей слишком мрачными, страшными. Позднее я по ее просьбе занял у моего друга Франца Витте масляные краски и вполне реалистично написал на загрунтованном пресс-шпане букет маминых любимых астр — моя единственная картина маслом.

Родители уже два года занимали небольшую, но хорошо отапливаемую двухкомнатную квартиру, которую им предоставила буроугольная шахта «Фортуна Норд»; в деревне Обераусем проживало много осевших здесь шахтеров. Потихоньку, вещь за вещью подбиралась мебель.

Когда я наведывался к родителям — обычно без предупреждения, экспромтом, — то обнаруживал академическую брошюрку на столике возле кушетки. Мама открывала нужную страницу, будто предчувствуя мой приезд. Она возлагала большие надежды на сына, который теперь получил определенное признание, а следовательно, давал ей повод для новых чаяний.

Вероятно, зримое свидетельство моих успехов вместе с указанным именем автора утихомирило затяжные споры между отцом и сыном, тон нашего общения смягчился. Моя сестра, которая уже год назад начала работать ученицей в дюссельдорфском Мариинском госпитале, во время наших совместных визитов к родителям прямо-таки наслаждалась семейным согласием; оно не нарушалось даже тогда, когда отцу или сыну крупно не везло при игре в карты за кухонным столом; я научился играть в скат еще мальчишкой, глядя, как это делает мама, которая была азартной, любила рискнуть, однако проигрывала довольно редко.

Она берегла академическую брошюру. Наверное, именно поэтому эта вечно смеющаяся девушка высотой не больше метра дорога мне до сих пор, хотя раньше я относился к ней и другим небольшим гипсовым фигурам совершенно равнодушно, а при

переезде в конце пятьдесят второго года и вовсе оставил их в мастерской, после чего один из однокашников забрал себе осиротевшую метровую фигурку.

Лишь спустя десятилетие, когда у меня появились известность, репутация и деньги, однокашник сообщил мне, что сделана бронзовая отливка, сохранившая фигурку. Та же участь постигла «Обнаженную с яблоком» — результат моих лазаний по фасаду академии. Эдит Шаар, которая непродолжительное время была натурщицей в нашем классе, а затем, перебравшись на север Германии и в Испанию, стала весьма разносторонней и плодовитой художницей, после моего отъезда сберегла гипсовую фигурку на память о том периоде, который — если не считать осязаемых предметов — вспоминается мне весьма схематично, будто смотришь неудачные, слишком темные фотографии.

Восстановить фактографически точно можно лишь немногое. Промежутки заполнены переменчивыми настроениями. Что тяжко обременяло меня или, наоборот, казалось чересчур легким, остается неопределенным. Нет событий, где я играл бы активную или же пассивно-страдательную роль. Забылось и то, что мучило меня до боли подробными воспоминаниями. Луковица отказывается от дачи показаний. Остается гадать, что происходило за стенами учебной мастерской или католического приюта. Самого себя я вижу одним из многих набросков, которые лишь отдаленно напоминают оригинал.

Студент академии уже второго, потом третьего семестра, вероятно, не только полностью погрузился в искусство, увлекаясь все новыми и новыми веяниями, которые быстро сменяли друг друга, но и по-прежнему переживал любовную и танцевальную лихорадку; не ясно, однако, испытывал ли я в те годы политического раскола Германии, начавшейся «холодной войны» и далекой войны в Корее симпатии к какой-либо из политических партий, а если да, то какими руководствовался аргументами. Эти годы ознаменовались не имевшим никаких последствий лозунгом «Ami, go home!».

Во всяком случае, помню, как у меня вызвали отвращение нувориши, появившиеся в Дюссельдорфе, когда наметились первые признаки «экономического чуда». Несомненны и мои тогдашние протестные настроения. Я достиг возраста, дававшего право избирать, но отдал ли я кому-либо свой голос на первых выборах в бундестаг? Вряд ли. Меня занимала лишь собственная жизнь, только мои экзистенциальные проблемы, а текущая политика меня мало интересовала. Иначе в дискуссии о ремилитаризации Германии я, обожженный в юности войной,

оказался бы среди сторонников хотя и вполне массового, но политически довольно пассивного движения «Без меня!».

Канцлер Аденауэр выглядел для меня фарисейской маской, которая скрывала все, что было мне ненавистным: христианское ханжество, тирады о собственной невиновности, внешняя добропорядочность, которой маскировалась банда преступников. Среди окружающей фальши единственно реальной была для меня всегдашняя нехватка денег. За фасадом благопристойности политики прокручивали свои махинации, а католики плели интриги. Обосновавшаяся в Дюссельдорфе фирма «Хенкель» выпускала стиральный порошок под названием «Персил». Отсюда пошло выражение «персильные анкеты», с их помощью отмывали свою репутацию те, кто замарал ее коричневым дерьмом. Вновь чистенькие, они занимали теперь высокие государственные посты, претендовали на уважение в обществе.

А социал-демократы? Курт Шумахер, которого я, еще будучи сцепщиком, видел на митинге в разрушенном Ганновере и которого сегодня я считаю незаслуженно забытым крупным политиком, отталкивал меня в начале пятидесятых своей национальной патетикой. Любые слова о нации для меня дурно пахли. Любые политические программы вызывали отторжение. Все аргументы социал-демократов, усвоенные мной на горизонте с отметкой девятьсот пятьдесят метров в калийной шахте, словно канули в небытие. Эгоцентрик воспринимал только самого себя, мне не хотелось бы теперь повстречаться с ним, а если бы такая встреча все же произошла, мы бы наверняка разругались.

Во время ночных разговоров, когда мы бесконечно гоняли чаи и много курили, я вместе с дымом вдыхал фразы из экзистенциалистского репертуара. Речь опять шла об абсолюте, только теперь, как мы считали, на более высоком уровне.

Но ни преступления минувшей войны, ни тем более нынешние межпартийные склоки служили темами наших словопрений; скорее, мы просто плутали в тумане неопределенных понятий.

Наверное, в этих ночных разговорах невнятно заявляли о себе антифашистские настроения и абстрактный филосемитизм. Мы наверстывали упущенную возможность Сопротивления, демонстрировали смелость и героизм, которые легко декларировать тогда, когда их не нужно доказывать делом. Видимо, и я принадлежал к числу отчаянных спорщиков; хорошо, что мусоросборник памяти не сохранил высказываний бесстрашного полемиста, каким, похоже, я был в ту пору.

Позднее, под влиянием моего следующего профессора Отто Панкока, кое-что изменилось, но пока наставником оставался

Зепп Магес, которого я уважал, хотя вряд ли можно назвать его выдающимся скульптором, оказавшим заметное влияние на своего ученика. Он никогда не говорил об искусстве. Имея твердое, незыблемое представление о художественной форме, он отдавал предпочтение сдержанности и простоте. В начале шестидесятых Магес опубликовал книгу под названием «Гранитные монументы», где сдержанность находила свое выражение в камне. Под его руководством я работал весьма прилежно и приобрел немало профессиональных навыков.

Но чем заполнялись мои будни за стенами академической мастерской? Я читал все, что можно было взять в библиотеке и что подсовывал мне отец Станислаус. На книжном рынке появились дешевые многотиражные романы издательства «Ровольт»: «Свет в августе» Фолкнера, «Суть дела» Грэма Грина. Я непрерывно писал стихи, на которые явно влияли то Рильке, то Тракль, то оба сразу. Кормился я преимущественно тем, что давали в приюте. Подрабатывал декоратором витрин или каменотесом на стройке, этих денег как раз доставало на жизнь. А когда на берегу Рейна устраивались праздники стрелковых обществ, я рисовал там портреты толстых любителей пива и их развеселившихся жен, брал по две марки за рисунок. Этого хватало, чтобы приобрести месячный трамвайный проездной, купить билеты в кино, ходить по субботам на танцы и, наконец, платить за табак.

А может, я начал курить лишь тогда, когда горняцкая страховая касса моего отца, который все еще работал на нижнерейнской буроугольной шахте, решила выплачивать мне ежемесячную стипендию в размере пятидесяти марок?

Во всяком случае, я стал курильщиком, когда молодой человек с моим именем счел, что ему пора закурить. Моим любимым сортом табака был «Шварцер Краузер»; этот табак мелкой резки хорошо подходил для самокруток. Фабричные сигареты вроде «Рот-Хэндле» или «Ревал» были мне не по карману.

Я курил так, будто научился этому сызмальства. При этом нельзя сказать, что наркозависимым сделал меня какой-нибудь жизненный кризис. Не заставляли меня тянуться к никотину ни любовные неурядицы, ни мучительные сомнения мировоззренческого характера. Наверное, жаркие споры с их плещущимся на поверхности мнимым глубокомыслием побудили меня к курению — по крайней мере, вызвали желание приобщиться к компании курильщиков, чтобы орудовать, словно один из них, табаком и папиросной бумагой; видимо, именно эта причина сделала меня зависимым от никотина, а попросту

говоря, заядлым курильщиком.

«Шварцер Краузер» продавался в пакетиках, снаружи синих, изнутри серебряных; левша носил такой пакетик всегда при себе, в соответствующем брючном кармане. Как сворачивать самокрутки, я подсмотрел у старослужащих солдат и шахтеров, поэтому юный сцепщик мог без труда заготовить своему машинисту электровоза полдюжины самокруток про запас.

В середине семидесятых я, опасаясь никотиновой гангрены, перешел на трубку; тогда же под названием «Самокрутка» появилась моя прощальная эпитафия долголетней привычке: «При сворачивании следует категорически отказаться от табачных крошек, которые не желают тебе подчиняться. Лишь уложив табак в треть обращенного к животу листочка папиросной бумаги, таковой плотно скручивается, после чего ее гуммированный край, который придерживается указательным пальцем, без спешки, обстоятельно, с чувством увлажняется языком…»

В моей эпитафии я воздал хвалу «продаваемой в Голландии папиросной бумаге, не гуммированной, но клейкой», а под конец отметил особое достоинство самокруток, ибо «каждый окурок скручен по-своему, но всегда нервически, поэтому моя пепельница ежедневно свидетельствует о том, насколько прогрессирует мой творческий кризис».

Если на нынешний взгляд подразделить мою биографию на три периода — некурильщик, курильщик самокруток и курильщик трубок, — то можно сказать, что некурильщик, каким я был в годы войны и ранние послевоенные годы, находился в наиболее выгодном положении, так как мог продать свой сигаретный паек, а позднее табачные талоны — порой на черном рынке за одну сигарету давали сырое яйцо, — а выгода курильщика состояла разве лишь в мимолетном удовольствии от затяжек дымом: порок, от которого я не могу избавиться до сих пор.

Для моего пятидесятилетнего двойника сворачивание самокруток выродилось в маниакальную привычку и стало своего рода священнодействием, которое замещало отсутствие иных ритуалов, однако врач сделал ему самое серьезное предупреждение, так что пришлось отказаться от каждодневного сворачивания и курения самокруток; один друг подарил ему несколько раскуренных трубок, после чего мой двойник пристрастился к трубке и пользуется ею по сей день, откладывая в сторону и забывая потухшей лишь тогда, когда я леплю из глины фигуры людей и зверей и все мои десять пальцев чувствуют удовлетворение.

Задним числом можно пофантазировать: если бы я целиком

остался предан скульптуре, не переключился бы на писание от руки или печатанье двумя пальцами эпически разрастающихся манускриптов, что стимулирует нервную тягу к никотину — какое-то время я вдобавок курил сигары и сигариллы, — то мне не довелось бы сегодня защищаться от наших воспитателей народа, которые хотя и цивилизовали свой фанатизм, ограничив его борьбой за запрет курения, и даже готовы сохранить небольшие зоны для неисправимых курильщиков, но кто знает, что им заблагорассудится ввести уже завтра как наказание во благо наказуемым?

К тому же если бы я, будучи добродетельным некурильщиком, своевременно отказался от писательской одержимости, то теперь я бы меньше кашлял, не отхаркивал бы серую слизь, у меня не болела бы левая нога и я был бы легче на подъем… Но оставим это!

Еще не став курильщиком или же вскоре после того, как меня соблазнило это неотвязное удовольствие, я под ворчливым присмотром профессора Магеса, который ежедневно совершал свой проверочный обход, сопровождаемый лапидарными замечаниями, научился сохранять шероховатой сырую поверхность глины моих скульптур, сохранять как можно дольше, ибо преждевременная гладкость, по словам Магеса, обманывает глаз. «Вещь только кажется завершенной», — гласил его неизменный приговор.

Этот метод я перенес позднее на работу с рукописью, когда от одной редакции к следующей сохранял шершавость, живость текста. Да и пишу я до сих пор стоя, за конторкой, поскольку привык стоять перед скульптурным станком. Магес не терпел сидячей работы.

Я оставался его учеником до конца пятидесятого года. Были завершены или выглядели завершенными несколько худощавых девушек. В эти месяцы учебы, пока я упорно отказывался делать фигуры по пропорциям наших обычно пышных и даже толстых натурщиц, не желая подражать округлым скульптурам Майоля, один из моих однокашников — это был инвалид войны со стеклянным глазом — изо дня в день высвистывал в мастерской темы и мотивы всех девяти симфоний Бетховена, а также его фортепьянных концертов.

Техника его художественного свиста была на удивление виртуозна. Сюиты и сонаты, весь классический репертуар от Баха до Брамса высвистывался настолько искусно и проникновенно, что я научился отличать Третью симфонию от Пятой, Шуберта от Шумана. Он насвистывал со сдержанным темпераментом, то есть

не слишком громко, и не совсем для себя. По просьбе однокашников он повторял особенно полюбившиеся мелодии, то или иное адажио, «Крейцерову сонату», «Маленькую ночную серенаду». Если мне не изменяет память, склонная к преувеличениям, он мог насвистеть целые партии из «Искусства фуги» Баха.

Насвистывая мелодии, которые другим однокашникам были хорошо известны и которых я раньше никогда не слышал, одноглазый ветеран разглаживал глиняную поверхность скульптуры идущей женщины в натуральную величину; в этой статуе было что-то от египетской мумии, а выравнивание шпателем продолжалось до тех пор, пока насвистываемое аллегро не подсказывало ему, что поверхность скульптуры нужно вновь зашершавить зубчатым инструментом. А за этим следовал медленный музыкальный пассаж, опять побуждавший к сглаживанию. Деревянный шпатель скользил вверх и вниз. И лишь когда Магес совершал очередной инспекционный обход, наш виртуоз прерывал свою концертную программу.

Так попутно я получил начальное музыкальное образование и, томимый эстетическим голодом, смог бы почерпнуть еще многое от мастера художественного свиста, если бы этому не помешал принципиальный диспут с моим учителем.

Нет, я не искал конфликта. Да и профессор, похоже, был доволен моим каждодневным прилежанием. Когда изготовленную им гипсовую модель — барельеф с большой фигурой коленопреклоненной женщины — предстояло перенести на известняк, он даже попросил меня, предложив весьма приличную почасовую оплату, помочь в работе над барельефом, который должен был украсить портал правительственного учреждения на набережной Маннесманна. Поджимал срок сдачи. Вместе с двумя подмастерьями из фирмы «Кюстер» я, вскарабкавшись на строительные леса, работал с гренцхаймерским известняком, камнем, который весьма коварен тем, что у него бывает разная твердость.

Настало время, когда мне захотелось после нескольких стоящих девушек вылепить лежащую женскую фигуру с широко раздвинутыми бедрами, но тут моего профессора шокировало явно различимое влагалище, сама поза, по его словам, «крайне вульгарная», не позволяла сделать композицию более благопристойной и избежать излишней откровенности. Он посоветовал мне закрыть бедра.

Когда ученик отказался придерживаться норм приличия и подчиниться диктату профессора, тот решительно произнес: «Подобных вещей я у себя в классе не потерплю!» А потом

добавил: «Ни за что и никогда!»

Не дал ли он волю рукам, сдвинув то, что, по его мнению, было слишком широко раздвинуто? Ведь глина мягка, податлива?

Воспоминание предлагает несколько вариантов этого эпизода, одни свидетельствуют в пользу профессора, другие — в мою. Допустим, после его вмешательства я восстановил прежнюю открытую позу лежащей фигуры, поскольку глина и впрямь податлива.

Во всяком случае, спор студента с профессором получился хотя и не громким, но строго принципиальным. Оба не были вылеплены из глины, а потому проявили неуступчивость. Попытки нашего ветерана со стеклянным глазом выступить от имени всего класса посредником в конфликте закончились безрезультатно.

Так я сменил учителя. Магес даже похлопотал о моем приеме в мастерскую Отто Панкока. К профессору Матаре, где доминировал его студент Йозеф Бойс и где витал дух христианской аскезы и антропософии, не тянуло меня самого. Вероятно, для меня настало время, когда хотелось свободы от любых образцов и наставничества, чтобы найти собственную дорогу, пусть даже окольную.

Панкок не был скульптором, работал только с черно-белой графикой, рисовал углем и занимался ксилографией, его даже считали дальтоником, однако он привлекал к себе учеников, которые стремились к экспрессивному самовыражению; таким на ту пору стал и я, а к тому же отличался строптивостью. С бывшими однокашниками я продолжал поддерживать дружеские отношения, например, с Беатой Финстер, неувядаемым одиноко-скромным цветочком, и особенно с Трудой Эссер и ее кудрявым красавцем Манфредом, похожим на северофризского викинга, которого позднее — но это отдельная история — переманили в Париж.

Моему новому учителю было лет пятьдесят пять, однако из-за рано поседевшей окладистой бороды он выглядел старше и, исполненный достоинства, осанистый, рослый, немного напоминал Бога Отца, хотя не отличался библейской суровостью, в общении со студентами проявлял терпимость и мягкость, а те видели в нем не столько учителя, сколько яркую личность. Он на многое смотрел сквозь пальцы.

Наверное, первые христиане казались, а точнее — были такими же непреклонными, поэтому их окружали насмешники и хулители. От него исходило что-то бунтарское. Долгое время образцом для меня служил его пацифизм, нашедший свое выражение в ксилографии «Христос ломает винтовку», которая

распространялась в виде плаката, агитирующего против ремилитаризации Германии; Отто Панкок был для меня примером вплоть до восьмидесятых годов, когда начались протесты против американских и советских ракет средней дальности, и даже позднее; поэтому, когда в конце минувшего столетия я создал на деньги от литературной премии фонд помощи цыганскому народу, то для меня было вполне естественно учредить в честь Отто Панкока и специальную премию, которая присуждается раз в два года.

Во времена нацизма ему запрещалось заниматься художественным творчеством и выставляться. Раньше он какое-то время жил с цыганами, странствовал с ними, запечатлел в поэтичных ксилографиях и рисунках углем быт этого исстари гонимого, маленького народа, который подвергся уничтожению. Он знал своих цыган, поэтому сумел отобразить их нужды и тревоги в виде страстей Христовых на крупноформатных листах, невероятно богатых разнообразными оттенками серого и переходами от черного к белому.

Цыгане, молодые и старые, стали его персонажами. Те немногие, кто пережил концлагерь Аушвиц-Биркенау, часто заходили не только в мастерскую Панкока, но и в мастерские его учеников. Они составляли необозримую семью Панкока. Они были для него больше чем живая натура. Они были рядом с нами в те времена, когда старые порядки, которые, как мы надеялись, навсегда потерпели крах, зримо возрождались в новом качестве, а мы чувствовали себя неприкаянными отпрысками Реставрации.

Занавес и перемена декораций спектакля, где действующие лица в зависимости от воспоминаний надевают то одни, то другие костюмы, заимствуя их из реквизита так беззастенчиво, словно мои персонажи полностью вымышлены. В заповеднике добряка со всклокоченной бородой, среди его окружения, можно было увидеть на картинах или в натуре все, что угодно, даже самое невероятное, поэтому позднее, когда у меня не иссякали чернила, в «зверинце» Панкока появился один выдуманный мной герой. В своем прожорливом романе он описывал собственную жизнь, главу за главой. В каждой из них он становился средоточием всех событий, играл то активную, то пассивную роль, был то таким, то этаким. А в мастерской, напоминавшей мне заповедник, он позировал.

Он был желанной натурой для художников и скульпторов, поскольку отлично подходил для работ экспрессионистского толка. Более того, горбатый карлик как бы воплощал собой все безумие ушедшей и начинающейся эпохи. Да, он был то таким, то

этаким, поэтому легко превращался даже в собственную противоположность. Столкнувшийся с ним гляделся в кривое зеркало. При его появлении каждый, кто оказывался к нему слишком близко, принимал другое обличье.

Так Отто Панкок, использовавший Оскара в качестве живой натуры, стал карикатурой на самого себя, превратившись в сопящего — аж угольная пыль из ноздрей — профессора Кухена. Едва заслышав, как рисовальщик начинал скрипеть сибирским углем по бумаге, Оскар создавал собственную антикартину, на которой чернил словами все, что попадалось ему на глаза.

Точно так же он обошелся и с учениками профессора, на мольбертах которых фигурировал, задавая стилистику студенческих работ. Только с цыганами Оскар не связывался, опасаясь, что те раскусят его коварную игру словами и зрительными образами, а главное — лишат его колдовской силы.

Я же, самый восприимчивый ученик Панкока, не только не упомянут в этой главе, где профессор пыхтит так, что из ноздрей летит угольная пыль, а вообще затерялся среди бесконечного множества слов, которые после некоторого приведения их в порядок приобрели форму романа, поступившего на книжный рынок.

Я оказался всего лишь орудием письма, который вычерчивал хитросплетения сюжета и был обязан ничего не упустить, ни реалий, отлитых в бетоне, ни химер, которые видны лишь при особом свете — эпизодов, когда на сцене появляется Оскар.

Он сам решал, кому гибнуть, а кому позволено чудом уцелеть. Оскар возвращал меня в удушливую атмосферу моих детских лет. Он давал мне возможность поставить под вопрос все, что выдавало себя за правду. Он — персонификация кривизны — научил меня видеть красоту в том, что криво. Он, а не я превратил Панкока в Кухена, сделал из добросерда-пацифиста вулкан, извергающего экспрессивную черноту на любой лист бумаги. Он и сам все видел в черном свете, очернял мир, его горб отбрасывал черную тень.

Попутно заметим, что Оскар Мацерат позировал и Магесу, перекрестив его в профессора Маруна. Несколько моих однокашников, которым он демонстрировал свой горб, позируя у Маруна и Кухена, также послужили пищей его писательской мании давать всему свои имена; например, моему другу Францу Витте, с которым я делил мастерскую под нестрогим присмотром Панкока, выпала призрачная роль Готтфрида фон Виттлара. А мой друг Гельдмахер, о котором еще пойдет разговор позднее, трансформировался в Клепа, лежебоку и любителя спагетти, который был коммунистом и одновременно глубоко чтил

английскую королеву, так что ухитрялся, играя на флейте, объединять «Интернационал» и «God save the Queen».

Автор постепенно попадает во все большую зависимость от собственных персонажей; тем не менее именно он несет ответственность за любое их деяние или бездействие. С одной стороны, Оскар коварно лишал меня собственности, с другой стороны, он же любезно уступал мне авторские права на все, что творилось от его имени. Жаль, финансовое ведомство не желает считаться с тем, что само существование автора есть лишь голословное утверждение, фикция, а потому не должно облагаться налогом.

Приходится признать, что мне затруднительно проверить мое прежнее житье-бытье на предмет достоверности сообщаемых фактов. Ведь едва я собираюсь поведать что-то, к разговору тут же примешивается посторонний, склоняя к сделке, похожей на библейскую историю о чечевичной похлебке.

Оскар отстаивает свой приоритет, знает якобы все лучше меня и высмеивает мою дырявую память; у него, как это можно прочесть, луковице отводится другая роль и иное предназначение.

Чтобы снять с себя бремя зависимости, в которой я был повинен сам, перехожу без обиняков к моим первым большим путешествиям. Для них давали возможность долгие летние каникулы с июля до начала сентября.

С пятьдесят первого года каждый гражданин ФРГ мог получить заграничный паспорт. Заявки на визу удовлетворялись после непродолжительного ожидания. Минимальную сумму, необходимую для путешествия, я заработал камнерезом на стройке, а кроме того, заблаговременно, еще зимой, я занимался фигурным оформлением карнавальных повозок-платформ: изготовленные из гипса, проволоки и парусины, на наших платформах раскачивались рука об руку, символизируя общегерманское единство, Аденауэр и Ульбрихт. До сих пор у меня в ушах звучит тогдашний карнавальный шлягер: «Кто за все заплатит? Кто тут так богат?»

Но в основном источником моих доходов служила облицовка фасадов известняком и травертином. Обновлялись подоконники из природного камня. Почасовая оплата составляла одну марку и семьдесят пфеннигов.

К середине июля я был готов отправиться в путешествие. Обещал родителям посылать если не письма, то хотя бы почтовые открытки. Рюкзак был легким: рубашка, смена носков, этюдник, пенал с кисточками и карандашами, блокнот, несколько книг.

Спальный мешок был куплен в магазине, где продавали выбракованные вещи с американских военных складов. Там же нашлись американские ботинки со времен фронтовых наступательных операций, которые теперь пригодились в качестве туристической походной обуви.

В соответствии с древней тягой германцев я, подобно тевтонам, императорам Гогенштауфенам или благочестивым немецким художникам из кружка «Назарейцев», хотел в Италию. Конечной целью избрал Палермо, где в моих детских фантазиях уже побывал в качестве оруженосца или сокольничего у Фридриха Второго, а на закате Гогенштауфенов вместе со свитой Конрадина.

Еще одним стимулом преодолеть Альпы стала нанесенная мне рана, боль которой не заглушали ни бесконечные потоки стихов, ни неумеренное употребление никотина: моя первая любовь — если отвлечься от школьной любовной лихорадки — потерпела крушение.

Аннерозе, как и я, училась на отделении скульптуры. Сероглазая или голубоглазая, она казалась мне красавицей, и я знал тогда почему. Она носила развевающиеся юбки, а к нам приехала из Штутгарта, где прежде училась у скульптора Баума. Все произошло в марте или начале апреля, в то время года, когда еще весна больше сулит, нежели может исполнить, но уже подстрекает к переменам.

Незадолго до начавшегося романа я наконец без особых прощальных церемоний покинул приют «Каритас». На Юлихер-штрассе нашлась свободная ванная комната, где ванна пустовала, поскольку не была подключена к водопроводу, зато там наличествовала мебель в виде комода и раскладушки.

Моя сестра продолжала профучебу в административном здании Мариинского госпиталя; она сумела договориться в тамошней столовой о бесплатном питании для меня, поэтому теперь я был вверен милосердному попечению францисканских монашек, к тому же появилась возможность проводить танцевальный досуг то с одной медсестричкой, то с другой, после чего следовали краткие визиты на раскладушку жильца ванной комнаты на Юлихер-штрассе. В ванной комнате лежал кокосовый половик, который я не стану описывать подробно, ибо в разговор опять вмешивается Оскар, перебивает меня, желает подселиться и быть в доле.

Общение с медсестрами на Юлихер-штрассе было непродолжительным. Оно резко закончилось, едва на глаза мне попалась Аннерозе, вытеснив любых других соперниц. Теперь я

видел, хотел видеть только ее. Как всегда при подобном сужении кругозора, проснулись собственнические чувства. Мне приспичило немедленно обзавестись собственным просторным гнездом. Ванная комната с неподключенным водопроводом была слишком тесна и к тому же обременена нехорошим прошлым.

Вместе с музыкантом и художником Хорстом Гельдмахером — а еще нам помогал бригадир каменщиков Каппнер, который в мои детские годы жил по соседству в данцигском предместье Лангфуре, — я начал перестраивать верхний этаж бывшего сарая под мастерскую с жилым помещением: таким образом я рассчитывал создать долговременное пристанище для нашей бездомной любви, да и сам впервые обрел бы свою крышу над головой после многих лет проживания в бараках или комнатах, заставленных двухъярусными шконками.

Во всяком случае, любовь и собственнические чувства в равной мере подстегивали мой созидательный энтузиазм, который позднее не раз находил для себя применение сначала в полуразрушенном доме в берлинском районе Шмаргендорф, потом при оборудовании большой квартиры и мастерской на Фриденауэр-штрассе, за ними последовала мастерская в приморской северной деревушке Вевельсфлет, маленькая мастерская на датском острове Мен, старый португальский дом и, наконец, белендорфский хлев — все это перестраивалось, расширялось, приспосабливалось под мои нужды, чтобы у меня было мое и только мое место для новых «головорожденных».

Значительная часть материала, цемент, гипсовые плиты, пустотелые блоки, металлические рамы для окон верхнего света и дверь для внешней стальной лестницы были заимствованы на неохраняемых стройплощадках или задешево приобретены с помощью знакомого полицейского, который был сыном моего соседа с данцигских времен, доросшего до бригадира.

Лестница досталась нам по сходной цене от одного предпринимателя, который занимался сносом старых домов. Гельдмахер раздобыл чугунную печку и несколько метров трубы для дымохода, которую вывел через стену наружу. Отец, получавший за работу на шахте натуроплатой изрядное количество угля, помог мне привезти уже весной партию брикетов в качестве запаса на следующую зиму.

Кирпичный сарай, который нам сдали за умеренную арендную плату, находился на заднем дворе доходного дома; нам разрешили пользоваться туалетом нижнего этажа. Во дворе росло чахлое деревце, уж не помню какой породы.

Гельдмахер со своими флейтами, волынкой и саквояжем акушерки поселился в передней части переоборудованного сарая.

А мы с Аннерозе заняли мастерскую, где при ясной погоде через застекленную крышу можно было считать звезды на ночном небе. На четырех кирпичах покоился двуспальный матрас. Днем и ночью, когда мы становились многорукой и многоногой единой плотью, из соседней комнаты доносилась блокфлейта Гельдмахера, который исполнял блюзовые вариации на мотивы детских песен.

Наше краткое счастье продолжалось до лета. Нам с Аннерозе было бы тепло и в холодное время, охота к соитию также вряд ли поубавилась бы, однако мою первую любовь оборвал неожиданный финал.

Далекая мать моей возлюбленной, изначально вызывавшая у меня опасения, разразилась потоком телеграмм и писем, где безоговорочно приказывала дочери, в конце концов покорившейся, немедленно вернуться в Штутгарт.

К письмам прилагалась вырезка из местной газеты, призванная подтвердить сообщение о прочитанных ужасах. В длинной газетной статье рассказывалось, как некий каменотес убил девушку, использовав для преступления свой профессиональный инструмент — молоток и стамеску, сфотографированные в качестве вещественных доказательств. К тому же в вырезанной заметке говорилось, что каменотес является выходцем из бывших восточных германских земель, да еще и левшой.

Аннерозе колебалась целую ночь и половину следующего дня, однако мать победила. Душераздирающее прощание. Почти законченная мастерская с застекленной крышей показалась мне до ужаса опустевшей. Постель была теперь слишком широка. Мне не хватало ее швабского говора. Ее коротких и сильных пальцев. Бедный пес, внезапно лишенный привычных ласк, жалко скулил в одиночестве; этот скулеж еще можно воспроизвести, но остаются тщетными мои попытки разгадать, о чем думал тогда покинутый возлюбленный.

Раньше он сам уходил от девушки или женщины, не прощаясь, если та ему прискучила, что случалось довольно быстро. А теперь он чувствовал себя отцепленным вагоном, который загнали в отстойник и забыли.

Мой друг Гельдмахер, извлекавший до глубокой ночи из разнообразных блокфлейт джазовые импровизации на темы немецкого музыкального фольклора, не мог утешить меня, как бы виртуозно ни превращал в блюз народную песенку «При колодце у ворот».

Немного помогала работа на стройке. А еще мне удалось

выменять у управдома академии полный комплект оборудования для моей мастерской, за что управдом получил коллекцию редких марок Вольного города Данциг, которую мама сохранила, несмотря на все перипетии депортации. Он отрядил мне из академических подвалов скульптурный станок, две вращающихся подставки, несколько стальных циркулей и мольберт, который до сих пор — хоть и не помню, кто доставил мне его сюда — стоит в моей белендорфской мастерской с инвентарной табличкой «Натурный класс II».

Но ни этот выгодный обмен, ничто другое не могло скрасить мне утрату любимой, разве что — путешествие.

Спешно была запрошена виза. Пока тянулось ожидание, я занимался облицовкой фасадов. Кожаный нагрудный кошелек, спрятанный под рубахой на голом теле, насчитывал около трехсот марок. Отъезд походил на бегство.

Автостопом я довольно быстро продвигался на юг, пока навязчивая безумная идея не понудила меня прервать путешествие на стоянке автострады под Штутгартом — первом этапе моего маршрута.

Грузовиком добрался до центра города. Искомый адрес: Хазенбергштайге. На холме за елями отыскал виллу, где укрылась моя возлюбленная, которой внушили, будто ей надо бояться сластолюбивого маньяка-каменотеса, и теперь она сидела там взаперти, послушная, как в сказке, наущениям злой матери.

Решил ли я сыграть роль сказочного принца?

Что двигало мной — месть или же искорка надежды?

Когда кинолента, побежавшая вспять, наконец останавливается, вижу себя в надвигающихся сумерках — или дело происходило уже ночью? — перед запертыми садовыми воротами, поржавевшими, с кривыми петлями. Витиеватая кованая решетка, которую я трясу снова и снова. Отчаянно жестикулируя, требую впустить меня, громко проклиная мать и дочь, свищу в два пальца. Никто не выходит хотя бы чуточку приоткрыть ворота. Проклятья возобновляются. За ними следуют уговоры, мольба, возможно, даже слезы.

А теперь я вижу то, чего не показывает отмотанная назад и вновь запущенная кинолента: разъяренный молодой человек двумя руками срывает ворота с петель и швыряет их в сад, где замерла от ужаса вилла.

Видимо, в молодые годы я и впрямь был так силен. Похоже, разъяренный безумец действительно швырнул в сад тяжелые кованые ворота. Боль утраты была столь велика, что я не знал, куда девать избыток любви.

Однако документальный фильм запечатлел бы нечто иное: по ходу романа «Собачьи годы» один из его героев, ослепленный местью, срывает с петель ворота и — в качестве символа «заброшенности» — швыряет их на садовый участок философа в ночном колпаке, но там действие разворачивалось у подножия Шварцвальда и побудительные мотивы были совсем другими, я же на самом деле ничего такого не сделал, а, отчаявшись и опустив руки, просто стоял на штутгартской ступенчатой улице Хазенбергштайге.

Молодой человек молча томился перед запертыми воротами, ибо — теперь мне припомнилось это точно — добрался до виллы уже ночью, он глядел на освещенное окно мансарды, напрасно ожидая, что там появится знакомый силуэт, и предавался своей тоске. Не гукнул сыч. Не всхлипнул сочувственно соловей. Конец фильма. Я пустился с холма бегом.

Попутные легковые машины, грузовики, а от Инсбрука даже мотоцикл доставили меня с моими страданиями — они, впрочем, с каждой пересадкой заметно слабели, — через перевал Бреннер в «страну лимонных рощ в цвету».

Я забрался далеко. На трехколесном грузовичке, на ослиной повозке, на популярной в те годы двухместной малолитражке под названием «Тополино». Вверх и вниз по «итальянскому сапожку». А там еще дальше: пересек Сицилию, где между Сиракузами и Палермо очутился в совершенно голой местности. Нигде ни тени, а мне пришлось часами ждать попутной машины, телеги или чего-нибудь на колесах, пока из лощины между карстовых склонов не появилась группа вооруженных людей; они приближались и были совсем не похожи на охотников, а представляли собою, видимо, дозорный отряд местной мафии; наконец, они обступили чужака в соломенной шляпе, с любопытством разглядывая его.

Опустошив рюкзак, я выложил для досмотра мой нехитрый скарб. Предводитель в длинном сюртуке, походившем на монашескую рясу, расспросил меня, откуда я прибыл и куда направляюсь, а тут внизу наконец показалась — что? — ну, разумеется, двухместная малолитражка «Тополино», — которая вскоре поднялась к нам и была остановлена для меня протянутым карабином.

Были и другие приключения, которые я слишком часто пересказывал моим детям, причем в разнообразных вариантах, поэтому сейчас затруднительно выбрать наиболее реальную версию истории, согласно которой, скажем, мое дальнейшее продвижение обеспечил хорошо знакомый мне немецкий карабин

К-48, трофей от недавних оккупантов; из него и был сделан предупредительный выстрел, остановивший машину. Так или иначе, по моей версии, мне помогла сицилийская мафия, которая под личным руководством далекого крестного отца Счастливчика Лучано из Нью-Йорка содействовала захвату острова американскими войсками в сорок третьем году.

Похоже, местные представители «почтенного общества» приняли меня за благочестивого паломника, бедного pellegrino, идущего с покаянием к святой Розалии, которая, как известно, обреталась в Палермо. Вот они мне и помогли. А от Кальтанисетты меня совершенно добровольно подвез до цели моего путешествия водитель попутного грузовика.

Но до этого я побывал в Тоскане и Умбрии, добрался до Рима, успел посмотреть в Галерее Уффици оригиналы тех шедевров живописи — «Венеру» Тициана и «Рождение Венеры» Боттичелли, а во флорентийской галерее Палаццо Питти это был «Святой Себястьян» Содомы, пронзенный стрелами и так красиво изогнувшийся от боли на фоне дерева и изумительного пейзажа, — которые еще в детстве пробудили во мне страстный интерес к искусству, благодаря репродукциям, что присылались в обмен на сигаретные купоны. Мне легко вспомнить себя перед портретом горбоносого мужчины в красной шапке, которого написал Пьеро делла Франческа.

Я ночевал в молодежных приютах и монастырях, под оливами и на виноградниках, иногда даже на парковых скамейках. Там подворачивалась mensa poplare, народная столовая, я ел дешевые блюда итальянской кухни, пасту, хлебный суп с глазками жира, впервые попробовал еду бедняков — неаполитанскую триппу, то есть тушеный рубец, который приготовляется из коровьего желудка, — его чистят, тщательно промывают, после чего он становится похожим на махровое полотенце.

Из рубца с помидорами, чесноком и белыми бобами я не раз варил густую похлебку для желанных гостей: скажем, для Наумбургского мастера и его натурщиков, которые позировали для скульптур в соборе, — все они были выходцами из бюргерских или крестьянских семей, поселившихся на завоеванных землях у реки Заале.

Они помогали Наумбургскому мастеру, когда он ваял из известняка статуи графини Гербург и графа Конрада, маркграфа Германа и его смешливой супруги Герлинды, задумчивого графа Зиццо и меланхоличного донатора Тимо фон Кюстрица, а также Эккехарда Второго и его бездетной жены, всемирно известной Уты Наумбургской.

В те времена, когда западный хор собора был украшен

раннеготическими скульптурами донаторов, здесь еще не знали ни помидоров, ни белых бобов. Но для моих гостей, сопровождающих Наумбургского мастера, я приготовил бы рубец с бобами, дешевое и сытное блюдо, которым я питался в «народных столовых» Рима.

Его отведала у меня даже прекрасная Гертруда, жена бочара, которая позировала для скульптуры Уты Наумбургской; мрачный ломовой извозчик, двойником которого стал граф Зиццо, никак не мог вдоволь наесться рубцом; а Вальбурга, дочка ювелира, ямочки которой перешли на щеки королевской дочери Реглинды, тоже сразу попросила добавки.

Еще в период существования ГДР, когда, наконец, власти этого закрытого государства разрешили мне поездку в Магдебург, Эрфурт, Йену и Галле для встреч с читателями — это было за два года до падения Стены, — мы с Утой посетили Наумбургский собор. Пока мы осматривали стоявшие на возвышении статуи донаторов и моя Ута смотрела вверх на другую Уту, женщина-экскурсовод объясняла нашей туристической группе социально-исторический смысл высеченной из камня многофигурной композиции: «Наумбургский мастер, сознательно отказавшись от изображения двенадцати канонизированных святых, взял за образец представителей трудового народа, которые уже тогда обладали вполне развитым чувством классового достоинства…»

Затем наша женщина-экскурсовод подчеркнула, что фашистская пропаганда, насаждавшая культ Уты Наумбургской, была не в силах умалить красоту реалистического изображения других фигур из композиции. Когда мы уходили, мне послышался смех Реглинды.

У меня имелись три адреса, записанные накануне путешествия в Италию. На первом значилась штутгартская ступенчатая улица Хазенбергштайге, с ним я расправился быстро. Второй адрес я получил от моей сестры Вальтраут, которая весной закончила свою профучебу, после чего некоторое время работала неподалеку от Рима у монахинь того ордена, который кроме главного монастыря в Аахене и нескольких больниц располагал еще и заграничными филиалами.

К римскому филиалу относились детские ясли, где моя сестра помогала по хозяйству. Монахини постоянно работали, копались на огороде, так что у них, похоже, не оставалось времени для молитв. Даже настоятельница не отставала от других, она не только отдавала распоряжения, но и сама занималась бельем, участвовала в сборе урожая оливок. Гостеприимный монастырь, деятельное милосердие.

По дороге на Сицилию и на обратном пути я останавливался в монастырском флигеле, то есть в одной из келий с видом на Альбанские горы.

Каждый вечер мне ставили кувшинчик вина. Еду с кухни приносила дебелая монашка, родом из Вестфалии, которая перед уходом любила попотчевать меня душеспасительными историями.

С помощью пустого стакана, через стенку которого просвечивал косой луч солнца, она объясняла мне, неверующему, якобы несомненное на все времена чудо непорочного зачатия. В качестве аргумента она указывала пальцем на проникающий свет и неповрежденное стекло.

Так вечерний луч символизировал целеустремленность архангела, а твердость веры окрашивалась вестфальским акцентом.

Пичкая меня объяснениями, не имеющими никакого отношения к реальному сексу, монашка с кухни улыбалась столь ясной улыбкой, будто она сама была стеклянной и повседневно переживала несомненное чудо. Пряча руки в свое защитное облачение, она уходила с таким видом, словно ей больше нечего сказать.

После ее ухода я тотчас выпивал вино из девственно неповрежденного стакана. Наверняка мою голову посещали при этом отнюдь не целомудренные мысли. Ведь, уже будучи подростком, я воображал себя не только архангелом-благовестником. А в плену, когда мой солагерник Йозеф, играя со мной в кости, пытался обратить меня в единственно истинную веру, я не только кощунствовал по адресу Девы Марии, но перечислял ему все орудия пыток, с помощью которых люди обоего пола терзали друг друга во славу Богоматери.

Но моей сестре, похоже, нравилось общество деятельных монахинь. Она вновь обрела детскую веру, утраченную в конце войны из-за солдат-насильников; позднее это обернулось печальными последствиями.

Третий адрес мне дала незадолго до путешествия Дина Верни, энергичная женщина, которая была последней натурщицей Аристида Майоля в Париже и теперь весьма активно торговала его скульптурами.

Она приехала в Дюссельдорф, чтобы продать бронзовую статую в натуральную величину. Позднее эта бронзовая девушка, для которой позировала сама Дина Верни, украсила Дворцовый парк.

Мы смотрели на нее как на диковину, а она однажды вечером

пела для нас по-немецки и по-русски революционные песни. При этом она надолго смутила душевный покой моего приятеля Гельдмахера, а у Труды Эссер она увела ее возлюбленного Манфреда, умыкнув его в Париж, где тот с годами все больше глох.

Мне же, сделавшемуся тогда из-за несчастной любви невосприимчивым к подобным соблазнам, она дала адрес своего бывшего мужа, который как раз отсиживал государственную французскую стипендию на Вилле Медичи. Как бы между прочим Дина Верни намекнула: «Он любит гостей».

Так оно и вышло: стипендиат принял гостя запросто. Помнится, быстро освоившись в его пустой и практически неиспользуемой мастерской, я принялся работать над скульптурным портретом, о чем свидетельствует расплывчатая фотография, которая запечатлела моего гостеприимного хозяина, кудрявого, беззаботного и праздного, в виде глиняного бюста. Скульптурный портрет выглядит экспрессивным и незавершенным, он похож на эскиз фавна.

За длинным античным столом из мрамора я вместе с другими стипендиатами получал обед из нескольких блюд; кажется, творческая деятельность стипендиатов выражалась исключительно в пространных беседах, в которых мне были понятны только жесты. Компания курила перед каждым блюдом, после него и даже во время еды. Режиссер вскоре появившейся «новой волны» французского кино смог бы скрытой камерой снять сценки, весьма характерные для того времени.

Расположенная выше Испанской лестницы Вилла Медичи походила на санаторий для утомленных жизнью художников. Через каждый десяток шагов в просторном парке стояла тенистая каменная скамья, приглашая отдохнуть.

Днем я бродил по улицам Рима дольше, чем позволяла жара. Прохладу можно было найти только в церквах или часовнях. Все, что я видел — каждый фонтан или обрубок колонны, — становилось метафорой. Толпы одетых в черное монахов с их широкими шляпами служили мотивом для быстрых набросков. Я рисовал голубиным пером или пером чайки, макая их в баночку с разведенной китайской тушью. Все было удивительным, просилось на бумагу: сонные лошади легковых извозчиков, играющие на улице дети, белье на длинных веревках. Толстуха на балконе. Пустынные площади, где нет тени.

Я купил себе соломенную шляпу. Курил самые дешевые сигареты «Национале», если только бывший муж Дины Верни, который жил на Вилле Медичи, словно принц в изгнании, не угощал меня «Голуаз». От моего запаса табака «Шварцер Краузер»

не осталось ни крошки.

Каждый день — подарок. Далеко забрался я в моем первом самостоятельном путешествии, которое было ограничено по времени, однако для меня оно никогда не прекращалось, ибо до самой старости любое другое путешествие — а мы с Утой побывали на разных континентах, объехали Китай, Индию, Мексику… — хоть и бывало тщательно подготовленным, спланированным так, чтобы стать содержательным и интересным, но все они не выдерживали сравнения с тем каждодневным обогащением, которое я испытывал в ходе моей первой поездки вверх и вниз, вдоль и поперек «итальянского сапожка».

Я жил этим, вбирал в себя впечатления, не мог досыта насмотреться, тщетно пытаясь ограничить переизбыток вещей, заслуживающих внимание. Меня изумляла жестикуляция мраморных фигур, восхищали бронзовые статуэтки этрусков, во Флоренции и Ареццо я обращался к Вазари, в Палаццо Питти и римском Палаццо Боргезе мне виделись скорее сигаретные картинки моего детства, нежели помпезно обрамленные оригиналы.

Я рисовал пейзажи, улицы и площади, истекал, как обычно, стихами, в которых отражался то неподвижный полуденный зной сиесты, то прохлада фонтана в тенистом парке. Счастливо несчастный, шел я по следам «назарейца» Карла-Филиппа Фора, который совсем молодым утонул в Тибре, я заводил друзей, хотя наша дружба была недолговечной, встречал новых людей и расставался с ними на развилках дорог, поневоле жил экономно, однако порой баловал себя лимонным мороженым, легко взбегал по Испанской лестнице, давал сестре сфотографировать меня в соломенной шляпе, благодаря чему сохранился еще один мой снимок тех времен, в умбрийском монастыре отреставрировал за пропитание и ночлег поврежденную гипсовую Мадонну с младенцем, гулял по променаду Перуджи, танцевал под украшенной гирляндами разноцветных фонариков виноградной перголой с англичанкой, похожей на ангелов Боттичелли, блуждал по лабиринтам неапольских улочек, написал из Неаполя длинное письмо маме, скрашивая колоритными подробностями ее несбывшиеся мечты, в Мессине подработал немножко денег на продолжение поездки, оформляя рекламу газа-бутана, разыгрывал из себя перед местными мафиози паломника, pellegrino, идущего в Палермо, за что те одаривали меня помидорами и козьим сыром.

Я чувствовал абсолютную свободу, ощущал ненасытную жажду странствий, считал себя избранником, авантюристом,

баловнем удачи, но был при этом лишь одним из многих тысяч молодых людей, которые в первые послевоенные годы опробовали свои представления о свободе, пересекая наконец-то открытые границы и разъезжая автостопом — как это здесь называлось con mezzo di fortuna, — чтобы добраться до Ассизи, Помпеи, Агригента или куда-то еще. Встречал я и таких туристов с рюкзаком за плечами, которые семь лет назад, одетые в форму той или иной армии, пережили бои за монастырь Монтекассино или участвовали в высадке союзников на побережье Анцио-Неттуно, были врагами, а теперь сменили военную форму на гражданскую одежду и вполне мирно осматривали места былых сражений. Я видел дорожные указатели к солдатским кладбищам, где выстроились батальоны крестов, видел быстро зарастающие развалины.

А еще я встречал девушек, которые в одиночку или вдвоем приезжали из Швеции, Канады или Шотландии, чтобы попутешествовать по Италии, и отовсюду слали открытки в Хапаранду, Торонто и Глазго. Но я был равнодушен к любой из них, ибо до сих пор пребывал в плену у швабской ограниченности. И только в Палермо, где мнимый паломник вопреки обещаниям местным мафиози не стал поклоняться святой Розалии, а был принят профессором Россоне, который вел в Accademia di Belle Arti класс скульптуры, мое сердце внезапно открылось для его ученицы Авроры Вараро. Преграда рухнула, завеса пала. Все произошло, можно сказать, с первого взгляда…

Ей было лет семнадцать, ее нежную прелесть блюли так строго, что я лишь где-нибудь на боковой церковной скамье мог наедине с ней немногими словами выразить то, чем она пленила меня, какие пробудила во мне желания, от каких душевных переживаний мне хотелось избавиться с помощью невинной близости с ней и почему печалит меня ее неусыпно охраняемая красота. Конечно, любил я и звучание ее имени.

С разрешения профессора Россоне Аврора позировала мне для скульптурного портрета, при этом рядом с ней всегда находился либо ее младший брат, угрюмый парень, либо бабушка, которая порой подремывала. Мы могли лишь обмениваться взглядами. Иногда соприкасались кончиками пальцев. Намек на любовь так и повис в воздухе, словно легкое перышко, да и скульптурный портрет Авроры с удлиненными пропорциями не был завершен; кажется, один из учеников Россоне сделал гипсовую отливку по моему этюду.

Я уехал — она осталась. Но по сей день, по прошествии пятидесяти лет, разлучивших нас — эта разлука прервалась лишь однажды в начале шестидесятых, однако об этой встрече я

предпочитаю умолчать, — мы время от времени посылаем друг другу весточки, не забыв ничего: ни секретничанья в церкви, ни произнесенных шепотом слов, ни единого мига мимолетной близости.

То, что произошло бы, останься я в Палермо, можно представить себе лишь в совсем другом кинофильме, трагикомедии, которая разыгрывается под небом Сицилии с длинным сюжетом, нафантазированным до глубокой старости. Все, что сохранилось на этой островной исторической свалке от греков, сарацин, норманнов и Гогенштауфенов, вероятно, дало бы мне пищу для разветвленного эпического романа. Но таковы самодостаточные мечты, которым нет нужды сбываться.

А как же Данциг? Что вспомнилось бы мне об утраченном Данциге из далекого Палермо?

Когда на обратном пути автостопом через Чефалу меня подхватил первый же остановленный грузовик и я, сев рядом с водителем, открыл сверток с дорожным провиантом, там кроме пирожков и сушеных фиг обнаружилась полудюжина сваренных вкрутую яиц. Так заботливо проводила меня моя несбывшаяся, но сохранившаяся, подобно вкраплениям в янтаре, любовь.

В середине сентября, точно к началу нового семестра, я добрался до Дюссельдорфа. Почти отстроенная мастерская на Кирхштрассе в районе Штокум уже не показалась мне безжизненно опустевшей. Я тотчас принялся за бюст святого Франциска с узким профилем и за глиняные статуэтки, которые напоминали этрусские образцы. Рядом был и флейтист Гельдмахер с его множеством музыкальных инструментов и неповторимым запахом, который вытеснял все остальное.

Панкок отнесся к моей походной добыче — рисункам и акварелям — доброжелательно, однако без особого внимания. Многие ученики вернулись из путешествий, каждому было что показать.

Ретроспектива итальянского путешествия дала возможность отвлечься на время от побочной сюжетной линии, которая, изобилуя персонажами, получила самостоятельное значение и дала материал для прямо-таки всепоглощающего романа, но все же кое-какими остатками можно воспользоваться, чтобы продолжить рассказ.

На фотографии, снятой Ханнесом, братом Труды Эссер, Гельдмахер, я и Франц Витте курим нечто, похожее на сигары. Мы явно чувствуем свою значительность, каждый в своей роли.

Дружба с Хорстом Гельдмахером, по прозвищу Флейтист, мое устойчивое пристрастие к рэгтайму и блюзу, обернулось тем, что наша троица создала джаз-банд. Третьим был Гюнтер Шолль,

который играл на гитаре и банджо; он хотел получить диплом педагога и заниматься художественным воспитанием, поэтому вскоре стал учителем рисования; Шолль всегда пребывал в отличном настроении.

Мне достался весьма банальный предмет домашнего обихода, служивший музыкальным инструментом еще на заре джаза в Новом Орлеане, — стиральная доска, на волнистой поверхности которой я задавал ритм восемью наперстками.

В похожем на длинную кишку двухэтажном ресторанчике под названием «Чикош», оформленном на венгерский манер, мы играли по три вечера еженедельно. В остальные дни выступал цыган с цимбалами и его сын с контрабасом.

Нас запихнули под лестницу, ведущую на верхний этаж, и мы за кормежку и скромную плату работали в поте лица до полуночи, ублажая публику, которая состояла из нуворишей, некоторого количества более или менее известных артистов и художников, а также их сопровождения. Хозяин и хозяйка «Чикоша», Отто Шустер и его жена, казались персонажами некоего романа, поэтому они весьма пригодились для побочной сюжетной линии моей книги, где Оскар Мацерат заменил стиральную доску на жестяной барабан.

Распоряжаясь действующими лицами по собственной прихоти, он отвел «Чикошу» целую главу под названием «Луковый погребок», довольно многозначительную, ибо там толстокожих, но жаждущих острых впечатлений посетителей модного ресторана заставляли прослезиться с помощью ножей и разделочных досок: в качестве особого «слабительного» средства использовались измельченные луковицы, что помогало смягчить свойственную послевоенному обществу «неспособность к скорби» — само это выражение появилось гораздо позднее.

Происходило это так: плати деньги — и плачь. Оплаченные слезы приносили облегчение. В конце концов, посетители ресторана, послушные барабану Оскара, превращались в лепечущих младенцев. Из чего следует, что луковица более пригодна для использования в литературном произведении, чем иные овощи или фрукты. Способствует ли она, лишаясь одной чешуйки за другой, пробуждению воспоминаний или возобновляет утраченные функции слезных желез, луковица всегда хороша для метафор, а в случае с «Луковым погребком» она еще и давала неплохую основу для коммерции. Добавить к этому нечего. То, что становится литературой, должно говорить само за себя. Но даже если «Луковому погребку» будет суждено пережить «Чикош», мне до сих пор помнится духота модного ресторана, где хозяйничал Отто Шустер; керосиновые лампы

создавали там полумрак и особую эмоциональную атмосферу.

Мы, три музыканта-поденщика, работали почти без перерывов. Лишь сильно за полночь, когда последние гости уже разошлись, мы наедались до отвала сегединским гуляшом. Курил я умеренно, зато много пил: граппу, сливовицу, разные шнапсы, все, что нам подносили восторженные дамы. Дела ресторана шли бойко, ибо так называемое «экономическое чудо» подстегивало цены.

Я опускался. В академии меня видели редко. Очередная ночь проглатывала следующий день. Пустые разговоры. Сивушный дух изо рта. Рожи посетителей, калейдоскоп которых нельзя запомнить. Пробелы и без того дырявой памяти. Тем не менее, словно на матовом экране, проявляется один запечатлевшийся в памяти эпизод, который кажется мне вполне достоверным: мы трое — Гельдмахер со своей до хрипоты натруженной флейтой, Шолль, нащипывающий струны банджо или бьющий по ним, и я, то терзающий мою стиральную доску, то едва прикасающийся к ней, однажды вечером удостоились внимания именитого гостя.

Отыграв джем-сейшн перед многочисленной публикой — все билеты были распроданы задолго до выступления, — наш идол тех лет и сопровождавшие его люди заглянули в «Чикош». Сидя за пять-шесть столиков от нас, он слушал джаз в нашем исполнении, и ему, видимо, понравились пронзительные звукоизвержения флейты; у Гельдмахера был действительно неповторимый «саунд».

Именитый гость, как рассказывалось позднее, попросил доставить на такси из отеля его трубу, после чего неожиданно и самолично появился в нашем уголке под лестницей на верхний этаж, чтобы — теперь я вижу его совершенно отчетливо — приложить к губам мундштук и присоединиться к нашему трио плохо оплачиваемых музыкантов, которые пытались пробиться сквозь ресторанный гомон; он резко вступает, подхватывает дикую свистопляску флейты, закатывает глаза и выдает соло на трубе, которое затем сменяется партией другого солиста по фамилии Гельдмахер, теперь уже на блокфлейте, потом следует дуэт блокфлейты и трубы, играет он, великий Сачмо, хорошо знакомый нам по дефицитным пластинкам, за которыми мы охотились, по радиоконцертам и глянцевым черно-белым фотографиям. Через минуту он опять на недолгую вечность присоединяется к нашему трио, предоставляет возможность мне и моим наперсткам задать новый ритм, ободряет банджо Шолля, мы сливаемся в общем ликующем звучании, а потом, едва Moneymaker, взявший уже флейту-пикколо, завершает свой

рискованный танец на канате, признательным вскриком трубы прощается с нами, дружески, хоть и чуточку свысока, на манер доброго дядюшки, кивает каждому — и уходит.

Какое событие! Нет, ни банджо Шолля, ни мои наперстки на волнистой поверхности стиральной доски, а Флейтист, который, слегка обозначив мелодию немецкой народной песни, легко переносил ее, словно ностальгирующий эмигрант, в далекую Алабаму, — он послужил магнитом. Он своими вариациями на тему «Охотника из Курпфальца» — или это была песенка о рождественской елке? — привлек внимание Луи Армстронга.

Дерзко, с лунатической уверенностью и сыгранностью музицировал наш квартет. Он звучал всего лишь минут пять-семь — а разве счастье бывает долгим? — однако это выступление, не запечатленное ни одной фотографией, до сих пор звучит у меня в ушах и стоит перед глазами. Как признание наших заслуг перед публикой оно весомей, чем все мои последующие награды, включая ту крупнейшую премию, которой я был удостоен уже в библейском возрасте, что позволило мне порадоваться ей не без иронической дистанции и добавило к списку моих профессий еще одну специальность.

Даже если некая профессиональная деформация склонила меня к тому, что я, оборачиваясь назад, вновь пережил событие, которое выглядит на бумаге вполне достоверным, хотя в банальной действительности этой замечательной встречи, возможно, и не было, однако она осталась для меня зримо реальной, она продолжает быть ощутимо близкой, яркой, как золотой блеск трубы, — вне любой неуверенности и любых сомнений.

В панкоковском «зверинце» ничего примечательного не происходило, если не считать смелых и провальных экспериментов, которые предпринимали Франц Витте и я на холсте или картоне. Никаких чудесных явлений, разве что почти библейски чудодейственное умножение рыб в виде ухи, которую варила из немалого количества свежей селедки Труда Эссер, чтобы порадовать своих друзей.

Удивительно преобразившейся, будто с ней впрямь случилось чудо, вернулась из Рима и монастырского попечения моя сестра. К ужасу родителей, она сама решила стать монашкой.

Отец жаловался, мама прихворнула. Я слишком много пил. Франц Витте начал заговариваться. Гельдмахер в приступе ярости разбил себе голову об стену, оказавшуюся и вправду непробиваемой. В Корее и где-то еще шла война. Мы сами себя сводили с ума, жили взаймы, а нуворишеская сволочь кичилась

богатством.

Так или иначе, заработков в «Чикоше» хватило на мое второе путешествие, которое состоялось летом пятьдесят второго года. Я копил деньги всю зиму, желая подальше уехать из Дюссельдорфа, возомнившего себя «маленьким Парижем», где кучка богемы устраивала костюмированные вечеринки в ресторане под названием «Этюдник».

К этому времени мне достались от карнавальных дней с их бесконечными праздниками две легконогие, послушные партнерши, которые бывали со мной сначала поочередно, а потом на протяжении нескольких недель обе сразу. То одна, то другая навещала меня в штокумской мастерской на Кирхштрассе, где с помощью печки-чугунки и сковородки я готовил им рагу из заячьих потрохов, маринованные свиные почки, жареную конскую печень и прочие блюда, названия которых пугали моих танцовщиц.

Одна из них была длинноногой, другая поокруглей, но хорошее сложенной, однако сердце мое оставалось вакантным, хотя я весьма охотно проводил досуг и предавался удовольствиям с обеими девушками. Они выучились на портних, а теперь мечтали — несмотря на пока еще не оформившиеся таланты — заняться искусством.

Во всяком случае, мы друг друга устраивали. Конкурс на занятие вакансии не объявлялся, поэтому наши поочередные взаимоотношения развивались хоть и не бесконфликтно, однако до трагических финалов дело не доходило. Нам нравилось быть вместе, а остальное откладывалось на потом.

Обе девушки посещали курсы одного французского мима; курсы работали при культурно-просветительском центре «Мост», учрежденном британскими оккупационными властями. Одна из девушек, ее звали Бригитта, спустя некоторое время, когда я уже уехал из Дюссельдорфа, последовала за своим учителем-мимом в «страну социалистического лагеря», то есть в Восточный Берлин, занялась хореографией и сделала себе карьеру; еще в пору нашего знакомства она начала произносить свое имя на французский манер, а поскольку обладала по-рейнски жизнерадостным характером, то подобные перемены дались ей легко.

Другая девушка очаровывала своей хрупкой грациозностью, хоть и была родом из Померании; длинноногая, в ядовито-зеленых или лиловых чулках, она превращала главную улицу Кёнигсаллее в подиум для демонстрации мод; она еще некоторое время прожила в Дюссельдорфе, храня верность пантомиме. Спустя несколько лет она стала персонажем уже неоднократно

упоминавшегося романа, где фигурировала как муза Улла, однако вне литературы ее именовали Юттой; впрочем, из-за хрупкой внешности я и другие прозвали ее Ангелочком; это нежное прозвище я сохранил за ней до сих пор, когда мы, пожилые люди, шлем друг другу издалека приветы.

Свое путешествие по Франции я планировал без Бригитты и Ютты, которых уже и видел только в тягучих пантомимах. Они разучивали перед зеркалом странные походки, невероятные повороты шеи.

Я вновь отправился автостопом; по дороге до Парижа и позднее между Средиземным морем и Атлантическим побережьем я преимущественно сидел рядом с усталыми водителями попутных грузовиков. Часто мне приходилось петь, чтобы водитель не уснул за рулем.

Ранним утром, когда только начинало светать, на парижском Большом рынке было совсем не трудно найти попутку на Марсель, Шербур или Биарриц. Куда бы я ни уезжал, на побережье того или другого моря, обратный путь всегда вел в Париж, где место ночлега менялось: сначала это была вшивая молодежная гостиница неподалеку от станции метро «Порт-де-ля-Шапель», потом я ночевал в квартире с видом на церковь Сан-Сюльпис у некоего Каца, который переводил Клейста.

Кац, забавно помешанный на кровавых драмах, постоянно цитировал фрагменты собственного перевода об истребляющих мужчин амазонках и каждого встречного приветствовал возгласом: «И в смерти пел он: Пентесилея». Он был завсегдатаем кафе «Одеон», сидел там с моноклем, что вызывало у меня чувство неловкости. Раньше он жил вроде бы в Майнце или во Франкфурте. Он был весьма болтлив, часто заговаривался, однако становился неразговорчивым, едва речь заходила об его прошлом и о том, как ему удалось пережить войну.

При необходимости я находил ночлег у ровесников-французов, которые отслужили в Алжире или Индокитае и носили явную для меня печать войны; какой бы мешаниной языков мы ни пользовались, нам было не трудно понять друг друга. Тот, кто повидал трупы, лежащие поодиночке или вповалку, дорожит каждым новым днем.

Несколько дней я ночевал в мансарде с видом на крыши и печные трубы, вместо квартплаты мне пришлось мыть посуду у семейной пары из старинного аристократического рода Сен-Жорж, которая постоянно ссорилась, доводя раздоры буквально до рукоприкладства.

Каждое утро сражение выходило за пределы салона,

распространялось по длинному коридору до кухни. Я часто безмолвно стоял между супругами, тщетно пытаясь жестами утихомирить их, но те, не желая обращать никакого внимания на невольного свидетеля, швыряли друг в друга тарелки, только что вымытые мной или еще грязные.

Со мной, своей посудомойкой, они обходились с неизменной вежливостью и предупредительностью, однако приурочивали свои раздоры к моей работе на кухне. Видимо, их дуэли — они попадали друг в друга редко — нуждались в очевидце.

Иногда они швырялись даже ножами и вилками. Однажды мне пришлось перебинтовывать резаную рану на руке месье. Из-за недостаточного знания французского языка я лишь догадывался, из-за чего разгорался сыр-бор, доводивший оппонентов до белого каления: кажется, спор шел о какой-то дележке наследства, которая восходила к давнему историческому прошлому вроде гонений на гугенотов или к еще более древним временам, к периоду нескончаемой войны Белой и Алой розы.

Кстати, мадам и месье обращались друг к другу на «вы». В ссоре соблюдались правила вежливости. Вероятно, я мог бы исполнить комментирующую роль в этой пьесе для трех действующих лиц. А мой приятель Кац взял бы на себя режиссуру.

Между прочим, наши кухонные спектакли давались в фешенебельном квартале по адресу моего временного пристанища: бульвар Перейр.

Кто убирал осколки битой посуды? Вероятно, это делал я с безучастным выражением лица. Ежедневный расход посуды меня особенно не беспокоил, ибо раздоры супругов Сен-Жорж были ритуалом, пришедшимся на те годы, когда вообще много спорили. Каждому тезису противостоял антитезис. В ту пору я еще не читал Камю, но его дискуссия с Сартром была у всех на устах; впрочем, публику занимал скорее сам факт словопрений, нежели их суть, отчасти известная из цитат. Речь шла об абсурде и о легендарном Сизифе, который был счастлив тем, что ему досталось ворочать тяжеленный камень.

Наверное, Кац, легко перескакивая от Клейста к Камю, от Кьеркегора к Хайдеггеру, а от них обоих к Сартру, заразил меня интересом к этой дискуссии. Кац любил крайности.

В полемике между богами тогдашнего экзистенциалистского вероучения, которая затянулась на многие годы и выплеснулась за пределы Франции, я, немного поколебавшись, позднее определенно встал на сторону Камю, более того, для меня, скептически относившегося к любой идеологии и не приверженного никакой вере, таскание каменных глыб сделалось повседневным занятием. Такой парень, как Сизиф, пришелся мне

по нраву. Я признал осужденного богами каторжника достойным поклонения новым святым, для которого абсурдность человеческого существования была столь же очевидной, как восход или закат солнца, и который сознает, что поднятый на вершину камень не останется там лежать. Героем по ту сторону сомнений и отчаянья. Человеком, который счастлив оттого, что ему суждено катить в гору камень. Такой никогда не сдастся.

В Париже я, как бы исподволь, начал примериваться к политике, стараясь определить собственную позицию, присоединяясь — с Кацем или без оного — к разговорам в бистро. Постепенно для меня прояснялся расклад политических сил. Я вмешивался в споры, иногда полемизировал сам с собой, питаясь самыми дешевыми блюдами, каковыми были пом-фри и буден, французская разновидность кровяной колбасы.

От моего путешествия по Франции сохранились блокнот с набросками и стопка листов среднего формата с рисунками: пером чайки или бамбуковой тростинкой я старался очертить непрерывной линией, единым контуром головы мужчин и женщин, которые встречались мне по пути на несколько мгновений, достаточных для быстрого наброска, которые оказывались рядом со мной на парковой скамейке, в метро или в месте моего ночлега. К этому добавились две дюжины акварелей на оберточной бумаге. Мотивами для них служили головы в шляпах и без оных, поясные портреты, а также улочки предместий. Несколько раз мои акварели запечатлели канал Сен-Мартен и сценки в бистро; от листа к листу можно проследить влияние от Пикассо и Дюфи до Сутина. По сравнению с прошлогодним испанским путешествием усилилась экспрессия выполненных тушью рисунков. Быстрые наброски, попытки найти себя или того, кем мне хотелось бы быть. Но кем мне хотелось быть?

Путевые стихи также отражали попытки нащупать что-то. Цикл стихов вокруг кормчего Одиссея вполне заслуживает забвения. За ним последовала нескончаемая поэма с абсурдистским героем, современным святым: молодой каменщик бросает работу, рвет все семейные и общественные связи, делается отщепенцем и сооружает посреди города каменный столп, откуда взирает на повседневную людскую суету и на весь мир, осыпая его бранью с метафорической высоты своего положения. Впрочем, столпник разрешает матери доставлять ему еду на длинном шесте.

Этот стихотворный эпос, перенасыщенный заимствованиями из Аполлинера и Лорки, хоть и имел мощный замах, однако так и

не был завершен, а здесь он упомянут лишь для того, чтобы показать, как первоначальный столпник в последующие годы, когда происходил затяжной процесс брожения, превратился в иного «головорожденного», который злословил, взирая на мир с противоположной точки зрения — из-под стола, и на сей раз в прозе.

Под конец путешествия по Франции я сделал крюк. Один адресок заманил меня в Швейцарию. Так я оказался в кантоне Ааргау и чистеньком городке Ленцбург.

Навестить я хотел актрису Розмари Лосс, с которой познакомился в дюссельдорфском кинотеатре: шел фильм «Дети райка». Наверное, среди наших поспешных объятий и споров ей показалось, что я постоянно голодаю, поэтому после ее отъезда я начал получать из Швейцарии продуктовые посылки; нас с Флейтистом Гельдмахером одаривали плиточным шоколадом, овомальтином, тертым сыром и вяленым мясом. Я расплачивался своей валютой: короткими или длинными стихами.

Она жила в Ленцбурге у родителей вместе с семьей сестры. Их дом ничем не отличался от других домов поселка. Отец служил почтальоном, был членом книжного клуба «Гутенберг» и социал-демократом. Зато ее подружка, заглянувшая к полудню на чашку кофе с пирожным, а также чтобы попрощаться перед отъездом, принадлежала к довольно состоятельной семье: ей было девятнадцать лет, по ее подчеркнуто четкой пластике чувствовалось, что она занимается балетом, голова на ее длинной шее держалась очень прямо; не дожидаясь моих расспросов, гостья заявила, что не собирается становиться учительницей, как того желают родители, а направляется прямиком в Берлин, где будет учиться экспрессивному «босоногому» танцу у знаменитой Мэри Вигман, выдающегося хореографа и педагога.

Смелое решение прозвучало на весьма правильном немецком языке. Во мне неожиданно также оформилось нечто, что зрело в качестве зыбкого желания: я сообщил присутствующим членам семейства Лосс и более всего будущей ученице танцевальной школы, что вскоре тоже перееду в Берлин, ибо западногерманский климат не идет мне на пользу.

Так завязалось знакомство, имевшее дальнейшие последствия. Кто-то из нас, она или я, высказал надежду на встречу в Берлине, хотя, мол, Берлин велик, там легко затеряться, однако при благоприятном стечении обстоятельств…

Путешествуя по Франции, особенно подолгу ожидая попутных машин, я часто рисовал кур, поэтому теперь сравнил резкие движения будущей балерины с повадкой этих птиц; тут же

пришлось поправиться, чтобы выдать мою неловкую реплику за комплимент, но тщетно.

Потом, за кофе с пирожным, речь опять коснулась Берлина. Розмари Лосе раньше меня сообразила, что при моем внезапном решении о перемене местожительства не обошлось без наущений сердца.

Позднее, когда Анна уже откланялась — ей нужно было нанести еще один прощальный визит, — по ее адресу послышались социал-демократические подколки. Мол, охочая до путешествий барышня принадлежит к состоятельному буржуазному семейству, которое благодаря своим либеральным взглядам и торговле скобяными товарами нажило, а затем и приумножило солидный капитал. Выгодная партия. Особенно для какого-нибудь заезжего голодранца из Германии.

Похоже, ревность, замаскированная иронией, оказалась провидческой: постоянные споры с Розмари хоть и заводили нас, но наш роман все равно был бы недолговечен; я, уверенный в своем иммунитете по отношению к длительной привязанности, спокойно покуривал сигареты «Паризьен», которыми меня угощали.

Семейный кружок за кофейным столиком продолжал беседы — отчасти на правильном немецком языке, отчасти на местном швейцарском диалекте, — когда в прокуренную гостиную вошел малыш лет трех, сын сестры моей подружки, с которой я познакомился в кино; малыш лупил деревянными палочками по круглому жестяному барабану.

Два удара справа, один слева. Не обращая внимания на взрослых, малыш пересек гостиную, при этом он не прекращал лупить по барабану. Его не удалось отвлечь ни плиткой шоколада, ни глупыми репликами. Он шествовал с таким выражением лица, будто видит насквозь всех и каждого; внезапно развернувшись, он вышел из гостиной точно так же, как вошел.

Явление, отголоски которого еще долго напоминали о себе, картинка, прочно засевшая в памяти. Но минуло немало времени, прежде чем шлюзы открылись и хлынул гигантский вал, несущий с собой множество образов и слов, которые с детства наполняли мою копилку.

Что же касается Анны Шварц, то хотя эпизод знакомства с ней был краток, запомнилось мне не только ее имя.

Так оформилось мое до тех пор невнятное желание выбраться из Дюссельдорфа, празднующего «экономическое чудо», из его пивного веселья, из академической суеты с ее культом гениев.

Мне захотелось найти себе в Берлине требовательного

наставника или, как я написал позднее в заявлении о приеме, «неукоснительно строгого учителя»; я надеялся, что более суровый климат поможет дисциплинировать мои расхристанные таланты.

Ранним летом, еще до поездки во Францию, меня заинтересовала выставка Карла Хартунга, его малоформатные скульптуры, создававшие впечатление монументальности. Ему, профессору берлинского Высшего училища изобразительных искусств, я и направил свое письмо, приложив рисунки, фотографии нескольких гипсовых отливок и папку со стихами, а также краткую автобиографию. Поздней осенью пришел положительный ответ.

Прощался я с немногими. Мама сокрушалась: «Это ж так далеко». Отец сказал, что Берлин — «опасный город», имея в виду не только геополитическое положение. Сестра уже собиралась поступить в главный монастырь своего ордена, находившийся в Аахене, а потому пожелала мне «господнего благословения».

А в штокумской мастерской все еще сохли незавершенная голова святого Франциска и псевдоэтрусские статуэтки. Я переживал творческий застой. Расставание с Дюссельдорфом было нетрудным.

Отпраздновав Новый год, Флейтист Гельдмахер, Шолль с гитарой, с контрабасом — сын цыгана, игравшего на цимбалах, — проводили меня ранним утром на вокзал. Франц Витте тоже пришел. Каждый докурил сигарету до самого конца, будто она была последней. Вновь прозвучал наш джаз. Наперстки и стиральная доска остались на перроне. Позади — куда больше.

Межзональный поезд увозил меня первого января пятьдесят третьего года, посредине зимнего семестра; багаж мой был невелик, зато внутри теснились слова и образы, которые еще не могли найти выход.

Воздух Берлина

Ах, мои друзья! Когда подошел поезд, Франц Витте продолжал дурачиться на перроне. Он бы воздушен и неуловим, ибо паясничал, лицедействовал, постоянно меняя обличья. То гордо вышагивал, словно журавль, то махал руками, будто хотел вспорхнуть и улететь, — и все-таки оставался с нами, настоящий Напеременускор, каким он описан в романе; Франц запечатлел себя в собственных картинах — удлиненная фигура в переливающихся красках, персонаж картин нового Эль Греко.

Еще недавно мы делили с ним одну из маленьких мастерских, выделенных особым ученикам Панкока, мы шли вместе, но каждый своим путем: он танцевал по радуге цветовой гаммы, мои же следы кружили по черно-белому полю.

Иногда я наблюдал за тем, как он, орудуя сразу несколькими кистями, писал жития святых, при этом кровь мучеников лилась,

как из фонтана.

На его полотнах краски не смешивались, ложились четко и внятно — красная рядом с синей, желтая рядом с зеленой, — но говорил он туманно, его речь рождала поэзию какой-то эфемерной красоты, а в записи на бумаге вся эта красота сразу исчезает.

Он воздвигал словесные воздушные замки и медленно разрушал их, слог за слогом. Он, хрупкое существо, провозглашал себя архангелом в панцире, перед которым не может устоять никакая твердыня. Он неистово кромсал свои картины кухонным ножом.

Вскоре после моего отъезда новогодним утром — или это случилось позднее, год спустя? — ему в голову попал кирпич, словно был нацелен туда давным-давно.

Поговаривали о драке в дюссельдорфском Старом городе, неподалеку от церкви Святого Ламберта. Затем разнесся слух, будто некий чудак, которого звали Франц Витте, исполнил неподражаемый танец на Кёнигсаллее, перескакивая с одной заснеженной крыши автомобиля на другую, прыгая по припаркованным «опелям», «боргвардам», «мерседесам» и горбатым «фольксвагенам». Танцор поднимался в прыжке так легко и опускался так мягко, что ни одна машина не пострадала.

Позднее слух подтвердился. И в то время, когда Франц скакал по крышам машин, делая всяческие ужимки — а это он умел, — в затылок ему попал кирпич или булыжник. Так разъяренные автовладельцы закончили его прыжки в неизвестность.

Когда травма снаружи зажила, Франца отправили в Графенберг на принудительное лечение, поскольку с ним и потом происходили неприятные рецидивы. Спустя год после моего отъезда я навестил его в лечебнице. Принес ему сладости. Его облик сделался еще более воздушным. Он говорил тихо и странно, указывал длинным пальцем на листву деревьев за окном коридора.

Как потом рассказывали, однажды через это окно и выбросился Франц, любимчик богов. С разбега по коридору, не обращая внимания на оконное стекло. Наверное, ему вновь захотелось полетать, стать птицей, дуновением ветерка в листве деревьев.

Я назвал одного из сыновей именем моего погибшего друга и именем моего дяди, который помимо собственной воли стал героем при обороне Польской почты. Обоих звали Франц. Когда я уезжал ранним утром, Францхен, как мы его звали, остался на перроне.

Рядом с Францем Витте, которого заставляло дергаться внутреннее беспокойство, неподвижно стоял Хорст Гельдмахер, чья фамилия вводила в заблуждение: он был способен на многое — рисовал как правой, так и левой рукой, извлекал всеми пальцами из своих флейт неслыханные звуки, — но вот на то, чтобы делать деньги, способностей у него явно не хватало.

Этой говорящей фамилией я довольно сильно перепугал мою бедную маму, когда в ответ на ее робкий вопрос, на что собирается жить ее сынок-художник, например, на какие деньги покупать трамвайный проездной билет на месяц — «А чем ты расплачиваешься за табак и прочие вещи?», — я туманно ответил, что Гельдмахер и я хорошо умеем обращаться с бумагой и красками, поэтому нам, дескать, ничего не стоит изобразить всякие штуки, которые будут выглядеть как настоящие.

Бедная мама, услышав фамилию моего друга, вообразила самое худшее — подпольную мастерскую по изготовлению фальшивых денег, где орудовал не только сам Гельдмахер, но был подручным и ее непутевый сынок. Словом, она считала меня причастным к фальшивомонетничеству, будь то подделка бумажных купюр или звонкой монеты.

Позднее, спустя годы после смерти мамы, сестра рассказывала, что всякий раз, когда в родительской квартире в Оберауссеме раздавался дверной звонок, мама пугалась, что на пороге окажется деревенский участковый или того хуже — уголовная полиция.

Однако если Флейтист Гельдмахер и представлял собой какую-то опасность, то лишь для собственной головы, которой он, будто проверяя ее на прочность, бился об отштукатуренные комнатные стены или голую каменную кладку. Это случалось с нерегулярными промежутками времени. В остальном же он был человеком смирным, подчеркнуто вежливым, церемонно приветствовал знакомых по нескольку раз и аккуратно оттирал подошвы ботинок о половик, не только входя в чужую квартиру, но и выходя из нее.

Его замедленные приходы и уходы сопровождались странным ритуалом: приходя или уходя, он стучался в дверь. В обращении с флейтой он был так же нетерпим, как с собственной головой. Я неоднократно видел, как он ломал свои флейты одну за другой на куски, бросал их в Рейн и плакал.

Он играл без нот, но его детские песенки, рождественские мелодии и городские баллады так искусно переплетались с ритмами чернокожих собирателей хлопка, что казалось, будто перед ним лежит партитура с еще не просохшими чернилами. А еще он был отличным декоратором, умел, азартно работая над

каждой деталью, сделать из заурядной дюссельдорфской пивнушки в Старом городе салун в стиле «Дикого Запада» — хоть сейчас снимай кино; эта же пивнушка могла превратиться в изящную каюту роскошного парохода, плавающего по Миссисипи. Дюссельдорф отличался состоятельной клиентурой, что позволяло расцветить гастрономические изыски еще и иллюзиями.

Он был одновременно Джоном Брауном и матушкой Джона Брауна, библейским Моисеем и Буффало Биллом, он сидел, как Иона во чреве кита, и плакал вместе с Шенандоа, дочерью вождя индейского племени. Он был тайным творцом поп-арта задолго до того, как это течение вошло в моду. Он обводил черным контуром сочные цветовые пятна.

В тот год, когда вышел «Жестяной барабан», а ко мне начала липнуть одиозная известность, слава, предсказанная мне нашей уборщицей, которая гадала на кофейной гуще, я сумел протолкнуть в производственный план издательства «Кипенхойер-унд-Вич» через его тогдашнего редактора Дитера Веллерсхофа альбом поперечного формата «О, Сюзанна» с нотами и рисунками Хорста Гельдмахера на джазовые темы. Это давно раскупленное раритетное издание, где блюзы, спиричуэлы и госпелы послужили темами для цветных иллюстраций, можно теперь найти только у букинистов или по интернету.

Флейтист продержался дольше, чем Франц Витте. В начале шестидесятых годов, когда меня уже засосала рукопись романа «Собачьи годы», он, совсем расплывшийся от пива, приехал к нам в Берлин, на Карлсбадер-штрассе.

Там, в полуразрушенном доме, который и без того казался до самой крыши заселенным ужасными призраками войны, он перепугал Анну, наших сыновей и маленькую Лауру; наша дочка была серьезным, лишь изредка улыбавшимся младенцем, а родилась она в тот год, когда построили Стену. Он, сам испуганный и гонимый страхом, пугал других.

Хорст страдал манией преследования, он выходил из помещения, пятясь спиной, старался не ступать на тротуар, стирал отпечатки собственных пальцев, умолял спрятать его в каморке моей мастерской от каких-то злодеев, якобы устроивших за ним погоню, уговаривал меня купить ему особый, а потому дорогой фотоаппарат, чтобы фотографировать мостовую через штанину.

Он плакал и одновременно смеялся. Яростней, чем раньше, бился головой о стену, без флейты впадал в отчаяние, а однажды исчез и больше не объявлялся.

Незадолго до этого у него наступил просвет, и мы вместе

записали пластинку в честь Вилли Брандта, тогдашнего правящего бургомистра Западного Берлина: Гельдмахер играл на самых разных флейтах, от пикколо до альтовой, а я прочитал дюжину стихов из моей третьей книги «Поворотный треугольник», где есть и мое кредо — стихотворение «Аскеза».

К несчастью, потерялась пленка с записью его тягуче-сладкой и пронзительной музыки к балетному либретто «Гусь и пять поваров», которое я сочинил для Анны. Премьера балета состоялась в курортном городе Экс-ле-Бен, но, к сожалению, без Анны.

Все отзвучало. Сохранились лишь несколько пластинок, настоящих раритетов, которыми я очень дорожу. А два друга, оставшиеся позади, крепко сидят в моей памяти — переполненной тюрьме, откуда никого не выпускают.

Был ли у нас уговор? Или же роль режиссера опять взял на себя чистый случай? Напротив меня сидел человек, приближаться к которому было небезопасно. Для него или для меня вполне нашлось бы место и в другом купе скудно освещенного межзонального поезда, идущего на Берлин.

Людвиг Габриэль Шрибер, по прозвищу Люд, был старше меня на два десятка лет. Художник и скульптор, он принадлежал к тому поколению мастеров, которые к тридцать третьему году еще окончательно не созрели, но их тут же запретили. Он не смог выставлять свои работы ни в галерее «Штукерт», ни у «Мамаши Эй», а потом началась война, и он всю ее прошел солдатом.

Недавно его сделали профессором на Груневальдштрассе, где в уцелевшем здании готовили будущих педагогов в области эстетического воспитания. Я знал его по ресторану «Чикош» как довольно крепко пьющего завсегдатая. Обычно он сидел один, смачивая себе лоб спиртным между двумя глотками шнапса, будто снова и снова совершал обряд крещения.

Однажды, наверняка во время перерыва, я, отложив стиральную доску и наперстки, решился заговорить с ним. Узнав, что я собираюсь в Берлин, чтобы поступить в класс Хартунга, он неожиданно проявил готовность помочь и посоветовал мне приложить собственноручное письмо к обязательной папке работ, представляемых в качестве творческой характеристики: дескать, это придаст личный характер моему заявлению и произведет хорошее впечатление.

И вот теперь я сидел напротив. Он курил «Ротхэндле», а я делал худосочные самокрутки из моих запасов табака «Шварцер Краузер». Взглядами мы не встречались.

Когда поезд отошел от перрона, там осталась возлюбленная

Люда, как там же остались и мои друзья, пришедшие проводить меня с банджо, флейтой и контрабасом.

Вздыхая время от времени, Люд молчал. Мне наверняка хотелось о чем-нибудь заговорить, но я не решался. Он курсировал между Берлином и Дюссельдорфом, между мастерской и своей возлюбленной.

Ее узкое лицо было знакомо мне по мимолетным встречам, ее профиль я узнавал в небольших деревянных скульптурах Люда. Несомненно, Итта, как он называл возлюбленную, проводила его на вокзал, а возможно, дошла с ним и до перрона.

Январское утро посветило тусклым солнышком лишь в Руре. Еще с довоенной поры Люд дружил с художниками Голлером, Макентанцем и Гроте. Годы нацизма, война затормозили их творческое развитие. Позднее они старались освободиться от влияния мастеров, которые некогда служили для них образцом. В их картинах тонкая гамма цветовых оттенков конфликтовала со строгостью композиции.

Я храню две акварели Шрибера, написанные в английском плену: парковые ландшафты в светлых, сдержанных тонах. Позже, когда мы стали друзьями, он, выпив три-четыре рюмки шнапса, начинал говорить о потерянных годах, впадал в ярость и вымещал злость на безобидных посетителях ресторана, которых сбивал с ног ребром ладони.

Во время поездки мы поначалу разговаривали мало. Дремали? Вряд ли. Имелся ли в межзональном поезде вагон-ресторан? Нет.

Где-то — пожалуй, это было в заснеженной Нижней Саксонии — он попытался мне намеками объяснить что-то, связанное с изменениями объема тела. Мне показалось, будто речь идет о скульптуре, объем которой он хотел увеличить слоями гипса. Но тут я догадался, что он намекает на беременность своей возлюбленной. Неожиданно он стал напевать — сначала без слов, потом со словами — какой-то католический гимн, где говорилось о пришествии Еммануила; впрочем, когда у Итты родился сын, его назвали Симоном.

У официальной жены Люда тоже был строгий профиль, узкое лицо с близко посаженными, выпуклыми глазами. Я видел ее на открытии одной выставки, она стояла молча, одиноко среди общей сутолоки и болтовни.

В Мариенборне наши документы проверила железнодорожная полиция ГДР; все обошлось без особых происшествий, хотя Люд вытащил из кармана удостоверение личности слишком медленно и с весьма мрачным видом.

Мы оба путешествовали с небольшим багажом. У меня в

поношенном акушерском саквояже уместились помимо рубашек и носков разные инструменты, в том числе стамески, долота, а также свернутые рулоном рисунки, папка со стихами и выданный мне в «Чикоше» дорожный провиант: жаркое из баранины и хлеб с тмином. На мне был костюм, выданный некогда в приюте «Каритас».

Знать бы, что творилось тогда у меня в голове, если не считать осознанного желания сменить место жительства, вырваться из удушливой атмосферы Дюссельдорфа. Но к каким бы вспомогательным средствам я сейчас ни прибегал, мне не удается расслышать ни единого отзвука какой-либо из моих тогдашних мыслей.

Внешне я присутствовал, о чем свидетельствовали акушерский саквояж в сетке для багажа и молодой человек в костюме с узором «в елочку». Но при этом во время путешествия с Запада на Восток мне наверняка разламывал черепную коробку натиск слов: слишком велика была неразбериха мыслей, гул умолчаний; я видел, как за вагоном межзонального поезда бегут, преследуя меня, призраки — «головорожденные», которые не хотят отставать от меня.

Напротив меня сидел вполне материально осязаемый Людвиг Габриэль Шрибер, которого лишь позднее, когда мы по-настоящему подружились, я стал называть Людом.

Меняясь от столетия к столетию, он вошел под этим сокращенным прозвищем, а также под полными именами Людковский, Людстрём, прелат Людевик и собутыльник Людрихкайт, палач Ладевик и резчик по дереву Людвиг Скривер в повествование и стал участником моего романа «Палтус», который так вымотал меня в середине семидесятых годов. Одна из главок романа озаглавлена «Люд» в память моего друга, умершего, пока я работал над рукописью.

С тех пор мне его не хватает. С тех пор Люд живет в моей памяти, из-за чего я не могу с ним расстаться. А описал я его таким, каким знал в мои первые берлинские годы, когда мы часто виделись и порой спорили: «Будто шел против ветра. Он был заранее угрюм, когда заходил в закрытое помещение, например, в мастерскую, полную учеников. Мягкие поредевшие волосы. Покрасневшие глаза, ибо ветер дул ему в лицо навстречу во все времена. Нежный рисунок рта и крыльев носа. Целомудренный, как его графика…»

Примерно таким, очерченным скупым силуэтом — хотя и было это на двадцать лет раньше, чем мой некролог, — сидел он напротив меня в межзональном поезде, идущем на Берлин. Клубы дыма в пустом, если не считать нас обоих, купе.

Было холодно или, наоборот, чересчур натоплено?

Костерил ли он уже тогда абстракционистов яростно, как иконоборец, или же это происходило позднее в наших берлинских разговорах за ресторанной стойкой?

Съели ли мы уже баранье жаркое и хлеб с тмином?

За окном от нас отставал пейзаж, который простирался скудно присыпанной снегом равниной: безлюдной и населенной лишь воображаемыми персонажами. После Магдебурга, чьи руины угадывались поодаль, Люд заговорил: о сыне, которого, по собственному твердому убеждению, зачал сам, а не кто-нибудь другой, и который, как и в гимне, будет назван Еммануилом; об искусстве хеттов и об утрате монументальных форм; о Микенах и жизнерадостности минойской мелкой пластики. Он бегло коснулся этрусской бронзы, чтобы тут же перейти к романской скульптуре на юге Франции, где он служил солдатом, а позднее попал в Норвегию и в Заполярье — там «Иваны воевали в белых максхалатах, их трудно было разглядеть»; затем он многозначительно указывал в сторону Наумбургского собора с его раннеготическими фигурами донаторов, после чего вернулся в Грецию, но не упомянул о своей службе на том или ином острове, а воздал должное архаической строгости и спокойствию форм, которые до сих пор озадачивают нас своей внутренней радостью. Мы же, дескать, лишь последыши великих, Птолемеи.

А между разбросанными по всей Европе этапами его армейской службы, которая, казалось, вся сосредоточилась на искусстве, он процитировал тост из любимой книги о похождениях Уленшпигеля: «tis tydt van te beven de klinkaert…»

Люд, закоренелый выпивоха, доводил себя до опьянения собственными речами и безо всякого алкоголя.

Потсдам отрезвил нас. На перроне полно народной полиции. Из репродуктора раздаются команды с саксонским акцентом. По требованию пограничной полиции мы вновь предъявили документы, после чего поехали по территории Западного Берлина: сосновые леса, участки дачных кооперативов, первые руины.

Люд опять замолчал, привычно вздыхая, и неожиданно, без всякой на то причины, скрипнул зубами, что побудило автора будущего романа сделать его прообразом своего персонажа, прозванного Скрыпуном; когда поезд прибыл на вокзал «Цоологишер Гартен», Люд как бы между прочим предложил мне переночевать в его мастерской на Груневальдштрассе.

Откуда он узнал, что у меня нет ночлега? Может, он боялся остаться один, наедине с сами собой, посреди незавершенных скульптур?

Там мы пили стаканами шнапс, не вспоминая тост из «Уленшпигеля», а закусывали тем, что он предусмотрительно захватил с собой: копченой скумбрией с яичницей-болтуньей, которую он, поперчив и посолив, зажарил на маленькой сковородке в кухоньке при мастерской.

Улегшись на одной из двух коек в каморке, я быстро заснул, но перед этим заметил, как Люд, стоя между закутанных тряпками глиняных фигур, тер наждачной бумагой гипсовый бюст женщины, профиль которой напоминал его далекую возлюбленную.

На следующий день я нашел на Шлютерштрассе комнату, которую снял за двадцать марок в месяц у седой вдовы с завитыми волосами. «Разумеется, никаких дам приводить не разрешается», — потребовала она.

В забитой ненужной мебелью комнате жильцу предоставлялась старомодная дедовская кровать. Настенные часы стояли, как бы символизируя собой, что время прекратило свое движение. Хозяйка сказала: «Муж заводил часы сам, не позволял это делать никому другому, даже мне».

По заверению хозяйки, кафельная печка топилась в конце каждой недели; естественно, за дополнительную плату.

Ежемесячную стипендию, которую я получал из шахтерской страховой кассы, недавно повысили с пятидесяти до шестидесяти марок. Кроме того, хозяйка «Чикоша», чей муж Отто Шустер погиб в результате несчастного случая при невыясненных обстоятельствах, отстегнула мне за портретный барельеф своего мужа весьма приличную сумму. Я заплатил за квартиру вперед со всеми надбавками.

Вычурная лепнина на фасаде дома, где я обрел теперь постоянный адрес, была лишь немного побита осколками и в основном сохранилась. Боковые пристройки были уничтожены бомбежкой в конце войны, а главное здание осталось стоять словно последний коренной зуб. Позднее, когда началась весна, я разглядывал из окна уцелевшее, во внутреннем дворике каштановое дерево, на котором поблескивали набухшие почки.

Напротив моего дома среди руин прежнего здания высились остатки фасада, но справа и слева по улице руин больше не было, только расчищенные пустыри, над которыми кружил ветер, сейчас нося снежную массу, а позднее взметая пыль; она равномерно распространялась по городу, поэтому когда я ходил куда-нибудь — скажем, в расположенное неподалеку, на Штайнплац, Высшее училище изобразительных искусств или в адресный стол, чтобы зарегистрироваться, — то коричневая пыль

всюду скрипела у меня на зубах.

Надо всем Берлином, над его восточным и тремя западными секторами висела пыль. Но после снегопада воздух очищался, тогда он казался настоящим воздухом Берлина, прославленным в популярной песне; из радиоприемника хозяйки, стоявшего на кухне, постоянно гремел этот незабываемый шлягер — «Воздух Берлина».

Лишь спустя десятилетие я написал длинное стихотворение: «Говорит Великая разборщица завалов», где в последней строфе звучит «Аминь!»:

«…Распыленный Берлин./ Пыль взлетает,/ опять оседает./ Великая разборщица развалов/ объявлена святой».

Здесь все было крупномасштабней, но зияло и больше пустот, так что казалось, будто с конца войны прошло меньше времени. Между огромных брандмауэров открывались широкие пространства. Новостроек почти незаметно, зато множество дощатых киосков и ларьков. Курфюрстендамм тщетно пытался выглядеть элегантным променадом. Только на Харденбергерштрассе между вокзалом «Цоологишер Гартен» и станцией метро «Ам Кни», позднее «Эрнст-Ройтер-плац», неподалеку от Штайнплац, высились строительные леса, из которых вскоре вылупилась четырехэтажная уродина Берлинского банка.

Итак, я на новом месте. Едва я приехал, с меня тут же сдуло весь дюссельдорфский налет. А может, мне всегда легко удавалось избавляться от балласта, не оглядываться назад, быстро осваиваться в новых обстоятельствах?

Во всяком случае, Высшее училище изобразительных искусств приняло меня по-свойски, будто его здание уцелело в годы войны специально для меня. Да и Карлу Хартунгу, моему новому учителю, не понадобилось много слов. Он представил меня своим студентам, а также натурщице, у которой как раз был перерыв и она вязала что-то вроде носка.

Мне отвели крючок для комбинезона в гардеробе и скульптурный станок. Лотар Месснер, выходец из Саара, предпочитавший, как и я, самокрутки, угостил меня табаком. Я оказался в мужской компании, единственной женщиной среди нас была ученица Хартунга коренастенькая Врони.

За главным зданием училища и за внутренним двором, засаженным деревьями, находились мастерские профессоров, которые вели классы скульптуры: Шайбе, Синтенис, Ульман, Гонда, Дирекс, Хайлигер и Хартунг, а также мастерские их учеников. Из окон нашей мастерской виднелся пустырь, слева —

здание Технического университета, а справа — угол Музыкального училища. Подальше грудились остатки развалин, наполовину заросшие кустарником.

Выполненные по глиняным моделям скульптуры учеников Хартунга хотя и позволяли угадать влияние наставника, однако имели вполне самостоятельный характер. Единственная ученица придала черты собственного тела фигуре лежащей обнаженной женщины. Похоже, она была самой талантливой.

Атмосфера в нашей мастерской отличалась, пожалуй, здравомыслием. Никакой богемистости, никаких претензий на гениальность. Самый молодой студент Герсон Ференбах происходил из семьи шварцвальдских резчиков по дереву. Двое или трое приезжали из Восточного Берлина; их кормили в студенческой столовой соседнего Технического университета самой дешевой едой для «восточников». Ференбах показал мне, где поблизости, в магазине «Бакалея Хоффманна», можно купить недорогой хлеб, яйца, маргарин и мягкий сыр.

Уже в первую неделю я «проставился», нажарив для всех на электроплитке свежей селедки, обвалянной в муке; селедку я купил накануне, заплатил всего тридцать пять пфеннигов за фунт. Впредь я и кормился преимущественно свежей селедкой, которую покупал на еженедельном рынке.

Сразу по приезде я, помимо обязательной работы со стоящей обнаженной натурой, приступил в качестве свободной композиции к небольшой скульптуре, изображавшей курицу, которая позднее была обожжена и стала моей первой терракотовой фигурой. Это был отголосок моей поездки по Франции, когда я рисовал кур и петухов; они еще долго служили мотивами для моих стихов и рисунков — вплоть до сборника «Преимущества воздушных кур».

Во время одного из своих проверочных обходов Хартунг, обычно державший определенную дистанцию по отношению к ученикам, рассказал, как однажды — «будучи солдатом в период оккупации», корректно добавил он — посетил парижское ателье румынского скульптора Бранкузи. На него произвел сильное впечатление пластический язык Бранкузи, его «поэтизация базовых форм». Глядя на мою незаконченную курицу, он повторил одну из своих излюбленных сентенций: «Натура, но при этом вполне осознанная».

Его высказывания были здравыми, ясными, подобными дневному свету из больших окон мастерской. Он носил аккуратную темную эспаньолку. Человек с постоянной склонностью к самодисциплине. Он применял модное понятие «абстракции» к любому предмету или телу, от которых следовало

абстрагироваться. Я оставался в своих работах вполне предметным, что не противоречило его пониманию абстракции. А вот запах жареной селедки, доносившийся сквозь смежные двери в профессорскую мастерскую, его раздражал, однако Хартунг входил в наше бедственное положение и даже время от времени угощал студентов картофельным салатом с котлетами, которые закупал в магазине «Бакалея Хоффманна». Он дружил со Шрибером и позднее вполне терпимо относился к растущему влиянию друга на своих студентов.

Еще в январе мне пришлось пройти запоздалое — я ведь приступил к занятиям в разгар семестра — устное собеседование, которое обычно устраивается до приема. Директор училища Карл Хофер, поначалу молчавший, и три-четыре профессора задавали наводящие вопросы; по ходу разговора профессора Гонду заинтересовали мои стихи из папки с работами, предъявленными для поступления. Он похвалил кое-что из цикла о Столпнике, процитировал некоторые из метафор, назвав их «смелыми, но все-таки чересчур рискованными», что вызвало у меня чувство неловкости, поскольку я сам считал подобную метафорику пройденным этапом.

По ироническим репликам другого профессора можно было догадаться, что Гонда сам некогда написал роман и даже опубликовал его. А кроме того, Гонда прослыл страстным поклонником Рильке. Тут мне пригодились те книжные запасы, с помощью которых отец Станислаус некогда утолял мой читательских голод, и я завел разговор о «Записках Мальте Лауридса Бригге».

Потом мы, естественно, перешли к деятельности Рильке в качестве секретаря и биографа скульптора Огюста Родена. Гонда и я продемонстрировали друг другу свою начитанность. Уж и не помню, что я декламировал наизусть, наверное, что-нибудь из парижской «Карусели»: «И снова белый слон, как белый сон…»

Компания профессоров, среди которых находился и Хартунг, в разговор не вступала, но наконец, прервав молчание, Хофер коротко заявил, что собеседование завершено, новичок принят, а о Рильке можно дискутировать бесконечно.

Меня до сих пор удивляет тот экзамен, который, по существу, и не был таковым, удивляет доброжелательность по отношению к стихам, явно перегруженным метафорикой; возможно, это был аванс новичку, в котором увидели многообещающего поэта.

Еще удивительнее было терпение, с которым Хофер, выглядевший в кругу других профессоров довольно обособленно, воспринял мои поначалу робкие, а потом самоуверенные тирады.

Я бы учинил гораздо более строгий допрос.

Запомнилось лицо Хофера — на этом лице лежала печать утраты. Он вроде бы вел собеседование, но в то же время сидел с отрешенным видом, будто его не отпускали картины, сгоревшие при бомбежке; он словно восстанавливал мысленно одно живописное полотно за другим.

Я видел его лишь изредка, только когда он пересекал длинными шагами вестибюль училища. Вскоре разгорелась полемика с неким амбициозным художественным критиком, претендовавшим на непогрешимость; Хофер не пережил этого спора, да и спор этот не завершился по сей день.

Уже в первый же день я заметил слева, в глубине вестибюля, телефонную будку. Я чувствовал облегчение, когда видел, что она занята. Еще легче мне становилось при виде очереди из трех-четырех человек. Я привык избегать ее взглядом. Ибо когда телефонная будка пустовала, приглашая зайти внутрь, меня так и подмывало: давай, давай, давай…

Я заходил в нее, уговорив себя не трусить, набирал затверженный наизусть номер, но после первого же гудка бросал трубку. Раз-другой отвечала секретарша, однако я молчал. Монетки, опускавшиеся в щель, пропадали.

Но постоянно избегать телефонную будку не удавалось. Она выжидала, проявляла терпение: казалось, именно меня, нерешительного, подстерегает эта западня. Вскоре она стала возникать у меня перед глазами, едва я только отправлялся на Штайнплац или когда, покинув мастерскую, ступал во внутренний двор училища.

Она вставала на моем пути, преследовала жильца со Шлютерштрассе. Телефонная будка снилась открытой и зазывно пустой. Она брала меня в плен, наборный диск и цифры на нем неодолимо притягивали меня. Во сне меня мучил долгий телефонный гудок — «занято». И только во сне у меня получалось дозвониться, удачно завязать разговор, поддержать его.

Однажды, стоя в очереди к телефонной будке, я затеял натужный флирт со студенткой из класса профессора Синтениса; мне показалось, что этот флирт мне чем-то поможет. Студентку звали Кристиной, было в ней что-то от жеребенка — наверное, прическа «конский хвост». Хотелось погладить его, но не больше того. Когда девушка зашла в будку, некто, похожий на меня и всегда боявшийся обязательств, спешно ретировался.

Мое поведение вполне можно было бы назвать трусливым. Я повторял про себя цифры телефонного номера, как затверженную наизусть молитву, но это помогало ненадолго.

Как бы бережно я ни лелеял зачатки моей любви, она оставалась неживой, погребенной под грудой несказанных ласковых слов, однако вместе с тем меня тешило и промедление; ведь опасение любого дальнейшего шага оправдывалось тем, что всякий раз, заходя в телефонную трубку, я знал: если, пожертвовав две монетки, ты наберешь цифру за цифрой нужный номер, дождешься, когда снимут трубку, и услышишь, как секретарша танцевальной студии Мэри Вигман вежливо или не очень спросит о цели твоего звонка, а ты назовешь имя и фамилию ученицы, с которой ты неотложно желаешь поговорить, после чего дождешься, что эта ученица припорхнет к телефону и скажет на абсолютно правильном немецком: «Говорите, пожалуйста», — тогда ты пропал, тебе уже нет возврата, тебя повязали и взяли на поводок. Теперь уже не отвертишься, на тебя надвигается нечто, воплотившееся в живую девушку, имя которой ты произносил лишь в мечтах.

Когда я все-таки обменялся по телефону несколькими короткими фразами с ученицей танцевальной студии Анной Шварц, мы договорились о нашем первом свидании. Все произошло очень быстро. Хватило одного звонка.

Весьма непросто упомнить дни рождения всех моих детей и внуков, зато одну дату я знаю твердо: наше свидание состоялось 18 января 1953 года. Памятные исторические события, вроде великих битв или подписания мирных договоров, всегда казались мне живой современностью, так что дата основания Второго рейха по воле Бисмарка до сих пор помогает мне, когда я обращаюсь к тому морозному дню — субботнему или воскресному? — хотя само течение того дня помнится мне не столь отчетливо.

Мы договорились встретиться у выхода из подземки на станции «Цоологишер Гартен». После ранения между Зенфтенбергом и Шпрембергом, когда потерялись часы марки «Кинцле», я не носил с собой ничего такого, что более или менее точно показывало бы время, поэтому под вокзальными часами я очутился слишком рано, нерешительно ходил взад-вперед, борясь с искушением выпить для храбрости пару рюмок шнапса, но потом все-таки сдался — за стойкой одного из киосков напротив, так что от меня пахло алкоголем, когда точно в срок явилась Анна, выглядевшая моложе своих двадцати лет.

В ее движениях проглядывало нечто угловато-мальчишеское. Нос покраснел от холода. Что мне было делать днем с этой юной девицей? Вести к себе в комнату, где хозяйка категорически запретила жильцу «приводить дам»? Такой вариант мог прийти

мне на ум лишь как напоминание о строгом запрете. Можно было бы отправиться в ближайший кинотеатр на Кантштрассе, однако там шел совсем неподходящий фильм — вестерн. Тогда я сделал то, чего раньше не делал никогда: церемонно пригласил фройляйн Шварц на чашечку кофе с пирожным в кафе «Кранцлер» на Курфюрстендамм.

В памяти никак не отложилось, где и как мы провели весь долгий остаток дня. Наверное, болтали. Как идут дела с танцами у «босоножек»? Вероятно, вы занимались балетом с детства? Как вам нравится новая учительница, знаменитая Мэри Вигман? Достаточно ли она строга и требовательна, как вам того хотелось?

А может, мы разговаривали о двух некоронованных королях поэзии, каковыми считались Брехт в восточной части города и Бенн — в нашей, западной? Зашла ли при этом речь о политике?

Не признался ли я, проглотив первый же кусочек пирожного, что и сам я поэт, чтобы произвести своим признанием впечатление на собеседницу?

Я мог бы, подобно золотоискателю, встряхивать и перетряхивать сито: нет, память не сохранила ни единой сверкающей крупинки, ни остроумной реплики, интересного замечания или оригинального сравнения. Не помню, сколько мы съели там или сям пирожных, а возможно, даже кусков торта, — на луковичном пергаменте это не значится. Так или иначе, время мы скоротали.

Настоящее свидание с Анной началось лишь под вечер, когда мы подчинились притягательной силе популярной в ту пору танцевальной площадки «Айершале». Сказать, что мы танцевали, было бы слишком мало. Мы обрели себя в танце, так будет вернее. Оглядываясь назад на шестнадцать лет нашей супружеской жизни, должен признаться: как бы мы с Анной, любя друг друга, ни искали сближения, мы становились по-настоящему близки, чувствовали себя единым целым, ощущали себя созданными друг для друга только в танце. Слишком часто мы смотрели мимо друг друга, уходили в сторону, искали то, чего не существовало вовсе, или то, что было лишь фантомом. А потом, когда мы уже стали родителями и у нас появились новые обязательства, мы все же потеряли друг друга; близкими нам обоим оставались только дети, и последним из них — Бруно, который никак не мог решить, к кому уйти.

Джаз-банд в «Айершале» чередовал диксиленд, рэгтайм и свинг. Мы танцевали все подряд, самозабвенно. Это давалось нам легко, словно мы репетировали вместе всю предшествующую жизнь. Пара, созданная по божественному капризу. Прочие

танцующие уступали нам место. Но мы едва ли замечали, что на нас смотрят. Мы могли бы танцевать целую маленькую вечность, тесно обнявшись и свободно, обмениваясь короткими взглядами и легкими прикосновениями, расходясь, чтобы найти друг друга вновь, кружась парой, на легких ногах, которым хотелось лишь одного: разлучаться и сходиться опять, взлетать, парить в невесомости, ускоряться, опережая мысль, и быть медленнее, чем тягучее время.

После заключительного танца, около полуночи, я проводил Анну до трамвая. Она снимала комнату в Шмаргендорфе. Между танцами я вроде бы сказал: «Хочу на тебе жениться»; она же рассказала о каком-то молодом человеке, которому, мол, дала слово, на что я в свою очередь заявил: «Ну, и что? Поживем — увидим».

Легкое начало, которое уравновесило все последующие тяготы.

Ах, Анна, сколько же времени осталось у нас позади. Сколько незаполненных пробелов, сколько такого, что следовало бы забыть. Что незвано-непрошено встало между нами, а потом показалось желанным. Чем мы осчастливили друг друга. Что мы считали прекрасным. Что было обманчивым. Из-за чего мы сделались чужими, причиняли друг другу боль. Почему я еще долго — и не только из-за любви к уменьшительно-ласкательным суффиксам — называл тебя Аннхен, снова и снова.

Нас называли идеальной парой. Мы казались неразлучными, предназначенными друг для друга, и это правда. Мы были ровней: ты демонстрировала чувство собственного достоинства, я — привычную самоуверенность. На быстро меняющихся фотоснимках, которые чествуют молодую пару, я вижу, что мы оба составляем единое целое.

В театрах Восточного и Западного Берлина мы смотрели «Кавказский меловой круг» и «В ожидании Годо», ходили вместе в кинотеатр на Штайнплац, где показывали французскую классику — фильмы «Северный отель», «Золотой шлем» и «Человек-зверь». По твоим словам, я еще не оставался у тебя на ночь. Я засиживался с Людом Шрибером в пивной «Лейдике», пил за длинной стойкой рюмку за рюмкой, пока однажды ты не утащила меня оттуда совершенно пьяного. Ты приходила ко мне в студенческую мастерскую, где Хартунг называл тебя Muse Helvetia, а я глядел на твои босоногие танцы в каторжном доме Мэри Вигман. Ты не умела готовить, и я показывал тебе, как можно дешево и вкусно приготовить бараньи ребрышки с бобами, как легко разделывается жареная селедка. Однажды, опоздав на

последний трамвай, я заночевал у тебя, и мы надеялись, что твоя квартирная хозяйка, это толстое старое пугало, ничего не заметит.

Наши общие друзья: Ули и Герта Хэртер, с которыми было так хорошо судачить обо всем на свете. С Рольфом Шиманski по прозвищу Титус мы, будучи вдрызг пьяными, помочились на портал Берлинского банка, приняв новостройку за общественный сортир, что обошлось нам в целых пять марок штрафа. Позднее Ханс и Мария Рама первыми сфотографировали тебя в танце: ярко подсвеченную, в балетной пачке, на пуантах; ты рано захотела расстаться с экспрессивным танцем, уйти в классический балет, хотя подъем у тебя был недостаточно высок, а ноги коротковаты.

Чаще, чем мне хотелось, мы ходили на балет в театр Геббеля: этот счет фуэте, восторги насчет гран-жете. Ули и я свистели, когда давали занавес.

Да и на бумаге мы оказывались в одной связке: я написал либретто для балета, по ходу которого молодой человек в кепке спасается бегством, мечется по сцене, его преследуют двое полицейских; наконец, молодой человек прячется под юбкой балерины, которая одета крестьянкой и роль которой могла бы исполнить ты; крестьянка пустила парня под юбки, опасность миновала, все завершилось исполнением па-де-де: вульгарный комизм, далекий от классической строгости.

Это либретто, никогда не увидевшее сцены, позднее мутировало в прозу, а прыжки в замедленной съемке и похожая на немое кино пантомима с отрывистыми движениями стали эпизодами из первой главы «Жестяного барабана».

Мы любили друг друга и искусство. В середине июля мы стояли на краю площади Потсдамер-плац, которая представляла собой скорее огромный пустырь, и смотрели оттуда, как рабочие забрасывают камнями советские танки; мы не вышли за пределы американского сектора, остались у самой восточной границы, но чувствовали могущество власти и бессилие людей так близко, что в память врезались взмахи рук, швырявших камни, и стук ударов о танковую броню; спустя двадцать лет я написал свою немецкую трагедию «Плебеи репетируют восстание», где у восставших рабочих нет плана, они бесцельно носятся по кругу, а интеллектуалы, у которых всегда есть какой-то план, что способствует красноречию, терпят крах из-за своего высокомерия.

Мы были только зрителями. На большее не решились. Ты приехала из безопасного заповедника под названием «Швейцария», тебе этот испуг был внове, а во мне проснулся забытый страх. Танки были мне хорошо знакомы:

«тридцатьчетверки».

Насмотревшись вдоволь, мы ушли. Насилие отпугнуло нас. Что-то делать можно было и в мыслях, например, швырять камнями в танки. У нас были мы сами и искусство. Этого было почти достаточно.

Мы купили палатку, немножко маловатую для двоих. Она была оранжевого цвета. С этой палаткой, притороченной к рюкзаку, мы намеревались отправиться летом на юг. Ах, Анна…

Пока рак бесшумно…

На сей раз мы поехали через перевал Сен-Готард. Но прежде чем пройти совместное испытание автостопом, мы с Анной навестили сначала моих родителей, а потом сестру, которая стала в Аахене послушницей францисканского монастыря. Я до сих пор испытываю боль при воспоминании о той поездке перед путешествием.

Серая кожа, круги под глазами: мама выглядела бледной, отец — озабоченным. Оба переживали потерю дочери. Но эти переживания были обращены вовнутрь. Несмотря на внезапность нашего визита, они постарались принять нас со всем радушием. Раньше я никогда не знакомил родителей со своими «трофеями», как их называла мама. Такой тесной кухоньки Анна никогда не видела. Часть обстановки купила моя сестра на скопленные деньги.

Я вспоминаю тот первый визит, но меня смущает нечеткость, ибо я почти не могу себе представить, где стоял шкаф, какого цвета были гардины или каким был пол — выложен ли из сосновых досок или застелен бурым искусственным покрытием? Имелась ли на скатерти вязаная кайма? Почему мы ели на кухне,

а не в гостиной? Или наоборот?

Воображаю, как Анна стоит у плиты, которая топится брикетами с буроугольной шахты «Фортуна Норд», разглядывает кухонный стол, не покрытый, как обычно, клеенкой. Наверное, отец приготовил для гостей одно из своих любимых блюд: тефтели по-кенигсбергски под кисло-сладким соусом и с вареной картошкой.

Вот он протягивает Анне ложечку соуса — «снять пробу». Мама снует по квартире, не зная, что сказать. А теперь Анна, чинно сидя за столом, на отменно правильном немецком, выученном в школе, отвечает на вопросы родителей, которым хочется понять удивительную Швейцарию, столь далекую от любых войн. Она разглядывает из окна буроугольную шахту, видит дымящиеся трубы.

Через какое-то время, наверное, перед самым нашим уходом, мама завела сына в спальню: «Ты не должен обращаться с фройляйн Анной, как со всякими другими. Она из приличной семьи, сразу видно…»

О сестре мы почти не говорили или упоминали ее очень осторожно, не хотелось бередить свежую рану. Возможно, я легкомысленно сказал что-то вроде: «Ну, если ей самой там нравится…»

Оглядываясь по сторонам, будто в последний раз, я вижу написанные мною астры, изучаю новую мебель, предмет за предметом. Вот комод в родительской спальне, на нем стоит фотография сестры: на ней цветастое платье, она улыбается, на щеках ямочки.

Слышу, как отец говорит: «Испытательный срок, так называемый постулат, она уже прошла. Теперь она послушница, наша девочка. Зовут ее — сестра Раффаэла…»

Есть фотография сестры в облачении послушницы. Обрамленное черно-белым лицо выглядит по-детски. Она смотрит гордо, но, пожалуй, немного озабочена вопросом, идет ли ей новое облачение. Тела нет, будто его никогда и не было. Справа и слева от переодетой дочери стоят родители, оба в шляпах. Она кажется смущенной, чувствует себя не на своем месте.

В конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов монахини фигурировали в моих стихах и прозе; один стихотворный цикл, сопровождаемый рисунками, называется «Волшебство с сестрами Христовыми». «Они рождены для ветра./ Всегда под парусами, не меряя глубину…»

Монахини нарисованы тушью — игра черного и белого на

больших плоскостях. Густая кисть и крупный формат: коленопреклоненные, летящие, скачущие и плывущие против ветра к горизонту, властные аббатисы и толпы, собравшиеся на евхаристический конгресс; поодиночке и парами, раздетые, в одних крылатых чепцах; все эти монахини — следствие несчастья, пережитого моей сестрой, которая в своей искренней вере попалась на удочку хорошо организованных святош; став послушницей, она со страхом ожидала принесения обета, когда мы с Анной навестили ее в главном орденском монастыре в Аахене.

Окутанная черным облачением, она стояла перед нами во внутреннем дворе и плакала. Вокруг — каре из древних кирпичных стен, по которым до самых желобков водостока вился плющ. От цветочной клумбы выстроились плоско обрезанные кусты самшита, обрамлявшие четко прочерченные дорожки. Абсолютный порядок. Никаких сорняков. Дорожки выровнены граблями. Даже розы пахли мылом.

Мы дождались, пока она перестанет плакать. Запинаясь, будто на каждое слово нужно было решиться, она поведала нам свое горе. Монастырская жизнь представлялась ей совсем другой. Такой, какой на протяжении двух лет она была в Италии, где сестра занималась социальной работой… Там все было гораздо жизнерадостней, истинно по-францискански… А здесь все время нужно молиться, только молиться, исполнять послушания, даже бичевать себя… За малейший проступок наказывают, все считается грехом. Она вот, например, любит насвистывать или взбегать по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Но это запрещено. Все полагается доедать до последней крошки, даже толстые бутерброды с салом. Нет, никакой помощи больным и старикам, только покаяние, медитация и всякое такое… Она хочет уйти отсюда, как можно скорее… Да, прямо сейчас…

А потом, немного помедлив, все еще в слезах: «Наставница у нас строга, ох, до чего строга!..»

Я тут же попросил, нет, потребовал разговора с этой наставницей, которую боялись, как тюремную надзирательницу. Она незамедлительно пришла к нам по внутреннему монастырскому двору и пожелала, чтобы мы с Анной называли ее сестрой Альфонсом-Марией; так и запомнилась она нам некой двуполой инстанцией, архангелом, на которого с самого верху был возложен в качестве основной профессии надзор за данным исправительным учреждением.

Требование отпустить сестру из монастыря отскочило от наставницы, словно и не было произнесено. Она заговорила о соблазнах и искушениях, которые хорошо известны и которым

сердце, твердое в вере, должно научиться противостоять. «Не правда ли, сестра Раффаэла?»

Замкнутое каре монастырских стен ожидало ответа. Слышалось лишь чириканье воробьев. Послушница молчала. Вместо нее, акцентируя каждое слово, прервал тишину очкастый архангел: «Мы вознесем девятидневную молитву и, укрепив себя ею, обретем душевный покой…»

Мы с Анной вздрогнули, когда моя сестра, повинуясь приказу, слетевшему с узких губ, лишь покорно кивнула головой. Блеснули очки. Архангел Альфонс-Мария торжествовал победу.

Мы уехали. По истечении девятидневного срока письмо, написанное все еще детским почерком, уведомило нас, что молитвы, смиренная медитация и сила веры помогли справиться с искушениями вообще и, благодарение Богу, с вполне конкретным сатанинским соблазном вернуться в мир. Мне, брату, хотя это и не было сказано прямо, выпала роль сатаны.

Мне не оставалось ничего другого, как сочинить собственное письмо, с которым, как я предполагал, сначала ознакомится наставница. Мои угрозы были вполне отчетливы, тем более что я установил срок, гораздо меньший, чем девять дней. На тот случай, если сестра не будет отпущена из монастырского заточения, я припугнул повторным визитом. Сестра говорила потом, что это была скорее телеграмма, а не письмо; во всяком случае, гневное послание возымело действие.

Будь то письмо или телеграмма, угроза сработала, приоткрыв щелку в кирпично-красном узилище. Едва выйдя оттуда, моя сестра, видимо не утратив земных потребностей за время монастырского затворничества, первым делом отправилась к парикмахеру, который буквально за гроши — а больше ей на дорогу и не выдали — с немалым искусством придал ее короткой монашеской стрижке намек на дамскую прическу. «Ну, вот, девочка, — сказал он, — теперь можешь опять показаться на людях».

В двухкомнатную квартиру к больной маме и озабоченному отцу заглянуло немножко радости. Была эта радость недолгой, ибо после своего возвращения их дочь, раньше всегда веселая, совсем перестала смеяться.

Весной уходящего года, примерно на Троицу, сестра и я побывали с частью нашего большого семейства в Гданьске, как бы оглядываясь на Данциг и собственное детство: дед хотел поводить старших внучат: дочку Лауры Луизу и ее братьев-близнецов Лукаса с Леоном, дочку Бруно Ронью и старшую дочку Рауля Розану — по городу и его предместью, которое теперь называется

Вжещ, а раньше именовалось Лангфуром, познакомить их с нашей кашубской родней; пока дети бродили вдоль кромки прибоя лениво плещущейся Балтики, отыскивая крошечные янтаринки, мы с сестрой болтали о том о сем, дошли и до ее краткого пребывания в монастыре больше пятидесяти лет тому назад.

Мне показалось, будто тень монахини Альфонса-Марии, строгой наставницы, до сих пор стоит у нее за спиной. Тем более удивительно, что сестра сохранила католическую веру, добавив к ней, правда, устойчивую левизну, присущую бывшей акушерке и профсоюзной деятельнице. Соответственно весьма скептически высказывалась она по поводу свежеиспеченного Папы Бенедикта: «Да будь он хоть трижды немцем, меня это не радует». Немного помолчав, добавила: «Вот если бы теперь избрали кардинала из Бразилии или Африки…»

Пока мы, старик со старухой — она, дородная и плотная, я, согбенный, шаркающий, — плелись по мокрому песку между Глеткау и Сопотом, а дети: Леон упорно впереди, мечтательный Лукас позади, Розана, как всегда прилежная, вышагивает на журавлиных ножках, медлительная Луиза и Ронья с лунатически уверенным взглядом — отыскивали среди водорослей крохи янтаря, — зашел разговор о публичном умирании польского Папы, которое превратилось в бесстыдное шоу.

Я назвал это «отвратительным», она — «непристойным», у меня нашлись еще более жесткие эпитеты, она проявила сдержанность, хотя могла выразиться и похлеще меня.

Потом мы вновь освежили в памяти эпизоды нашего детства, каждый со своей — противоположной — точки зрения, после чего я рассказал, как, будучи семнадцатилетним заключенным большого лагеря для военнопленных, накрывался от дождя одной плащ-палаткой вместе с моим ровесником и как мы, вечно голодные, жевали тмин за неимением другой еды.

Сестра в принципе не верит моим рассказам. Вот и теперь она недоверчиво наклонила голову, когда я сказал, что моего солагерника звали Йозефом, у него слышался явный баварский акцент и он был истовым католиком.

«Ну и что? — возразила она. — Таких много».

Я принялся уверять, что никто не говорил о единственно истинной церкви с таким глубоким фанатизмом и в то же время с такой нежной любовью, как мой товарищ Йозеф. «Да и родом он был, помнится, из-под Альтеттенга».

Ее недоверие усилилось: «Правда? А похоже на небылицу, как все твои истории!»

Я сказал: «Если тебя совершенно не интересует, как мне жилось под небом Баварии…»

Она: «Ладно уж, рассказывай дальше…»

Для большей убедительности я признал некоторую неясность — «Ну да, два паренька среди многих тысяч других молодых заключенных…», — но потом все-таки твердо заметил, что нельзя исключать совпадения: мой приятель Йозеф, которого, как и меня, донимали вши, с которым я, постоянно голодая, жевал тмин и который отличался такой же крепкой верой, какими некогда были дзоты Атлантического вала, вполне может оказаться тем самым Ратцингером, который ныне в качестве Папы претендует на непогрешимость, хотя и с хорошо знакомой мне кротостью, а она действует чем тише, тем эффективнее.

Моя сестра рассмеялась, как умеет смеяться только акушерка вне работы: «Опять одна из твоих небылиц, которыми ты еще в детстве охмурял маму».

«Допустим, — согласился я. — Не стану клясться, что худосочного парнишку, с которым я в начале июня сорок пятого года сидел в бад-айблингском лагере, разглядывая при ясной погоде далекие баварские Альпы, а когда шел дождь, укрывался одной плащ-палаткой, действительно звали Ратцингером, но он мечтал стать священником, не желал слышать о девчонках, зато хотел сразу после освобождения из плена изучать треклятую теологическую чепуху, это правда. Как правда и то, что Ратцингер, который раньше возглавлял конгрегацию вероучения, а теперь стал Верховным понтификом, сидел в бад-айблингском лагере вместе с десятками тысяч других военнопленных». Для пущей убедительности я сослался на газету «Бильд», которая писала об этом.

И тут, пока дети, ничего не подозревая о моих ранних соприкосновениях с фундаментальной католической теологией, продолжали копаться в выброшенных на берег водорослях и тине, а Луиза, Розана и Фридер с гордостью показывали нам свои крохотные находки, я рассказал сестре об ящичке из-под сигар, где хранились медали «За оборону Западного вала», о кожаном стаканчике и игральных костях, которые достались мне по случаю в Мариенбаде перед самым концом войны или в первые дни после ее окончания: «Заняться нам с Йозефом было нечем, поэтому мы играли с ним в кости на наше будущее. Мне уже тогда хотелось стать художником, я жаждал славы, а он решил сделаться епископом, даже метил выше, черт его знает — куда. Мы играли так, будто могли поменяться ролями».

Возможно, я слегка преувеличил, рассказывая сестре, которая всегда любила меня, хоть и не доверяла моим историям, что под молчаливым звездным небом, где Йозефу мерещился точный адрес небесной обители, а я видел лишь зияющую пустоту, мы

оба писали стихи, полные громких слов, а потому решили вверить свою судьбу игральным костям: пусть они определят, кому из нас кем быть. Чтобы поддразнить моего приятеля, я заявил, что Папой может стать даже неверующий, о чем свидетельствует сама история католической церкви.

«В результате, — сказал я, завершая рассказ, — Йозеф выбросил на три очка больше. Можно сказать, ему повезло. Или наоборот. Я стал всего лишь писателем, зато… Но если бы мне посчастливилось выбросить две шестерки и пятерку, тогда бы сегодня не он, а я…»

Сестра не нашлась что сказать, только воскликнула: «Врешь, как по писаному». Затем она умолкла, придумывая неопровержимые аргументы. Я догадывался, что в запасе у нее что-нибудь найдется.

Лишь дойдя почти до Сопота, когда мы перешли на другой променад, а дети продемонстрировали нам всю свою добычу, состоящую из янтаринок величиной с рисовое зернышко, сестра, взглянув на меня поверх очков, заметила, что если бы Папой стал не тот Йозеф, а ее братец, то не получилось бы ни нашей чудесной семейной прогулки, ни самого путешествия на Троицу с внучатами: «Ведь, став Папой, ты бы не смог наплодить столько детей, а?»

И мы снова вернулись к кладовым нашей памяти, опять принялись вспоминать события, глядя на них, как всегда, с противоположных точек зрения; только над бывшей наставницей, сестрой Альфонсом-Марией, — «гнусной святошей» — посмеялись мы вполне единодушно.

Что было раньше, что потом? Луковица недостаточно строго соблюдает хронологическую последовательность событий. На ее пергаментной кожице значится то номер дома, то слова идиотского шлягера, то название фильма, вроде «Грешницы», то имена легендарных футболистов, зато редко указывается точная дата. Когда речь заходит о времени, приходится сознаваться, что многие события, произошедшие в свой реальный срок, запечатлелись у меня в памяти лишь с запозданием.

Чем старше я становлюсь, тем ненадежнее делается костыль под названием «хронология». Листая пожелтевшие каталоги художественных выставок, обращаясь к ним за подсказкой или разыскивая с помощью интернета номера журнала «Монат» за середину пятидесятых годов, я убеждаюсь, насколько смутным остается для меня событие, которое вроде бы оказало на меня весьма серьезное влияние.

Достоверно следующее: еще до того, как мы с Анной

отправились путешествовать на юг, прихватив нашу оранжевую палатку, среди художественной общественности Берлина разгорелся спор, который затянулся не только до следующего года, нет, он продолжился вплоть до смерти Карла Хофера и не кончается по сей день, смущая авангардистов, настолько принципиальными оказались разногласия противоборствующих сторон, причем каждая из них выступала от имени «модерна»; я непосредственно не участвовал в этом споре, что не помешало мне занять определенную позицию.

Хофер чувствовал себя задетым лично, поэтому гневно отстаивал живопись, которая основывалась на «образе человека», и выступал против беспредметного искусства, которое провозглашалось «неформальным» и широко пропагандировалось в каталогах художественных выставок как наисовременнейший «модерн».

Его оппонент, амбициозный художественный критик Вилл Громанн, признавал лишь то, что, по мнению самого Хофера, вело к «сползанию в туманное Ничто». В своих статьях Хофер протестовал против насаждаемой нетерпимости и предостерегал об угрозе возникновения той духовной атмосферы, которая напоминала ему «Нацистское государство с его гауляйтерами».

Хотя этот старый человек и занимал пост директора нашего Высшего художественного училища, однако сражался он как боец-одиночка. Он считал, что современному искусству угрожают «декораторы», подобные Кандинскому с его «невыносимо цветастым китчем», и защищал от него Пауля Клее, которого называл «поэтом живописи».

В ответ на это целый хор голосов клеймил Хофера как «закоснелого склеротика», «слепого противника модерна» и «реакционера»; одновременно изобретались все новые изощренные термины и «измы». Спор дошел до Немецкого союза художников, члены которого начали покидать это творческое объединение.

Когда же наконец Хофер обвинил Америку в насаждении нового догматизма — мол, там новаторство ценится исключительно ради самого новаторства, причем существенную роль играет коммерция, — его обозвали скрытым коммунистом; однако в это же время возникли подозрения, которые тогда удалось заглушить, — в те годы это было вполне обычным делом, но спустя десятилетия о них заговорили вновь. Исследователи архивов утверждают, что ЦРУ, исходя из политических соображений, поддерживало абстрактную живопись и так называемое течение «информель» из-за их безобидной декоративности, а также для того, чтобы понятие «модерна»

прочно закрепилось за Западом.

Возвращаясь сегодня к этой полемике и оценивая ее, я сознаю, насколько спор между Хофером и Громанном, между поборником концепции, согласно которой в основе искусства лежит «образ человека», и ведущим художественным критиком тех лет, определил направление моего собственного пути в изобразительном искусстве; как в случае с полемикой между Камю и Сартром, которая повлияла на последующее формирование моей политической позиции, ибо я встал на сторону Камю, здесь мой выбор был сделан в пользу Хофера.

Его восклицание: «О пресвятой Клее, если бы ты знал, что творят, прикрываясь твоим именем!» — стало крылатым выражением. Нам, своим ученикам начала пятидесятых годов, Хофер внушал, что «центральной проблемой изобразительного искусства был и остается человек, человеческое начало, его извечная драма»; эти слова, несмотря на их патетику, сохранили для меня свою силу по сей день.

Возможно, поэтому я более или менее подробно помню, какими последствиями обернулся спор, расколовший на два лагеря студентов и преподавателей Высшего училища даже после смерти Хофера и вплоть до избрания нового директора; дело не только в том, что я принял участие в студенческой забастовке против избрания на директорскую должность человека, который был в творческом отношении полным ничтожеством.

Карл Хартунг счел, что настала пора предложить ряд моих графических работ — среди них листы «Саранча над городом» и «К, клоп», выполненные по мотивам моих стихов, — для предстоящей ежегодной выставки Немецкого союза художников; через несколько недель он с огорчением сообщил мне, что отборочное жюри, высоко оценив качество моих работ, отвергло их как «слишком предметные».

С этих пор я держусь подальше от всяческих догматических ограничений, злословлю по адресу любого, кто претендует на непогрешимость суждений, будь то художественный или литературный критик, вознесенный телевидением под небеса и измеряющий все на свой аршин; сам же я вполне свыкся с риском оказаться аутсайдером, человеком, который не попадает в струю очередного новомодного течения. Это имело свои последствия: у меня бывали только персональные выставки, мое собственное художественное творчество сумело утвердить себя, оставаясь в стороне от арт-конъюнктуры.

Уже с первого года пребывания в Берлине я пошел собственным путем. На направление моих поисков указывала не

работа над обнаженкой — натурщица в стандартной контрапозиции, — хотя она и была необходима для развития профессиональных навыков, а такие скульптуры, как массивная курица или вытянутое, словно палка, птичье тело и расчлененный палтус. Основой для последней послужили рисунки-вариации на тему «палтуса», а в стихах «Шарманка накануне Пасхи» и «Наводнение» — текст, давший импульс для моей первой пьесы, — я обрел ту интонацию, которую ранее, как бы играя, только пробовал; вероятно, здесь мне помогла кирпичная пыль от развалин, которая все еще висела в воздухе Берлина.

А еще меня подстегивала любовь: я писал и рисовал для Анны, которая вся отдавалась танцу. Мэри Вигман, ее учительницу, пригласили на будущий год в Бейройт, чтобы поставить для тамошнего фестиваля сцену в гроте Венеры, где Тангейзер демонстрировал бы свою чувственность среди возбужденной толпы босоногих и вообще более или менее обнаженных дев.

Когда подошел срок, мы с Ули Хэртером навестили его жену Герту и Анну накануне генеральной репетиции. Хотя обе ученицы Вигман устали от каждодневных занятий, они радостно ожидали предстоящего выступления на сцене.

Как-то раз мы с Ули разглядели в парке странно одетых людей, стоявших поодиночке. В бархатных беретах и черных накидках, эти запоздалые апостолы Вагнера дирижировали невидимыми оркестрами так, будто за спинами каждого замерла огромная публика. Одни разложили на принесенных пюпитрах партитуры, другие все помнили наизусть.

От Бейройта у меня сохранилось вызывающее приступы смеха отвращение к нуворишам и к самой обстановке культового действа. Денежная знать выставляла напоказ крахмальные манишки, фраки и бриллианты. Зато свежая луковая кожица помнит об одной бесхитростной лесной прогулке в тамошних окрестностях.

Поплутав по сказочно-темному смешанному лесу, мы вышли на внезапно открывшуюся поляну, где людской гам и духовая музыка предуведомили нас о том, что здесь, за длинными столами, уставленными кружками с пивом, устроило праздник стрелковое общество. Народ веселился. Фольклорные костюмы, шляпы с козьими бородками. Будки-аттракционы приглашали бросать мячи по жестянкам и стрелять по мишеням, за что можно было выиграть искусственные цветы или какой-нибудь приз.

Меня рано научили целить в людей, но до стрельбы по ним, к счастью, дело не дошло. А теперь мишени были вполне безобидными, да и ружья оказались духовыми, стрелявшими

маленькими пульками. Сначала я колебался, стоит ли брать приклад, трогать ствол. Но потом подошел к стойке, чтобы сбить для Анны розу.

Тщательно совместил прорезь прицела с мушкой, плавно нажал на курок. Однако выстрел разбил глиняный сосуд, где находился в качестве приза меткому стрелку аист Адебар. Это был знак судьбы. Аист держал в клюве корзинку с двумя близнецами. Это было еще до того, как пилюли «антибеби» ознаменовали начало новой эры.

Кто испугался больше? Даже роза, которую я все-таки сбил, не смогла утешить Анну. Пророческий намек на наших сыновей Франца и Рауля, появившихся через три года, подействовал на нее так сильно, что не помогли ни литровые кружки пива, ни шутки насчет близнецов Вальта и Вульта, знаменитых персонажей из романа «Озорные годы». Не исправило настроение, испорченного моим фатальным выстрелом, и шутливое напоминание о том, что сам автор романа Жан Поль родился неподалеку, в городке Вунзигель. Никогда больше Анна не разрешала мне стрелять для нее по розе.

Но за год до этого Бейройт казался лишь туманным обещанием. Вскоре после восстания рабочих в восточной части Берлина и незадолго до смерти Эрнста Ройтера, берлинского бургомистра, начались каникулы. Анна уехала в Швейцарию, а чуть позднее и я с нашей палаткой отправился автостопом путешествовать на юг.

В Ленцбурге Анна — уже не знаю, какими словесами — подготовила родителей к моему визиту; они смотрели на меня с некоторой гостеприимной отстраненностью. И все-таки голодранец, прибывший из Германии в вельветовых штанах и с рюкзаком за спиной, оставался для них совсем чужим. Чтобы смягчить впечатление от моей внешности, я еще дома сбрил бороду, которую отрастил просто так, вовсе не сообразуясь с экзистенциалистской стилистикой. Теперь я ощущал себя голым, особенно под пристальными взглядами. Сестры Анны, одна чуть старше, другая гораздо моложе, упростили для меня первые шаги в незнакомом окружении.

По случаю моего визита вся родня собралась в весьма буржуазном доме овдовевшей бабушки с отцовской стороны, которая, будучи кальвинисткой с юга Франции, вышла замуж и попала в цвинглианскую семью; народ расселся на веранде, выходящей в сад, беседа пошла по-французски, на меня никто не обращал внимания, будто я пустое место. Никто не разговаривал с заезжим гостем, который чувствовал себя неуютно среди

солидной мебели, пил некрепкий чай, поедал слишком много печенья и тоскливо поглядывал то на стоящую в стороне от него бутылку сливовицы, то на сад, где за кустами рододендрона виднелись не слишком далекие ворота, открытые на улицу, которая вела на Вильдэгг и Бругг.

Оттуда я и прибыл автостопом. Ворота манили к бегству. Почему бы не совершить побег прямо сейчас? Махнуть через подоконник террасы в сад; я был достаточно ловок для быстрой ретировки.

Ну, да, одним махом, без разбега. Прочь отсюда. До ворот всего несколько шагов, а там — остановить на улице попутную легковушку или напроситься в кабину грузовика, который развозит конфеты соседней фабрики «Геро», и неловкость пристального изучения моей персоны осталась бы позади; я — ничем не обременен, свободен.

Что я здесь потерял? Какой знак благоволения может избавить меня от сомнений, в которых я привык упорствовать? Среди цвинглианцев и кальвинистов затерялся католический язычник, словно папист-одиночка, попавший к гугенотам во времена религиозных войн. Да и сливовицы под рукой не было. Так что — прочь, прочь!

Я тайком пощупал внутренний карман куртки, где лежал загранпаспорт, в голове уже прозвучал сигнал готовности к прыжку, медлили только ноги, я уже сделал глубокий вдох, стараясь не встречаться взглядом с Анной, которая, видимо, тоже страдала и почуяла подвох, но тут бабушка повернула свое обрамленное серебряными локонами личико, весело взглянула безо всяких очков, улыбнулась множеством морщинок и обратилась ко мне на правильном немецком языке, аккуратно расставляя ударения, отчего ее серебряные локоны подрагивали: «Как я услышала от Бориса, моего сына, вы изучаете изящные искусства в бывшей имперской столице. В юности я знавала одного молодого человека, который летал на воздушном шаре и тоже жил в Берлине».

И сразу же только что мысленно затеянный побег был отменен. Обратного хода не было, ибо слова бабушки уже приняли меня в эту крепкую семью, узы которой упрочивались накопленным семейным состоянием, но которая жила по швейцарскому обыкновению скромно, на проценты с капитала, а к моему происхождению здесь отнеслись с традиционной толерантностью, будто Король-Солнце никогда не упразднял Нантский эдикт.

Я подчинился обстоятельствам, оставляя в резерве неиспользованную возможность прыжка и побега в знакомые

сферы; кроме того, у преемника берлинского летуна на воздушном шаре не шло из головы, вытесняя все остальное, соответствующее ему жилье, то есть оранжевая палатка, которую мы с Анной намеревались взять с собой в Италию.

День отъезда был назначен. Рюкзаки упакованы. Среди багажа находились старомодные путеводители. Мы прихватили с собой даже книгу Буркхарта «Культура Возрождения в Италии», чтобы развивать в себе чувство прекрасного. Но прежде, чем отправиться в путь, Анне пришлось развеять опасения матери относительно наших совместных ночевок в одной палатке; дочь сделала это непревзойденным по своей невинности указанием на две палаточные стойки, которые, дескать, будут разделять нас ночью. К чести Грети Шварц, матери Анны, нужно заметить: она поверила дочери.

Добрались мы до Мыса Цирцеи и еще дальше к югу от Неаполя. И где бы мы ни разбивали свою палатку — на берегу, под пиниями, между покинутыми домами, — мы оказывались гораздо ближе друг к другу, чем это допускала воображаемая разделительная линия между палаточными стойками. Но наша любовь принадлежит до сегодняшнего дня только Анне и мне, что не позволяет тратить лишних слов на описания или прочие объяснения, а вот что касается палатки, то на ее брезенте осталось несколько красных пятен, не смываемых никаким дождем, ибо однажды мы, не задумываясь о последствиях, остановились на ночлег под тутовым деревом, усыпанным спелыми ягодами.

Однажды, когда мы варили уху на берегу — рыбу можно было купить по дешевке, — нас испугала группа молодых фашистов, которые салютовали Муссолини, своему дуче. Ребята в черных рубашках собрали нам для костра деревяшки, принесенные прибоем. Они были глухи к любому вразумлению, как некогда я сам, носивший коричневую рубашку юнгфолька; подобно обыкновенной сныти, сорная трава вырастает заново, расцветает, захватывает пространство вокруг себя, а подходящий климат для этой молодой поросли существует не только в Италии.

Хотя и преодолели мы довольно значительное расстояние, но повидали не так уж много, ибо мы с Анной все еще открывали друг в друге что-то новое и дивились этим открытиям. Они были сами по себе слишком сенсационны, поэтому мало что могло отвлечь наше внимание. Даже когда я рисовал или писал акварели, мы сидели, прислонившись друг к другу.

На пути туда или обратно помимо обычных маленьких

приключений — скажем, испугавшись одного неаполитанского водителя и его напарника, Анна украдкой подсунула мне швейцарский карманный нож — или встречи с бородатым монахом-капуцином, который с оглушительным смехом водил нас по своим катакомбам, где показывал коллекцию черепов, мне особенно запомнился визит к художнику Джорджо Моранди, которого мы весьма уважали.

Мы были молодыми и наглыми, а потому не постеснялись выспросить в Болонье, где находится его дом, и заявились туда безо всякого предупреждения. Нас впустили сестры маэстро.

Анна довольно бегло говорила по-итальянски, к тому же она сослалась на швейцарского коллекционера по фамилии Флерсхайм, который был знаком с одной из ее теток и считался специалистом по Моранди, а кроме того, в ответ на вопрос, не «americani» ли мы, последовал отрицательный ответ, поэтому обе суетливые дамы пустили нас в ателье маэстро. Там находились лишь натянутые на подрамники чистые холсты, однако маэстро, хихикающий, как кобольд, заверил нас, что все эти ненаписанные картины — их было с дюжину или больше — уже проданы, а купили их, разумеется, «americani».

На веранде, которая использовалась под ателье, мы увидели на столах и полках вазы, кувшины и бутылки; расположенные в случайном порядке, они образовывали продуманные композиции на плоских подставках с задником из ткани. Когда-то Моранди писал с них свои характерные натюрморты, теперь все пылилось, так что эта равномерно покрытая серо-бурым налетом пыли коллекция кувшинов, бутылей и ваз давала наглядное представление об аскетической красоте картин, написанных маэстро.

Он носил круглые очки и улыбался, пока мы рассматривали новые и старые постановочные композиции, благодаря которым возникли шедевры живописи, пользующиеся столь высоким спросом. Между вазами и бутылями повисла паутина, где даже ютились пауки. Сегодня этот запыленный антураж, каким мы его застали тогда, вполне сошел бы у всеядных художественных критиков за произведение в духе концепт-арта; наверняка сыскались бы и покупатели.

Одетые в черное сестры художника дали нам на прощанье по рюмочке приторно-сладкого зеленого ликера. Я упустил возможность выпросить у маэстро пробный оттиск его гравюры. Возможно, старик расщедрился бы, тогда у нас с Анной очутился бы лист с его автографом. Мы покинули Болонью, левацкий университетский город, известный своей жирной кухней.

В Неаполе, неподалеку от порта, мы наткнулись на зареванную группу немецких бойскаутов, у которых украли рюкзаки; теперь мальчишкам хотелось домой, только домой. Поперек улиц на веревках сушилось разноцветное белье. Стайки звонкоголосых детей. Мы плутали по узким улочкам, разглядывали церковные процессии с их язычески-католической помпезностью, известной нам по кинофильмам неореалистов. Пахло рыбой и гнилыми фруктами.

А та, кому в детстве я обещал сказочно-прекрасное путешествие на юг, до самого Неаполя, в край, где лимонные рощи цветут, та, которая любила называть своего не скупящегося на обещания сыночка именем знаменитого театрального героя, чья луковица жизни, очищенная чешуйка за чешуйкой, не обнаружила смысла, та, которая, словно мать Пер Гюнта, не дождалась исполнения моих обещаний, та, которая всю свою жизнь тянулась к прекрасному и знала, что это такое, — теперь радовалась, что «ее милому мальчику, — так она написала мне, — выпало счастье увидеть все красоты», да еще «вместе с такой славной барышней из хорошей семьи».

Лишь в самом конце письма, где мама просила меня «быть пообходительней с фройляйн Анной», она намекала на свою болезнь: «мне не становится лучше»; намек вполне очевидный, но я не воспринял его с должной серьезностью, поэтому моя жизнь шла дальше своим чередом, оставляя страдания мамы в стороне.

Едва мы вернулись в Ленцбург, отец Анны пригласил меня на мужской разговор. За время нашего отсутствия он получил от берлинской квартирной хозяйки своей дочери письмо, полное бездоказательных обвинений. Отец сказал, что не придает значения сплетням, однако вполне очевидно: я не раз оставался у дочери на ночь, поэтому, мол, по мнению жены, к которому он присоединяется, необходимо легализовать мои отношения с их дочерью, несомненно возникшие на основе взаимной симпатии. К этому, дескать, добавить нечего.

Мы стояли возле полок, забитых книгами, и я пытался прочитать их названия на корешках переплетов. Отцу Анны разговор был тягостен. Мне же наоборот, тем более что я тут же дал мое согласие на брак. Осталось лишь обсудить срок свадьбы.

Отец трех дочерей, Борис Шварц был готов поженить нас если не тотчас, то как можно скорее, желательно до конца года. Я же никак не хотел жениться в вельветовых штанах и поношенном пиджаке, сохранившемся со времен проживания в дюссельдорфском приюте «Каритас», а собирался подзаработать за зимний семестр, чтобы явиться в ленцбургский отдел

регистрации браков, приодевшись хотя бы в магазине готового платья. Анна тоже ратовала за весну следующего года. До тех пор ей хотелось разучить для промежуточного экзамена сольный танец на музыку фортепьянной пьесы Бартока.

Мы решились на брак столь скоропалительно, будто речь шла о какой-нибудь профилактической пилюле от детской болезни. Не больно, и ладно. Сделаем это побыстрее.

Назначили день в апреле. Я был против двадцатого, но мой будущий тесть сказал, что в отличие от Германии, где эта дата обременена политикой, в Швейцарии у нее нет никаких подтекстов, к тому же от дочери он слышал, что мне двадцатого апреля сорок пятого года повезло: юный солдат хотя и был ранен, зато пережил войну.

Придерживавшийся твердых принципов торговец скобяными товарами и офицер-резервист неизменно боеготовой швейцарской армии обладал на самом деле весьма мягким характером. Похоже, его тяготила необходимость оказывать нажим. Но, оборачиваясь назад, чтобы еще раз перепроверить мое скоропалительное «да!», вижу, как я, превратившийся в жениха индивидуалист, стою перед отцом Анны и не ощущаю ни малейшего принуждения. Я беспечен и готов исполнить твердое обещание. Пожалуй, забегая вперед, я уже мнил себя одетым с иголочки и с цветком в петлице.

Все последующие события развивались слишком стремительно, чтобы выстроить их в надлежащей последовательности, к тому же для мамы, которая находилась далеко и страдала от боли, время шло совсем иначе.

Содержимое книжных шкафов и полок у родителей Анны произвело на меня едва ли не более сильное впечатление, чем состоявшиеся на их фоне переговоры о женитьбе, однако не могу определенно сказать, случилось ли это еще за последние недели тогдашнего пребывания в Ленцбурге или же на следующий год. Так или иначе, я читал запоем. Сначала «Малую историю литературы» Клабунда, потом переплетенного в дорогую мягкую кожу «Улисса» Джойса в переводе Георга Гейерта, выпущенного цюрихским издательством «Рейн-Ферлаг».

Я храню эту книгу до сих пор. Мать Анны, которая много читала до глубокой старости — она дожила до ста четырех лет, — считала Джойса чересчур сложным и «жутким». Она подарила мне двухтомник, не подозревая, какой импульс даст мне это словесное чудо, сопровождаемое чтением других книг, ибо немного позже Пауль, дядя Анны — чудак, живший вместе с расторопной, деловитой сестрой в четырехкомнатной вилле и

державший в саду на цепочке обезьянку, — дал мне роман Альфреда Деблина «Берлин, Александерплац»; кстати говоря, потом я учился на каждой книге этого автора, в честь которого учредил особую литературную премию.

К сему добавилась «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера в издании, которое иллюстрировал Франс Мазереель. Тугое переплетение множества сюжетных линий стало чем-то вроде ракетного топлива для пока еще заблокированной энергии моего писательского неистовства.

И еще очень многое было прочитано в Ленцбурге, словно до свадьбы я копил запас, которым буду кормиться еще долгие годы: «Манхэттен» Дос Пассоса, «Порабощенный разум» Чеслава Милоша, мемуары Черчилля, позволившие мне взглянуть на войну глазами победителя, а также снова и снова — «Зеленый Генрих» Готфрида Келлера. Еще мальчишкой я нашел этот роман в книжном шкафу мамы, тело которой, пораженное раком, подвергалось теперь облучению.

А может, какие-то из этих книг я прочел уже в Берлине, когда маме становилось все хуже? Не навязал ли мне приключения Уленшпигеля и его приятеля Ламме Гудзака мой товарищ Людвиг Габриэль Шрибер, для которого эта книга была любимейшим чтивом? Ведь Люд, который с каждой рюмкой становился все более истовым католиком, кляня при этом дьявольские козни инквизиции так, будто она существует до сих пор, кричал у длинной стойки в баре «Лейдике»: «Tis tydt van te beven de klinkaert», что примерно означает: «Настала пора звенеть бокалам». После чего он, следуя цитате, швырял опустошенную рюмку об пол.

Но кто бы ни направлял меня на бесконечный читательский путь — первым был мой гимназический учитель, штудиенрат Литшвагер, заразивший меня «Симплициссимуссом» Гриммельсгаузена, — книжный шкаф родителей Анны стал ее свадебным приданым; женившись на ней, я еще и разбогател.

«Боймлиакер», как называлась ленцбургская вилла с садом, дала мне в придачу еще кое-что: двух сестер Анны. Старшая, Хелен-Мария, смогла бы, пожалуй, поколебать мой выбор невесты, что даже втайне и произошло; младшая же, Катарина, была озорным подростком и еще школьницей.

Как открытый книжный шкаф побудил меня всю жизнь рассказывать всяческие истории с различной степенью правдивости, вновь и вновь связывая рвущиеся концы сюжетных линий, так и троица сестер с некоторыми интервалами на протяжении десятилетий неотвратимо возникала на моем пути:

Вероника Шрётер, мать моей дочери Хелены, — средняя из трех сестер-саксонок; Ингрид Крюгер, которой я обязан дочерью Неле, росла младшенькой среди трех сестер в тюрингской семье; а Ута, оставшаяся со мной после всех передряг и приведшая в мое большое семейство своих сыновей Мальте и Ханса, была старшей из трех дочерей переднепомеранского врача, который жил на небольшом острове.

Нет, к этому списку троиц добавить больше нечего, если, конечно, не считать трех дочерей горного мастера, старшей из которых приглянулся юный сцепщик; тем не менее я мог бы подумать, что так уж мне написано на роду, однако дьявол — или это был мой приятель Йозеф, жевавший со мной тмин, и нынешний Папа? — сказал мне, когда давным-давно, бросая кости, я гадал на моих будущих женщин и мне четыре или пять раз подряд выпадали тройки: «Все это — лишь дело случая».

Подобно трем грациям, сестры помахали мне вслед, когда я с притороченной палаткой, на которой алели пятна тутовых ягод, отправился из Ленцбурга на Бругг, чтобы оттуда автостопом добраться до Берлина. Может, надо было сделать крюк и навестить родителей в Оберауссеме?

Мама все еще мучилась дома, но ездила автобусом в Кёльн, где ее облучали, облучали снова и снова.

Осенью и зимой я подрабатывал в Берлине в похоронном бюро, снимая гипсовые маски с умерших. Накопленных денег хватило, чтобы в универмаге «КдВ» купить подходящий черный пиджак, к нему брюки в узкую полоску и серебристо-серый галстук, а также черные штиблеты, которые потом я больше никогда не надевал. Карман опустел, зато на свадьбе я хотел выглядеть прилично.

То, что случилось до или после свадьбы, другие события, которые происходили одновременно, длились отведенный им срок, начинались и заканчивались, перебились недолгими поисками квартиры, перемежались известиями о болезни мамы — теперь ее перевели в госпиталь кёльнского района Ниппес, — то, что позднее буквально распирало меня, но заставляло неметь, а потом отпустило, вылилось на бумагу или обрело свою форму в глине, даже принесло небольшие деньги и первый успех — я продал бронзовую фигурку краба, — все это шло своим ходом, накапливалось, наслаивалось, отстаивало свое присутствие и добивалось приоритета.

Примерно в ту пору, когда мы с Анной впервые увидели неподалеку от маленькой площади Розенэк мерцающее черно-белое изображение на экране телевизора, выставленного в

витрине магазина радиотоваров, а полемика об искусстве между Карлом Хофером и Биллом Громанном продолжала лихорадить всю Высшую школу изобразительных искусств вплоть до мастерской гипсовых отливок, маму перевели на стационарное лечение; мы же переехали в берлинский район Шмаргендорф, где наша хозяйка, русская немка, каждую неделю приглашала к себе уборщицу, которая приходила в Западный Берлин из Восточного, чтобы подзаработать, а заодно гадала на кофейной гуще. Смерть в нашей семье она не нагадала, зато предсказала мне известность и славу: «Будет вам добрая весть..»

Мы занимали большую комнату и могли пользоваться кухней. Пока я писал четверостишья и рисовал всяческую живность, а босоногая Анна танцевала под музыку Бартока или же мы ходили в кино смотреть французские фильмы тридцатых годов, вдалеке от меня медленной смертью умирала мама.

Мы были свидетелями того, как в Восточном и Западном Берлине перед расколотой идейными убеждениями публикой выступали ораторы, которым «холодная война» давала немало поводов для острой полемики; зима же того года не отличалась ни особым холодом, ни мягкостью. Устойчивые противоречия углубляли противостояние Запада и Востока, а Брехт, улыбаясь, посиживал в президиумах, будто у него не было собственного мнения ни об атомной бомбе, ни о Корейской войне. Бедный Б. Б. молча жевал сигару, а представители интеллектуальных кругов из обоих мировых политических блоков — Мелвин Ласки и Вольфганг Хариг — перечисляли чудовищные преступления, взаимно обвиняя в них идейного противника, и предупреждали об угрозе нанесения им первого ядерного удара; тем временем рак разъедал мою маму.

Мы купили подержанный холодильник, первое совместное приобретение нашей семейной пары, а мамино нутро сжигалось облучениями.

Мы пользовались любой возможностью потанцевать, считая, что молодость самодостаточна; мамино чрево стало незаживающей раной.

Мне хотелось бы рассказать, какие события происходили — чередой или одновременно — накануне нашей свадьбы; мама умирала медленно, об этом я почти ничего не знал, она была где-то вне нашего времени, ее умирание было далеко от любых внешних событий.

То, о чем спорили Восток и Запад — разговоры постоянно возвращались к жертвам сталинизма и оценке количества погибших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, зато об Аушвице не говорилось ни слова, — возможно, и волновало

весь мир, как год назад смерть Сталина; мама умирала в тишине.

Мой учитель Хартунг раз в неделю присоединялся к мужской компании, которая пила пиво на Байеришер-плац, собираясь вокруг поэта Готфрида Бенна — тот принципиально не допускал к себе молодых поэтов, однако Хартунг показал ему несколько моих стихов; у мамы было совсем другое окружение, далекое от столь значительных событий, как оценка рифмованных и белых стихов.

Когда сестра написала мне — или это был отец? — чтобы я срочно приезжал, ибо конец уже близок, я без Анны бросился туда, — накануне услышав от Хартунга, что Бенн назвал мои творения «многообещающими», но заметил: «ваш ученик будет писать прозу», — межзональным поездом в Кёльн, где в госпитале Святого Винцента умирала мама.

Она узнала меня не сразу. Все время просила, чтобы я поцеловал ее в лоб. Я целовал ее искаженные болью губы, лоб, беспокойные руки.

Ее кровать перевезли из многоместной палаты в кладовку, где лежали умирающие; там не было окон, на стене не висел даже обязательно полагавшийся крест. Высоко под потолком горела тусклая лампочка, ватт на сорок.

Говорить мама уже не могла, только шевелила сухими губами. Я утешал ее какими-то словами. Рядом находились отец и сестра. Мы сменяли друг друга, смачивали ей рот. Оставаясь наедине, я приникал к ней, шептал на ухо. Вероятно, это были обычные посулы, старая песня: «Когда поправишься, мы вместе… К солнышку, на юг… Да, туда, где лимонные рощи цветут… Где красота, кругом красота… Доберемся до Рима и дальше, до Неаполя… Поверь мне, мама…»

Иногда заходили медсестры и монахини в крылатых чепцах. Приносили бинты, грелку, привозили каталку и поспешно уходили.

Потом я рисовал этих винцентинок из-за их чепцов, рисовал в фас и профиль, карандашом, углем и пером.

Одна из приходивших и уходивших монахинь проговорила: «Скоро Господь смилостивится над бедной душой, отмучается страдалица…»

Приносил ли я цветы, особенно любимые мамины астры? Луковица об этом молчит.

Пока я, сидя рядом с мамой, заснул — не-знаю-на-сколько, — она умерла, сказал отец, который потом лишь причитал: «Ленхен, моя Ленхен…»

Она, из которой я с криком вышел на свет — в воскресенье,

из-за чего мама называла меня счастливчиком; она, к кому я до четырнадцати лет садился на колени — маменькин сынок, с юных лет сознававший в себе этот комплекс; она, кому я сулил богатство, славу и путешествие на юг, будто в Землю обетованную; она, научившая меня взимать долги своей клиентуры малыми долями — «обходи квартиры по пятницам, пока у людей еще цела недельная получка»; она, моя убаюкиваемая, моя подспудно неспокойная совесть; она, кому я доставил столько забот и страхов, которые множились, подобно грызунам; она, кому я подарил на День матери электрический утюг — или хрустальную чашу? — на деньги, собранные с должников; она, не пожелавшая провожать меня на Главный вокзал, когда я, глупый юнец, пошел добровольцем в солдаты — «на смерть тебя посылают…»; она, не ответившая ни слова на мои расспросы в поезде от Кёльна до Гамбурга о том, что с ней произошло, когда пришедшие русские чинили насилие — «все плохое нужно забыть»; она, научившая меня играть в скат; она, увлажнявшая большой палец, чтобы пересчитывать купюры и продуктовые карточки, но игравшая на пианино всеми пальцами пьески, медленные, как капель; она, собиравшая для меня книги и ставившая их в шкаф корешок к корешку, хотя сама их читать не успевала; она, у которой от трех братьев осталось лишь то, что уместилось в небольшой чемодан, видела во мне их продолжение — «это тебе досталось от Артура и Пауля, а еще немножко от Альфонса»; она, готовившая мне сладкий гоголь-моголь; она, смеявшаяся, когда я надкусывал мыло; она, курившая сигареты «Ориент» и умевшая пускать дым колечками; она, верившая в меня, счастливчика, а потому открывавшая брошюру с годовым академическим отчетом всегда на одной и той же странице; она, отдававшая своему сыночку все и получавшая взамен немного; она, моя обитель радости и юдоль печали; она заглядывала мне через плечо раньше и продолжает заглядывать теперь, после смерти, говоря: «Вычеркни, это ужасно», — но я редко слушаюсь ее, а если и слушаюсь, то слишком поздно; она, родившая меня в муках и умершая в муках, освободила меня своей смертью от какой-то преграды, после чего я начал писать и писать; она, кого я хотел бы воскресить поцелуями на чистом листе бумаги, чтобы она отправилась в путешествие со мной, только со мной, и увидела прекрасное, одно лишь прекрасное и, наконец, сказала бы: «Довелось же мне увидеть красоту, такую красоту…». Она, моя мама, умерла 24 января 1954 года. Я же заплакал позже, гораздо позже.

Что мне подарили на свадьбу

На похоронах, которые прошли на кладбище Обераусссема, я стоял рядом с сестрой, а она рядом с отцом. Уйдя из монастыря, сестра сумела получить работу только на низшей должности в регистратуре кёльнской больницы. Она тяжело переживала, не знала, что делать. Кто-то должен был бы утешить ее, только кто, если Господь ее теперь уже не слышал?

Мать исчезла вместе с гробом, по которому прощально отстучали комья земли. Брат был погружен в себя, занят мыслями только о том, как бы обезопасить свое рискованное счастье, да и жил далеко. Как и сестра, отец остался безутешным, мне даже показалось, будто он стал меньше ростом, усох.

Отец выглядел так сиротливо, словно не мог вынести долгого одиночества; вскоре после смерти жены он сошелся с одной вдовой, которая получала пенсию за мужа — позднее отец также вышел на пенсию, — поэтому, чтобы не терять вдовью пенсию, они жили гражданским браком. Время шло, отец был по-своему доволен. Порой им удавалось кое-чем себя побаловать; например, они ездили на автобусные экскурсии для пенсионеров — вверх по течению Рейна до Бахараха на дегустацию вин или до бельгийского города Спа, чтобы рискнуть в тамошнем казино

малой толикой сбережений и, глядишь, что-нибудь выиграть.

Спустя годы, когда я, по словам отца, «сделал себе имя», он говорил, что гордится сыном, в которого — он утверждал это не моргнув глазом — «всегда твердо верил». Я поддакивал: «Конечно, папа, кем бы я был без тебя». Теперь между нами царил мир, особенно когда у нас родились дети, и он навещал их со своей новой женой, которую отец звал Клерхен. Пока она, фрау Гутберлетт, листала иллюстрированный журнал на софе нашей гостиной на Нидштрассе, мы с отцом и с Анной, которая весьма старалась, играли в скат.

Но тогда, на кладбище Оберауссема, у нас не нашлось друг для друга слов. Возможно, безмолвными нас делала панорама, открывавшаяся за кладбищенскими могилами, — там дымились трубы теплоэлектростанции «Фортуна Норд», говорившие об одном: жизнь продолжается, жизнь продолжается…

Нашу траурную церемонию окружали надгробные камни из диабаза, силезского мрамора, известняка и бельгийского гранита, которые стояли между кустов самшита и выглядели так, будто все они изготовлены в мастерской Гёбеля; хотя старший подмастерье Корнефф действительно работал со мной по окрестным деревням, но мы никогда не доезжали на грузовичке фирмы до Оберауссема, чтобы выполнить здесь привычную работу, а именно установку с помощью дюбелей двух- или трехместных надгробий на цоколь.

Вокруг могилы теснились соседи отца и его товарищи по работе. Шел то ли дождь, то ли снег, а может, на земле просто лежали недотаявшие сугробы. Не знаю, кто пришел на похороны, а кто отсутствовал. Не помню, о чем я говорил со священником и единственным служкой. Я был опустошен или чувствовал внутреннюю пустоту. Попробовал заплакать, не получилось. Только это ни о чем не говорит.

А когда рыдающая сестра уже за кладбищенской оградой спросила: «Что со мной теперь будет? Что же мне делать?» — у брата не нашлось слов для ответа, поскольку я был занят собой, только собой.

Отец скончался летом семьдесят девятого года, ему было восемьдесят. Я приехал, когда гроб еще был открыт; отец выглядел хорошо, как всегда аккуратным, благорасположенным по отношению ко всему миру. Он покоится в Опладене, там же, где вдова Гутберлетт, которая умерла раньше. Всякий раз, когда мы с ним виделись, отец считал необходимым подбодрить меня: «Так держать, сынок!»

В его бумажнике хранились положительные рецензии на мои

книги, ни одну из которых он не прочел. Мой сын, учившийся в Кёльне на курсах Западногерманской теле- и радиовещательной компании, чтобы приобрести специальность техника по обслуживанию студийной электроники — он тогда носил длинные локоны, подражая своему кумиру Фрэнку Заппе, — порой наведывался с друзьями к деду поиграть в карты: маленькая страстишка моего отца.

В середине шестидесятых, когда правые радикалы из Национал-демократической партии Германии выступили со своими «вечно вчерашними» лозунгами, я спросил у отца, за кого он голосовал на недавних выборах в бундестаг. Он ответил: «Конечно, за социал-демократов, как всегда», — после чего, немного помолчав, пошутил: «А то ведь ты мне помогать перестанешь». Настолько доверительными были к тому времени наши отношения.

За несколько лет до его смерти, когда ему уже требовался уход, мы с Утой порой забирали его к себе. Ему нравилась долгая поездка на машине, он отказывался «немножко соснуть», неотрывно глядел в окно, где проносились сочные луга и пасущиеся коровы. Всюду коровы.

Он часами дремал на кухне нашего дома в Вевельсфлете. А в полдень, до того, как, вернувшись из школы, Бруно, Мальте и Ханс начинали шуметь, каждый на свой лад, отец подсаживался к кухонной плите, где бурлила вода и варилась картошка. «Мне всегда нравилось, как булькает в кастрюле, — говорил он, — любил я готовить для Ленхен, потом для Клерхен…»

Много разговаривать ему уже не хотелось, зато он был очень доволен, когда Ута целовала его, желая спокойной ночи: «Только по-настоящему, в губы».

А что же сестра? Мне еще часто приходилось слышать от нее вопрос, заданный вскоре после маминых похорон на кладбище Оберауссема: «Что со мной теперь будет? Что же мне делать?»

В конце апреля, после моей свадьбы, на которую сестра приехала в Ленцбург, она вместе со мной и Анной отправилась на тессинскую дачу тестя и тещи, где сестра пыталась заглушить свои переживания несметным количеством швейцарского шоколада, молочного и горького, но так и не решила, что делать, только постоянно лила слезы, несмотря на отличную погоду.

Ее стенания подразумевали желание заняться какой-нибудь социальной работой, которая приносила бы помощь людям, причем не абстрактную, а вполне практическую и очевидную.

Осенью пятьдесят четвертого, после нашей поездки по угрюмой и закрытой франкистской Испании, откуда я привез свой первый прозаический опус, рассказ «Моя зеленая лужайка»,

сестра навестила нас в Берлине — мы уже жили в подвальной квартире неподалеку от озера Дианазее; она снова начала приставать к нам все с тем же вопросом, и это продолжалось до тех пор, пока однажды на обратном пути из кино, куда мы ходили втроем, нам не пришлось остановиться на Будапештерштрассе, чтобы переждать красный сигнал светофора; тут в ответ на назойливый вопрос сестры: «Что же мне делать?» — я не слишком по-братски дал ей совет, который прозвучал как приказ.

Следуя какому-то наитию свыше, я скорее рявкнул, нежели сочувственно сказал: «Довольно ныть, черт побери! Становись акушеркой. Детей всегда рожают!»

И она стала акушеркой, отучившись в Земельной женской клинике в Ганновере. А потом, работая в Рейдте, в клинике Боннского университета и в зауэрландском Люденшайте, способствовала появлению на свет около четырех тысяч новорожденных. Она трудилась на протяжении многих лет, проявляя практическую хватку и способность дать дельный совет, занимала должности старшей акушерки и акушерки-наставницы, избиралась председателем производственного совета нескольких больниц, боролась за улучшение условий труда и заключение справедливых тарифных соглашений.

Она до сих пор разъезжает по делам профсоюзного совета старейшин, членом которого ее избрали. Женщина она решительная, по праздникам не прочь выпить, наши дети и внуки ее любят, хотя, пожалуй, немного побаиваются; будучи католичкой и социал-демократкой, она дружит с монахиней, сестрой Шоластикой, которая больше известна как Шолли, принципиальная в отстаивании собственных позиций. Она и в старости всюду находит повод для смачной шутки, но может разгневаться, особенно когда приходится разговаривать с теми, кто защищает существующую и узаконенную несправедливость. «Нет, это просто возмутительно!» — гласит одна из ее неизменных фраз.

Как и мою младшую дочку Неле, которая также стала акушеркой, ее беспокоит падение рождаемости. Обе успокаивают друг друга: «К счастью, хватает иностранцев, у которых прибавляется потомство..»

Вот так одна реплика, произнесенная на краю тротуара в ожидании, пока переключится красный сигнал светофора, может послужить дорожным указателем для долгого жизненного пути; это напоминает мне о профессоре Энзелинге, который студеной зимой сорок седьмого года, когда Академия художеств была закрыта из-за отсутствия угля, дал мне единственно верный совет.

Сохранилась фотография с нашей свадьбы: Анна в костюме бордового цвета, на мне черный пиджак и брюки в полоску. Мы улыбаемся друг другу, будто нам удалась забавная шутка.

Ей двадцать один год, мне — двадцать шесть. Временами нам не хочется чувствовать себя слишком взрослыми. Мы носим кольца на левой руке, золото увеличивает их ценность. Но поскольку Анну я уже и раньше считал своим достоянием, то наиболее дорогим приобретением от нашего поспешного бракосочетания стала для меня портативная пишущая машинка марки «леттера», выпускаемая фирмой «Оливетти»; этот свадебный подарок — пусть не сразу, а постепенно — сделал меня писателем.

Практически всегда я хранил ей верность. Я не мог и не хотел расставаться с ней. Привержен ей и до сих пор. Она всегда знала обо мне больше, чем я сам желал бы знать о себе. Она занимает место на одной из моих конторок, ожидая меня всеми своими клавишами.

Признаюсь, временами я пробовал и другие модели — как говорится, ходил на сторону, — однако всегда побеждала привязанность к ней, на что она отвечала взаимностью даже тогда, когда такие пишущие машинки исчезли из продажи. Теперь ее можно было найти только на блошиных рынках. Всякий раз, благодаря дружеским связям, мне удавалось достать «бывший в употреблении» экземпляр с добавлением: машинка, дескать, свое отслужила. Что было неправдой.

Моя вечная «леттера». Ее легко чинить, отсюда такая жизнестойкость. Выглядит она скромно и элегантно. Серо-голубой металл ее корпуса никогда не ржавеет. Легкий стук податливых клавиш, удобных для двухпальцевой техники, льстит моему слуху. Иногда начинает западать какая-нибудь буква, что учит меня такому же долготерпению, какое проявляет она сама, когда я снова и снова попадаю на неверную клавишу.

Да, у нее есть свои причуды. Порой заклинивает ленту. И все же я знаю: она стареет, но не устаревает. Когда окна открыты, ее стук разносится окрест, говоря: слушайте! мы еще живы! Наш диалог не окончен. Моего католичества хватает настолько, чтобы продолжать исповедоваться ей.

Три пишущих машинки марки «леттера» занимают свои места на конторках в Португалии, Дании и белендорфской мастерской. Эта троица заботится о том, чтобы в потоке моих повествований не возникало заторов. Стоит мне увидеть одну из них, или другую, или третью, мне тут же что-нибудь приходит на ум, а сестрички начинают дружно болтать, стрекоча то безостановочно,

то с перерывами.

Все три — мои механические музы. Других у меня нет. Книжка «Находки для нечитателей», которая вышла в самом конце минувшего столетия, представляет собой сборник «аквалирики»; это сочетание акварелей и стихов, посвященных разным вещам моего повседневного обихода. Есть там и четверостишие о моей пишущей машинке. Португальская «Оливетти» никогда не ревнует к датской, а белендорфская — к обеим заграничным сестрам. Они любят меня в три голоса, а я храню верность им, только им.

Сколько бы новых и новейших штуковин ни появлялось на рынке, ничто не сможет изменить моей привязанности. Ни электрические пишущие машинки, ни компьютеры не сумели соблазнить меня на отказ хотя бы от одной из моих «Оливетти»; точно так же никому не удалось отправить на свалку меня самого, «старую железяку».

В середине семидесятых моя семейная и личная жизнь разладилась, у меня не находилось надежного пристанища, где можно было бы спокойно продолжить работу над «Палтусом», поэтому я сбежал с одной из моих «Оливетти» в чемодане из Берлина в Лондон, где меня любезно приютила коллега-писательница Ева Фигес; так моя «Оливетти» застрекотала на новом месте, покуда я опять не сделался оседлым человеком, благодаря Уте.

Я обращался с ней бережно. Не вымещал на ней злости, которая адресовалась к какой-нибудь конкретной персоне. Не говорил ей худого слова, когда ленился сам менять стершуюся ленту, отчего оттиск букв становился бледным. Никогда не уступал ее кому-нибудь на время.

Но и она не подводила меня в трудную минуту, хотя ей самой приходилось нелегко: смена климата и дальние перелеты. В Калькутте, где мы поселились на довольно продолжительный срок, ей пришлось выносить влажную жару, в ее внутренностях даже угнездились размножавшиеся насекомые. Однако предшествующие годы были еще хуже.

В начале восьмидесятых, когда мне казалось, что род людской обречен на вымирание, у меня возникла писательская пауза, затянувшаяся на четыре года, на протяжении которых я работал не двумя, а всеми десятью пальцами, превращая в скульптуры гончарную глину; тогда все три моих «леттеры» чувствовали себя брошенными. Они пылились до тех пор, пока я не начал снова писать кистью на листах белой глины, которая потом обжигалась; затем я стал делать черновые записи в толстенной книге с чистыми страницами, придумывая

апокалиптические истории, пронизанные прощальными настроениями; тесные строки этих историй сложились в рукопись романа под названием «Крысиха», варианты которого я печатал то в одном месте, то в другом, а окончательную редакцию — в третьем.

Изо дня в день. Вставляя один лист за другим… И так уже пять десятилетий. За рукописной версией следовали две-три машинописных.

И «Оливетти» все это выдерживала: новеллы, повести и романы, а в промежутках — как бы для роздыха — стихи, затем вновь сухая проза речей для избирательных кампаний в поддержку социал-демократов, начиная с восемьдесят девятого года — публицистических выступлений против «дешевой распродажи», под знаком которой состоялось объединение Германии.

Я вымещал на ней свой гнев, имея в виду вовсе не ее. Я был весьма одинок в оценке махинаций агентства по приватизации бывшей госсобственности ГДР, но даже когда мои тревожные призывы заглохли, оставшись неуслышанными, я не бросил мою «леттеру», на которой разрастался роман «Долгий разговор», пока он не стал настолько объемистым, что сумел вобрать в себя отсортированные отходы двух столетий немецкой истории, превратившись в забавную болтовню моего героя Теодора Вуттке по прозвищу Фонти. Но к этому моменту ленты для портативной пишущей машинки «Оливетти» перестали выпускаться окончательно, поэтому без дружеских связей меня наверняка сразил бы если не экзистенциальный, то по крайней мере писательский кризис, обусловленный причинами материального свойства.

Но когда мы с Утой гостили в Мадриде, старейшины цыганской общины, ютящейся на окраине города неподалеку от мусорных свалок, преподнесли мне в качестве почетного дара трость, которой мне вскоре придется пользоваться, ибо ноги ходят все хуже; а молодые цыгане, прочитав газетную статью с ироническими замечаниями о моей старомодной привязанности к пишущей машинке, подарили мне целую фабричную упаковку новеньких лент, так что у меня теперь есть запас на будущее…

Но моей первой «Оливетти», тем самым свадебным подарком, я обязан Марго, сестре моего тестя, и Урсу, ее мужу; теперь мой младший сын Бруно бережет ее так, будто она часть меня самого: на ней я напечатал стихи, опубликованные вскоре в моей первой книге «Преимущества воздушных кур».

Они писались легко; пергаментная кожица лука не

обнаруживает ни пятен пота, ни иных следов тяжкого труда. Зародились те стихи несомненно в сыром подвальном помещении с окнами в сад; этот подвал, где мы поселились с Анной, принадлежал вилле, чей верхний этаж с балконом и эркером сгорел во время войны, теперь там обитали только голуби, а через крышу давали о себе знать капризы погоды.

Мы нашли эту полуразрушенную виллу между Кёнигсаллее и заросшим озерцом Дианазее. За недорогую плату мы договорились об аренде подвала, который раньше был частью дворницкой. Над нами жил только профессор с женой, при встречах мы раскланивались.

Хоть занимали мы маленькую жилплощадь, зато в нашем распоряжении оказался большой запущенный сад, мы были счастливы, и жизнь походила на сказку, обещавшую счастливый конец. Анна чувствовала себя здесь уютнее, чем я, поскольку за спиной у нее было швейцарское детство, а идиллия полуразрушенной виллы вызывала у нее ощущение свободы. Да и мыслями она уносилась не так далеко, как я. Летом окно стояло открытым: достаточно было шагнуть через подоконник, чтобы очутиться в саду; к тому же окно ежевечерне смотрело на закат.

На газовой плите с двумя конфорками я варил чечевичную похлебку, в чугунной сковороде жарил свежую селедку, готовил и другую дешевую еду: кровяную колбасу, бараньи почки, свиную шейку По воскресеньям, если мы ждали гостей, я тушил телячье сердце, фаршированное сливами. Осенью к бараньим ребрышкам добавлялись сезонные блюда — бобы и груши. Так называлось одно из стихотворений, перепечатанных начисто на моей «Оливетти». Другое стихотворение называлось «Комариный рой», что объяснялось множеством этих кровососов, прилетавших с соседнего озера Дианазее.

Нас навещали друзья. Ханс и Мария Рама считали необходимым увековечить нашу любовь на черно-белых фотоснимках. А еще я опять подружился с флейтистом — на сей раз он был курчав, маэстро окружали поклонницы с прическами а-ля Моцарт, и играл он на серебряной поперечной флейте: Орель Николе, еще одна тихая, долгая, но несбывшаяся любовь Анны.

Приходили супруги Хэртер, с которыми хорошо было посудачить обо всем на свете. Фритьоф Шлипхаке был студентом архитектурного факультета, позднее он придумал дизайн для названного его именем торшера, стульев и кресел, которыми был обставлен студенческий городок Айхкамп; бывал у нас скульптор Шрибер, днем еще трезвый, и его ученик Карл Опперманн, который вскоре начал подрабатывать изготовлением рекламы для крупной фирмы «Молочное хозяйство Болле». Он помог мне

получить от нее заказ: фирма собиралась отметить семидесятипятилетний юбилей, а также планировала открыть первый магазин самообслуживания; по этому поводу затевался выпуск рекламной брошюры.

По этому случаю я напечатал на своей «Оливетти» шесть-семь страничек текста под заголовком «Обращать язычников в истинную веру или торговать молоком?», который был выпущен огромным тиражом — кажется, триста пятьдесят тысяч экземпляров — и рассован по почтовым ящикам берлинских квартир; моя первая большая аудитория.

У меня не осталось ни одного архивного экземпляра этой поделки, чтобы привести оттуда какую-нибудь цитату, но Карл Болле, первый и легендарный поставщик свежего молока для крупных городов — «Молоковозы Болле!», — заплатил мне за забавный текст триста марок, а спустя тридцать лет эта все еще процветающая фирма напечатала брошюру за еще больший гонорар: так моя молочная сказка вышла массовым тиражом, подтвердив пророческий отзыв Готфрида Бенна на мои стихи: «Он будет писать прозу…»

А пока моя «Оливетти» выдавала одно стихотворение за другим. Я нашел собственную интонацию, или же это она, как бродячая собака, нашла меня. Стихи лежали в папке, откуда однажды Анна и моя сестра, приехавшая навестить нас, отобрали штук шесть и отослали на Южногерманское радио, поскольку его редакция, как об этом написали газеты, объявила поэтический конкурс. Обе уговорили меня рискнуть, то есть принять участие в конкурсе. Среди отобранных стихов были «Лилии, увиденные во сне», перенасыщенные, на мой взгляд, метафорикой.

Вскоре не стихотворение «Кредо» — лучший гимн курильщикам, не лирическая опись имущества «Открытый шкаф», даже не «Бобы и груши», а именно чахоточно-бледные цветы, взращенные моим вполне здоровым сном, удостоились третьей премии, сумма которой запомнилась мне с бухгалтерской точностью: триста пятьдесят марок. Кроме того, мне оплатили мой первый перелет до Штутгарта, чтобы лично получить премию, и обратно.

На премиальные деньги я купил себе в универмаге «Пик-унд-Клоппенбург» зимнее пальто. Остатка денег хватило на мохеровую юбку асфальтового цвета, которую я приобрел у «Хорна», в элегантнейшем магазине на Курфюрстендамм, сделав это с такой естественностью, будто знал, что отныне впредь мы никогда не будем испытывать нужды. Эту юбку, ее ощутимую мягкость и покрой я хорошо помню до сих пор: так украсила Анну выручка от моих стихов.

Так могла бы начаться сказка, которую написал не я и которая не входит в сборник братьев Гримм.

Подобную сказку вполне мог бы сочинить Ганс-Христиан Андерсен: жил-был шкаф, где на плечиках висели воспоминания…

Для меня шкаф до сих пор стоит открытым, перечисляя шепотом, строфа за строфой, что хранится внизу, а что наверху, какие вещи новехоньки, а какие поношены.

Наш купленный у старьевщика шкаф был узким, одностворчатым; теперь там висела мохеровая юбка Анны. Когда шкаф открывали, он рассказывал о белых нафталиновых шариках, которые спят в карманах; шарикам снится моль, а еще им снятся «астры и другие огнеопасные цветы», «осень, которая становится платьем…».

Сказка действительно получилась, хотя неясно, кто ее сочинил: жил-был скульптор, которому иногда приходили на ум стихи, в том числе стихотворение «Открытый шкаф». За другое стихотворение он однажды получил скромную премию и на эти деньги купил своей любимой юбку, а себе — пальто. С этих пор он считал себя поэтом.

И вот продолжение сказки: поэт, а по совместительству скульптор, ваявший кур, рыб и прочую живность, сунул в карман стихи и последовал приглашению, которое значилось в телеграмме, присланной ему весной пятьдесят пятого года в подвальную квартиру полуразрушенной виллы. В одичавшем саду цвела сирень. Вечерами с соседнего озерца ветерок пригонял к открытым окнам комаров.

Телеграмму подписал некий Ганс Вернер Рихтер. Он звал молодого поэта незамедлительно прибыть на другое озеро, которое было гораздо больше соседнего и называлось Ванзее; там на «Вилле Руппенхорн» собиралась «Группа 47». Краткий текст телеграммы заканчивался распоряжением: «Захватите стихи!»

Чтобы сделать сказку более правдоподобной, добавлю, что один из членов жюри штутгартского поэтического конкурса счел меня довольно одаренным, а потому посоветовал человеку по фамилии Рихтер позвать новоиспеченного лауреата на заседание «Группы 47», но тот некоторое время промедлил с приглашением.

Поцеловал поэт свою молодую жену, которая была танцовщицей, и отправился продолжать сказку, прихватив штук семь или девять стихотворений; он доехал автобусом до указанного места, отыскал солидную «Виллу Руппенхорн», где раньше проживал один нацистский бонза; дело шло к полудню, и члены литературного объединения, основанного в сорок седьмом

году, как раз затеяли перерыв, чтобы выпить кофе; они вели друг с другом, или не слушая друг друга, умные разговоры; примерно так все могло бы выглядеть и в сказке Андерсена.

О существовании «Группы 47» и о том, что объединило этих людей, я, скульптор, считавший себя поэтом, что-то смутно знал из газет. Зато о самом сорок седьмом годе я имел весьма определенное представление по личному опыту: тогда в самую суровую из всех зим, которая никак не хотела кончаться, незастекленных рам было куда больше, чем оконных стекол в продаже; тогда я, будучи практикантом-каменотесом, начал обрабатывать долотом, бучардой и зубилом первый камень из силезского мрамора для детского надгробия, а между делом писал стихи, которые были лишь набором звонких слов и от которых не сохранилось ни строки.

В вестибюле виллы на Ванзее стояли накрытые столы, за которыми сидели дамы и господа. Они пили кофе, ели пирожные, одновременно ведя умные разговоры. Никого из собравшихся я не знал, поэтому сел, чтобы продолжить сказку, за свободный столик и, возможно, принялся размышлять о сорок седьмом годе, в начале которого дюссельдорфская Академия искусств была закрыта из-за отсутствия угля.

Официантка в передничке и чепчике, подойдя к столику, за которым сидел я, такой одинокий и задумчивый, спросила нового гостя, не принадлежит ли и он к числу поэтов. Вопрос поразил его в самое сердце.

Когда сказочный принц, не задумываясь, дал утвердительный ответ, официантка поверила ему на слово, сделала книксен и принесла чашку кофе с песочным пирожным, напоминавшим по вкусу те, что делала жена мастера-каменотеса Гёбеля. Она же держала козу Геновефу, которую весной сорок седьмого года мне приходилось таскать на веревке на выпас; вид у меня при этом был весьма дурацкий.

История с козой была похожа на сказку вроде той, что как раз начиналась, только теперь вид у меня был не дурацким, а вполне самоуверенным, словно у человека, которому терять нечего, зато выиграть он может все, чего только пожелает; это напоминало сказку Андерсена «Огниво», где отставной солдат ищет удачи.

То, что я видел и чувствовал, казалось чудесным и нереальным или же было какой-то особой реальностью. По крайней мере, некоторые из присутствующих были мне известны по именам. Я читал какие-то вещи Генриха Бёлля, хотя и не помнил, что именно. Мне нравились отдельные стихи Понтера Айха. Вольфганга Кеппена и Арно Шмидта я читал больше, но они не состояли в «Группе 47». Бёлль и Айх были на несколько

довоенных и военных лет старше, чем скульптор, который считал себя поэтом.

Чтобы дать очередной толчок к продолжению сказки, к моему столику подошел невысокий полный человек, строго взглянул на меня из-под кустистых бровей. Он поинтересовался, что я тут делаю среди литераторов, пьющих кофе и ведущих разговоры, кто я таков и откуда пришел. Позднее он признался, что новичок вызвал у него подозрение своей внешностью. Я показался ему мрачным типом, провокатором, который замышлял нечто скверное, например, срыв встречи литераторов. Лишь когда я достал пригласительную телеграмму и, разгладив, протянул ему, с его лица исчезла строгость: «Ах, это вы. Ну да. Нам не хватает одного поэта для выступления после обеда».

Человек по фамилии Рихтер, исполнявший в этой сказке роль этакого короля Дроздобородa, милостиво пригласил меня в качестве «дублера»; трудно было предположить, что вскоре он сделается литературным наставником молодого поэта; мне он сказал: когда допью кофе и закончится перерыв, выступит такой-то, за ним сама Ингеборг Бахманн, а после нее — такой-то. «Следом — напомните, как вас зовут! — ваш черед».

Кто были такой-то и такой-то, я не знал. Только про «саму Ингеборг Бахманн» я слышал что-то неопределенно хвалебное.

Он предупредил: «После выступления начнется критическое обсуждение. Так у нас заведено».

Уходя, человек по фамилии Рихтер наверняка еще раз обернулся, чтобы дать молодому поэту наказ: «Читать надо громко и внятно!»

Этому наказу я, выступая перед публикой, следовал всю жизнь. А вот мой приятель Йозеф, который в сорок седьмом году был студентом философии и догматики в семинарии Фрайзинга, когда мы ютились с ним под одной плащ-палаткой в землянке бад-айблинского лагеря, читал мне благочестивую ерунду из своей черной книжицы таким тихим, затухающим голосом, что я по ходу прежней, совсем другой сказки думал: нет, из него толка не будет…

А здесь все шло по распорядку, о котором меня предуведомил добрый сказочник Рихтер. Перед Ингеборг Бахманн читал свою прозу неизвестный мне автор, после нее выступил другой неизвестный мне автор, тоже с прозой; едва чтец закрывал последнюю страницу своей рукописи, остальные члены группы тотчас принимались критиковать услышанный текст: разбор был жестким и анатомически безжалостным, метким, хотя отдельные замечания делались совершенно невпопад.

Так тут было заведено. Уже на самой первой встрече,

состоявшейся в сорок седьмом году, отчего эта группа и получила свое название, устраивались как чтения текстов, так и их критическое обсуждение. А молодому поэту, который был тогда каменотесом-практикантом, вслух читал отец Станислаус, заведовавший библиотекой в приюте «Каритас» на Ратер-Бройх; это были стихи Георга Тракля, очень печальные, красивые и легко поддающиеся подражанию.

Один из присутствовавших критиков, которому суждено было стать персонажем нескончаемой сказки, хотя и не был Кайзером, но носил такую фамилию, а по имени звался Иоахимом. Он выглядел моим ровесником, но говорил — несмотря на провинциальный восточнопрусский акцент — как по писаному, отчего я устыдился своего косноязычия и смолчал, хотя собирался ему возразить.

Когда очень застенчивая, как мне показалось, Ингеборг Бахманн начала читать, нет, произносить почти навзрыд свои стихи — по крайней мере, в ее голосе ощущалось жалостное дрожание, — я сказал себе: если краснобай Кайзер будет нападать на трепетную Бахманн, как он это делал с предыдущим чтецом, молчать не стану; пусть косноязычно, но я приду на выручку плачущей поэтессе, тем более что в ее стихотворении «Объясни мне, любовь» прозвучала строка, похожая на просьбу о помощи: «Камень знает, чем смягчить другой камень».

Но Кайзер, которому в год создания «Группы 47» исполнилось, как и практиканту-каменотесу, ровно двадцать лет и который, пока я обтесывал известняк, учился риторике у Адорно во Франкфуртском университете и даже занимался анализом диалектики сказок, сам оказался «смягченным камнем»; он с большой похвалой отозвался о стихах Бахманн, обнаруживающих, по его словам, тяготение к крупным формам.

Нечто похожее говорил мне начитанный францисканский монах отец Станислаус, когда с торжественной настоятельностью рекомендовал мне томик стихов Тракля. Поэтому молодой поэт промолчал и открыл рот лишь тогда, когда уселся на стул рядом с человеком по фамилии Рихтер и принялся «громко и внятно», как ему было присоветовано во время перерыва, читать свои стихи участникам «Группы 47», прочитал штук семь или девять, среди них были «Открытый шкаф», «Польское знамя» и «Трижды „Отче наш“».

Продолжение сказки: жил-был молодой скульптор, который однажды впервые выступил поэтом. Сделал он это без боязни, ибо был уверен в собственных стихах, навеянных воздухом Берлина. А поскольку, послушавшись доброго совета, он читал каждую строку громко и внятно, то все, кто его слушал, сумели понять

каждое слово.

Все принялись хвалить прочитанное. Кто-то заговорил о «хищной повадке» и рискнул дать положительную оценку, которую подхватили другие критики, варьируя ее и подбирая другие сравнения. Но кто-то — похоже, это был Кайзер, которого по имени звали Иоахим, — предостерег от чрезмерных похвал. Однако даже человек по фамилии Рихтер с кустистыми бровями, сидевший рядом со стулом, на котором читал стихи молодой поэт — этот стул прозвали «электрическим», — был, казалось, доволен «свежим голосом», а потому еще раз поинтересовался именем чтеца, поскольку опять успел его забыть, но решил, что имя, а также фамилия молодого скульптора достойны запоминания; таким образом, тот, кому позднее я посвятил мою повесть «Встреча в Тельгте», вновь услышал, как меня зовут.

Когда молодой скульптор, который теперь по праву мог именовать себя поэтом, встал со стула, сказка все еще не завершилась. Его тут же окружили с полдюжины редакторов, представлявших издательства «Ханзер», «Пипер», «Зуркамп» или «С. Фишер». Они растащили семь или девять стихов, которые поэт начисто напечатал дома, в сыром подвале, на пишущей машинке «Оливетти», а поскольку он подкладывал копирку, то на руках у него имелось по два экземпляра каждого стихотворения.

Ни один из листков они не вернули, а о себе говорили исключительно во множественном числе: «Мы дадим вам о себе знать…», «Мы вскоре свяжемся с вами…», «Мы не заставим себя ждать…», отчего молодой поэт поверил, что в ближайшем будущем для его стихов настанет если уж не золотой век, то хотя бы серебряный.

Затем сказка вроде бы оборвалась, ибо ни один из редакторов, представлявших именитые издательства, не напомнил о себе. Лишь худой, как колеблемая ветром былинка, человек, назвавшийся Вальтером Хёллерером, издателем литературного журнала «Акценте», выполнил свое обещание, опубликовав несколько стихотворений.

Заслуживший недавние похвалы поэт уже вновь занялся скульптурой, пачкая руки гипсом и глиной, но тут сказка продолжилась. Редактор издательства «Лухтерханд», который посетовал, что в сутолоке после выступления молодого и неизвестного поэта его оттеснили коллеги из других издательств, более энергично работавшие локтями, вежливо поинтересовался, не связал ли я себя договорными обязательствами с издательствами «Ханзер» или «Зуркамп». Если же нет, то он, Петер Франк, готов выпустить сборник моих стихов.

О, прекрасная пора начал, которая, однако, заканчивает

безымянное существование поэта, нарушает его сокрытую невинность. «Как хорошо, когда никто не знает, что меня Румпельштильцхен называют…»

Петер Франк, тихий, всегда немного косящийся австриец, прибыл в нашу идиллическую полуразрушенную виллу, и когда я показал ему мою графику с лирическими мотивами, редактор изъявил готовность опубликовать в сборнике стихов и дюжину рисунков пером, что соответствовало моему предложению, а кроме того, он пообещал выплатить за иллюстрации отдельный гонорар, что соответствовало моему требованию. От имени издателя Эдуарда Рейфеншайда он согласился с затребованным мной авторским гонораром в размере двенадцати с половиной процентов от конечной цены за каждый проданный экземпляр; это довольно смелое требование, то есть твердая процентная ставка, послужила впоследствии основой для моего материального благополучия.

Как я был наслышан, издательство «Лухтерханд» вполне успешно занималось выпуском юридической литературы, в том числе публикуемой в виде нескрепленных листов, однако издатель решил поддержать послевоенную немецкоязычную беллетристику, а потому помог, например, появлению литературного журнала «Тексте унд Цайхен», главным редактором которого стал известный писатель Альфред Андерш. Там предполагалось напечатать несколько стихов из моего будущего сборника — «разумеется, опять-таки за отдельный гонорар». Хорошо, что моя бедная мама с ранних лет научила меня деловому отношению к финансам.

Когда позднее, чтобы подвести сказку к финалу, я подписал авторский договор, где мне гарантировалось еще и особое вознаграждение за внутреннее и внешнее оформление сборника, то в эйфорическом предвкушении скорого выхода первой книги молодого поэта я проглядел напечатанную мелким шрифтом оговорку, которая обязывала меня предложить мою следующую книгу сначала издательству «Лухтерханд».

Но можно ли было вообще думать о следующей книге? Имелось ли у меня кроме двухактной пьесы «Наводнение», одноактника «Всего десять минут до Буффало» и набросков к пьесе «Дядя, дядя» в четырех актах, которую можно было расценивать как мою дань абсурдизму, еще что-нибудь, претендующее на книгу? Или в иной постановке вопроса: позволял ли мой дебют надеяться на продолжение в обозримом будущем?

Вряд ли. Стихи я писал всегда. Я писал и уничтожал их. Я никогда не стремился опубликовать все то, что выходило у меня

из-под пера по какой-то внутренней необходимости. В юные годы я твердо верил в исполнение собственных замыслов, однако при этом хорошо понимал несовершенство моих творений.

Лишь стихи, написанные под воздействием воздуха Берлина, стали по-настоящему моими собственными, они хотели прозвучать, быть прочитанными и напечатанными. То же самое можно сказать о рисунках пером для моего первенца, книжки-брошюры под названием «Преимущества воздушных кур»; рисунки были не декоративным украшением, а графическим продолжением или предвосхищением самих стихов.

Выполненные острым пером, книжные рисунки отбирались из множества эскизов, на которых филигранно выписанные пернатые разлетались по ветру, пауки лезли в банки, саранча оккупировала город и одновременно служила пищей для пророков. Кукла косила глазом, поэтому в нее не могли попасть стрелы. На берегу лежала груда ушей, комары, достигшие человеческих размеров, становились визуальной метафорой. Из одних и тех же чернил возникали слово и зрительный образ, подчиняясь особому, вещному взгляду на окружающий мир.

Вызывая в памяти то место, где я ворожил на бумаге — подвал разрушенной войной виллы неподалеку от озера Дианазее, — я чувствую, будто без осознанных поисков нашел нечто на этой двойной колее, что соответствовало и моему эгоцентризму, и моему внутреннему смеху, отчего молодому самоуверенному автору издание его стихов и рисунков показалось событием совершенно естественным; публикация состоялась согласно реально подписанному издательскому договору, и все же это было как в сказке; впрочем, за три года было продано всего семьсот тридцать пять экземпляров.

Лишь позднее по отдельным строкам и строфам стало ясно, что в них содержалось множество сигналов, которые предвещали появление второй книги. В книге «Преимущества воздушных кур» от стихотворения «Школа теноров», где впервые опробована тема голоса, от которого лопаются стекла, до финального стихотворения «Духовая музыка», где фигурирует малыш «с треуголкой на голове из прочитанной газеты», звучат мотивы, которые намечают нечто, что пока еще скрыто за игрой красного и белого, белого и красного в стихотворении «Польское знамя».

Все это можно было бы счесть разминкой, на ту пору пока самодостаточной. Однако спустя полгода я впервые прочитал на заседании «Группы 47» свой прозаический текст под названием «Моя зеленая лужайка», привезенный из нашей поездки по Испании; тогда я не мог еще предположить, что «голая и

чувствительная» улитка, достигающая по ходу повествования монументальной величины, укажет мне путь к новой прозе; ее слизистый след очертит для меня позднее сферу политических идей и сформирует мои представления о прогрессе, которому чужда утопия «большого скачка».

Но пока еще дело не дошло даже до намеков, пробных шагов на ощупь, неосознанных прозрений, которым невозможно найти объяснение. Можно лишь предположить, что огромная масса накопившегося материала прорывалась короткими сигналами, свидетельствуя о вызревании чего-то еще окончательно не сформировавшегося, что рвется, однако, наружу.

В рисунках или прозе я с благоприобретенным артистизмом уклонялся от острых проблем, обходил, пританцовывая, зияющие пропасти, не стеснялся прибегать к увертками и обращался к темам, для которых характерен определенный застой; проза, испытывавшая на себе влияние Кафки, страдала худосочностью; язык пьес играл в прятки сам с собой, словесные эксперименты с удовольствием занимались саморазмножением.

Распыляясь творчески по мелочам, я, возможно, продолжал бы обращать на себя внимание все новыми куншткоками, выступая на заседаниях «Группы 47», если бы можно было обойти завалы, нагроможденные прошлым Германии, а следовательно, и моим собственным прошлым. Но они лежали поперек дороги. Я уперся в них. Обходных путей не было. Это прошлое состоялось, но оно оставалось для меня хаотической грудой, здесь оно напоминало лишь недавно застывшую лаву, там — давно затвердевший базальт, который покрывает собой еще более древние отложения. И все это подлежало разбору, слой за слоем, тщательной сортировке, наименованию, для чего необходимо слово. Но первую фразу я все еще не мог найти.

А теперь нужно задвинуть ящики письменного стола, повернуть картины лицом к стене, стереть магнитофонные ленты, похоронить в фотоальбомах случайные снимки, с каждым из которых я все больше старею. Надо наложить печать на кладовую с архивом, заполненным старыми рукописями и всевозможными премиальными грамотами. Следует удалить с глаз все отходы словотворчества и все, что попало на страницы книг, что покрылось пылью литературной славы, все споры, устаревшие из-за срока давности; только тогда в расчищенной памяти сможет появиться тот носящий берет или кепку молодой человек, который в пятьдесят пятом году пытается сложить первую фразу из минимального количества слов.

По воле случая он не столько покинул свое окружение,

пропахшее глиной и гипсовой пылью, сколько расширил его за счет литературных кругов. В гимнастике это называется шпагатом. На долгое время подобная поза затруднительна: не разрывался ли я?

Прежде я общался за ресторанной стойкой с художниками или скульпторами, пил с ними шнапс или пиво, а теперь меня видели просиживающим до зари среди литераторов за бутылкой вина.

Раньше я выслушивал очередные тирады Люда Шрибера о сущем и бытии, об ушедших Птолемеях и их архаическом величии; теперь у меня в ушах звучали голоса писателей-ровесников. Меня изумляла словесная эквилибристика Ханса-Магнуса Энценсбергера. Меня завораживал риторический шквал Мартина Вальзера.

Правда, мой учитель Карл Хартунг присвоил мне росчерком пера звание мастера-ученика, однако большую часть времени я проводил в нашей подвальной квартире полуразрушенной виллы неподалеку от Дианазее, где моя прерывисто стучащая «Оливетти» заглатывала один за другим листы бумаги формата DIN-A4, но оставалась ненасытной.

Танцор на двух свадьбах. Можно привести немало примеров, которые свидетельствовали о моем внутреннем разладе; эти метания не складываются в отчетливый образ, я не вижу себя тогдашнего целиком, только разрозненные фрагменты. На одном из фотоснимков я сижу возле удлиненной бронзовой фигуры, похожей на птицу, а мое стихотворение в прозе, продукт литературно-бумажного творчества, имеет такие строки: «Пять птиц. Их детство: быть столбиком, отбрасывать тень, нравиться каждой собаке, подлежать счету…»

Анна продолжала хранить приверженность прыжкам и пируэтам, даже покинув святилище Мэри Вигман и перейдя к Татьяне Гсовски; иными словами, она ушла из босоногого экспрессивного танца, от которого нещадно болели ступни, ради пытки классическим балетом.

На следующий год — это было уже не в Берлине — я написал для журнала Хёллерера «Акценте» эссе под названием «Балерина», которое стало местами демонстративным, а местами завуалированным объяснением в любви; там, сравнив блеск и нищету обоих танцевальных стилей, я отдал собственное предпочтение марионеткам Клейста, глупым и большим, в человеческий рост, куклам Кокошки, а также трехцветным фигурам Оскара Шлеммера.

После сырой холодной зимы Анна начала прихварывать. Идиллический подвал, где хорошо жить вдвоем, если бы лето

было подольше, дал о себе знать последствиями для почек и мочевого пузыря. Плесень на наружной стене. Затхлый запах. Неплотные рамы. К тому же чадила печка, дымоход которой выходил через стену на улицу.

Я настаивал на переезде. Анне хотелось остаться. Когда накануне пятьдесят шестого, но еще до конца пятьдесят пятого года мы наняли маленький грузовичок, чтобы перевезти нашу мебель, одностворчатый шкаф и двуспальный матрас, она все еще никак не могла расстаться с видом из окна на заросший сад, на соседнюю разрушенную виллу и на бесплатные закаты; так прочно обосновалась она на этом месте.

Когда с запада к нам проникали косые лучи солнечного света, они мели половицы, поэтому можно сказать, что при переезде с Кёнигсаллее на Уландштрассе мы оставили нашу квартиру чисто выметенной.

А потом, а затем? Потом случилось то, затем это. Но еще раньше, в ноябре пятьдесят пятого, до переезда в центр Западного Берлина, где мы смогли по-настоящему почувствовать себя жителями большого города, на календаре появилась дата моей первой персональной выставки, о которой немного позже написали газеты…

Но уж если перечислять все, то пришлось бы заносить в итоговый реестр и то, что не вписывается ни в какие реестры. Впрочем, подобный реестр уже заведен другими, там указаны точные даты и место происшествий, соблюдена хронологическая последовательность событий моей жизни. Например: «С 19 октября по 8 ноября штутгартская галерея „Луц унд Майер“ на Некарштрассе устроила выставку рисунков и скульптур молодого, талантливого…»

Да, так все и продолжалось. С той поры все уже зафиксировано, датировано, упорядочено в виде печатного текста и оценивается школьными отметками. Мой дебют считали многообещающим, о моих пьесах говорили, что они бедны действием, стихи называли вымороченными и эксцентричными, прозу — безжалостной и еще какой-то; позднее мое вмешательство в политику показалось слишком шумным, а итог всему подвел список моей живности: в раннем периоде — преимущества кур, в позднем — траектория краба, разветвленное родословное древо собаки, живой палтус и его обглоданные кости, кошка охотится на мышь, приснившаяся мне крысиха, жерлянка, которая вроде меня, накликает беду, и, наконец, улитка — она догнала нас, обошла и ускользнула вперед…

Как предсказала мне на кофейной гуще женщина,

приходившая из Восточного Берлина убирать нашу шмаргендорфскую квартиру: я начал делать себе имя. Похоже, годы ученья, положенные по уставу ремесленного цеха, уже миновали, и только годам странствий пока не видно было конца.

Поздним летом пятьдесят шестого года мы с Анной покинули Берлин. В багаже находился мой свадебный подарок — пишущая машинка «Оливетти». Наличности с собой было немного, зато сонм образов роился у меня в голове; в Париже я принялся искать ту первую, по необходимости короткую фразу, которая взорвала бы плотину, чтобы высвободить застоявшуюся лавину слов. Анну же продолжали мучить экзерсисы классического балета. В классе мадам Нора на Пляс Пигаль она хотела чистенько крутить фуэте и твердо стоять на пуантах.

В Париже мы жили неподалеку от Рю-Алибер возле канала Сен-Мартен, где снимался один из самых любимых наших кинофильмов «Северный отель» с Арлетти и Луи Жуве. Нашу убогую берлинскую мебель — одностворчатый шкаф и двуспальный матрас — мы продали, поэтому искали квартиру, не обремененные лишним скарбом.

Париж, сообразно августу, пустовал. Между шлюзами на канале Сен-Мартен, у одного из по-разному изогнутых мостов, я написал скамейку — примерно там же, где усаживает своих героев Гюстав Флобер едва ли не в первой фразе своего романа «Бувар и Пекюше». Потом мы перебрались в другой округ Парижа, на Рю-де-Шатильон, где непродолжительное время стерегли квартиру одного швейцарского скульптора. Анна еще из Берлина попыталась через одну знакомую танцовщицу устроиться в труппу Blue Bell Girls, но ее ноги оказались то ли слишком короткими, то ли недостаточно длинными для этого популярного парижского ревю.

Поначалу я не мог обрести в Париже душевного покоя, поскольку мы были заняты поисками квартиры, к тому же я подыскивал фразу, которая отверзла, распахнула бы все шлюзы. А может, уже сейчас, отвлекаясь на поиски квартиры, я печатал на «Оливетти» мой гимн-эссе «Балерина»?

Во всех газетах и предместьях Парижа бушевала Алжирская война, но для меня все никак не могла завершиться та, что началась в Данциге, когда оборона Польской почты оборвала мое детство. Однако первая фраза все еще не находилась.

Наконец, отец Анны купил нам на Авеню-д'Итали пристройку на заднем дворе; мы занимали две соединенные узким коридором верхние комнатки, к которым примыкали крошечная кухонька и ванная комната с сидячей ванной. Под нами жил рабочий с женой

и ребенком. Все окна глядели во двор, стесненный мастерскими мелких ремесленников.

В полуподвальной котельной я сразу же оборудовал себе мастерскую, куда поставил конторку, вращающийся скульптурный станок и где разложил начатые в Берлине рукописи: пьесу «Злые повара» в пяти актах и несколько прозаических набросков, которые, несмотря на перемену местожительства, все еще не знали, куда им двигаться дальше. Девочку, которую в квартире под нами регулярно лупила жена рабочего, звали Шанталь; я написал об этом стихотворение под названием «Пунктуальность».

Недавно вместе с моей дочерью Хеленой, которая заявила о себе как об актрисе, я выступал перед девятью сотнями германистов, съехавшихся на свой конгресс в Париж со всех стран мира; мы показывали им нашу программу «Волшебный рог мальчика» на музыку Штефана Майера; тогда же у меня выдалось время заглянуть на Авеню-д'Итали, 111. Задний двор, освободившись от мастерских ремесленников, выглядел весьма симпатично, поскольку был со вкусом озеленен. В бывшей котельной до сих пор стоит моя конторка, за которой я столько раз записывал вроде бы найденную первую фразу.

В Париже мы с Анной услышали дошедшую издалека весть о том, что в Западном и Восточном Берлине один за другим скончались Готфрид Бенн и Бертольд Брехт, оставив сиротами своих многочисленных эпигонов. Я посвятил обоим стихотворную эпитафию.

А пока в Париже рвались пластиковыми бомбами отголоски Алжирской войны, а в парижских кинотеатрах мы видели хроникальные кадры с советскими танками на улицах Будапешта, напоминавшие нам о танках, увиденных нами несколько лет назад на Потсдамской площади Берлина, я, разглядывая протекшую, вечно сырую стену моей мастерской, которая служила одновременно бойлерной для обогрева наших двух комнат, нашел наконец ту самую первую фразу: «Признаюсь: я — пациент специального лечебного учреждения..»

В Париже мы забыли Берлин.

В Париже Пауль Целан и я стали друзьями.

В Париже после того, как была найдена первая фраза, я писал одну главу за другой.

В Париже сохли скульптуры, с каркасов крошками осыпалась глина.

В Париже нам постоянно не хватало денег.

Поэтому мне приходилось отправляться из Парижа в Западную Германию, чтобы на радиостанциях Кёльна,

Франкфурта, Штутгарта или Саарбрюкена продавать за наличные по нескольку стихотворений для ночных радиопрограмм; вырученных денег хватало на очередные три месяца, чтобы покупать свежие, прямо с рынка, сардины, бараньи ребрышки, бобы, ежедневный багет белого хлеба и бумагу для пишущей машинки.

Но как удалось мне стать неистощимым словотворцем в Париже?

В семьдесят третьем году я предпринял «опыт письменного самоотчета» под названием «Возвращение к „Жестяному барабану“, или Автор как сомнительный свидетель». Там рассказывается о нашей жизни в Париже, а на вопрос о побудительных мотивах для долгой работы над романом дается такой ответ: «Наиболее отчетливым побудительным мотивом стало, пожалуй, мое мещанское происхождение: атмосфера косности, оборванная учеба в гимназии — я остался девятиклассником — обернулись манией величия, которая выразилась в желании явить миру нечто грандиозное».

Были и другие побудительные мотивы, но, во всяком случае, с тех пор как, разглядывая в Париже протекавшую стену, я придумал первую фразу, поток слов у меня не иссякал. Писательство с утра до ночи давалось мне легко. Слова и образы теснились, наступали друг другу на пятки, слишком многое хотелось учуять, попробовать на вкус, увидеть, назвать по имени. И пока в разных кафе парижского тринадцатого округа или в моей бойлерной я записывал главу за главой, а потом печатал их на «Оливетти», одновременно поддерживая дружеские отношения с Паулем Целаном, который рассказывал о себе, неизъяснимом, в стихах, ибо о своих страданиях он мог поведать только высоким слогом, будто при зажженных канделябрах, близнецы Франц и Рауль сделали нас с Анной родителями, чему никоим образом нельзя было научиться ни в Берлине, ни в Париже.

Близнецы орали порознь или вместе, а новоиспеченный отец, которому стукнуло тридцать, отрастил усы, вследствие чего за последующие годы возникло множество автопортретов, нарисованных карандашом, выгравированных на меди, отпечатанных с литографского солнхоферского камня: я, усатый и с улиточным домиком в глазу; я и приснившаяся мне крыса; я в кепке и жаба; я, усатый, прячусь за кактусом; и, наконец, я с половинкой луковицы и ножом.

Усы были в Париже вполне обычны. В Париже мы купили подержанную детскую коляску, куда помещали нашу двойню. Немногочисленные парижские друзья дивились тому, что Анна и я, будто в неотрепетированной пьесе, неожиданно взяли на себя

роль родителей. А Пауль Целан, который лишь на несколько часов мог утихомирить свою меланхолию, ободрял меня, когда в работе над рукописью у меня, несмотря на протечки в стене, наступал затор из-за двух маленьких горлопанов.

Вскоре после рождения близнецов Конрад Аденауэр получил абсолютное большинство на выборах в бундестаг, отчего Германия, особенно при взгляде из Парижа, совсем почернела и стала похожей на рецидивиста, которого тянет на старое.

В перерывах работы над рукописью я рисовал монахинь, преимущественно из ордена святого Винцента, ибо их ширококрылые чепцы стояли у меня перед глазами со смерти моей бедной мамы в кёльнском госпитале Святого Винцента, а теперь я рисовал их в парижском метро или Люксембургском саду. И там же возле карусели, о которой писал Рильке, мне иногда удавалось вытащить Пауля Целана из того замкнутого круга, где ему казалось, что его преследуют, и откуда не видел выхода.

В Париже, когда Франц и Рауль научились ходить, мы купили деревянный детский манеж, а в августе поехали с нашими почти годовалыми близнецами в Швейцарию, где я на фоне подрагивающих от знойного тессинского марева гор пичкал мою «Оливетти» новыми главами, в которых снег ложился на снег, а Балтика все еще покоилась под сплошным ледяным покровом.

Вернувшись в Париж, Анна продолжала танцевать под строгим присмотром мадам Нора, а я писал, вполуха прислушиваясь к близнецам. Иногда к нам заезжал Вальтер Хёллерер; отсюда он рассылал по всему миру почтовые открытки, исчерканные лиловыми чернилами; Анне он купил платье, которое мы называли «хёллереровским».

Из Парижа я поехал весной пятьдесят восьмого года через Варшаву в Гданьск, чтобы отыскать там следы утраченного города. Сидя в уцелевшей городской библиотеке, я видел себя, четырнадцатилетнего, сидящего в городской библиотеке. Я делал все больше и больше находок, разыскал, например, мою кашубскую двоюродную тетку, которой я, сильно повзрослевший, показался таким чужим, что пришлось предъявлять ей мой паспорт. У нее пахло простоквашей и грибами. У нее мне пришло в голову столько, сколько не вместила бы одна книга.

С запасом находок я возвратился из польского вояжа в Париж: порошок для шипучки, шумная суета на Страстную пятницу, стойки для выколачивания ковров, маршрут, по которому бежал уцелевший при обороне Польской почты разносчик денежных переводов, моя дорога в школу и обратно, сохранившиеся в городской библиотеке годовые подшивки газет,

программа кинотеатров с фильмами, которые шли осенью тридцать девятого года. А еще шепот в исповедальне, надписи на надгробиях, ароматы Балтики и кусочки янтаря, которые можно было найти вдоль кромки прибоя на берегу между Брёзеном и Глеткау.

Так все было сказано и в то же время сохранило свежесть, будто находилось под стеклянным колпаком для сыра. Я выработался, но остался неистощим, продолжал писать собственноручно, но временами чувствовал себя послушным инструментом собственных персонажей, особенного одного, которого — не знаю почему — звали Оскаром. Я вообще вряд ли могу объяснить, как у меня что-то рождалось или рождается, а если мне и приходится давать объяснения, то они вряд ли правдивы…

В октябре того же года я приехал через Мюнхен в баварскую или швабскую деревушку, которая называется Гроссхольцлёйте, чтобы прочитать там собравшимся членам «Группы 47» главы «Просторная юбка» и «Фортуна Норд», в результате чего «Группа 47» присудила свою премию автору романа, который к тому времени был почти завершен. Издатели тут же устроили складчину для премии, набралось четыре тысячи пятьсот марок — мой первый большой гонорар, давший мне возможность еще раз спокойно перепечатать всю рукопись на моей «Оливетти», так сказать, набело.

Кроме того, на премиальные деньги был приобретен изящный по дизайну проигрыватель, прозванный «гробом для Белоснежки»; я купил его после того, как впервые прочитал в Мюнхене на радио отрывки из романа, и привез этот проигрыватель в Париж, где мы теперь часто слушали «Весну священную» Стравинского и «Синюю птицу» Бартока.

В Париже мы с Анной танцевали, тесно прижавшись друг к другу и свободно. В Париже к власти пришел де Голль, а я научился остерегаться дубинок французской полиции. В Париже я стал больше интересоваться политикой. В Париже протечки на стене способствовали проникновению в мои легкие бацилл туберкулеза, от которого я излечился уже только в Берлине. В Париже на Авеню-д'Итали близнецы разбежались от меня в разные стороны, и я не знал, кого догонять первым. В Париже ничем нельзя было помочь Паулю Целану. В Париже вскоре уже нельзя было больше оставаться.

Осенью пятьдесят девятого года, когда вышел первый тираж «Жестяного барабана», мы с Анной приехали из Парижа на Франкфуртскую книжную ярмарку, где протанцевали всю ночь до самого утра.

Спустя год мы покинули Париж и опять поселились, теперь уже с детьми, в полуразрушенном берлинском доме; здесь, на Карлсбадер-штрассе, где из пяти комнат мне отвели одну, я сразу же опять принялся рисовать и писать, ибо еще в Париже с помощью подаренной на свадьбу «Оливетти» приступил к работе над новым замыслом…

С тех пор я живу от страницы к странице, между одной книгой и другой. При этом остаюсь полон образов. Но рассказывать об этом не хватит ни луковиц, ни охоты.

Феномен Грасса
Послесловие переводчика

О недавнем скандале, связанном с именем Гюнтера Грасса, наверняка слышали многие. За ним следили информационные агентства, о нем извещали новостные программы российского радио и телевидения, писала российская пресса, судачили форумы и блоги российского интернета. Нередко встречались публикации, где журналисты, дабы прибавить сенсационной остроты материалу и заинтриговать публику, допускали перехлесты, а то и шли на откровенную ложь. Вместе с тем почти ничего не говорилось о событии, с которого все началось. Этим событием стала новая книга Грасса, художественная проза автобиографического характера, однако всю книгу, еще до ее выхода в продажу, к читателям, инициаторы скандала свели к одному-единственному эпизоду, представив дело так, будто всемирно известный писатель накануне своего 80-летия решился признаться в постыдном факте собственной биографии, который, дескать, замалчивался на протяжении всей его сознательной жизни и который требует теперь радикального пересмотра и его творчества, и подлинности его гражданской позиции, и его общественной репутации.

Скандалы приобретают особенно широкий размах, когда они в значительной мере поляризуют либо элиту, либо все общество в целом и когда они затрагивают нечто очень существенное для элиты и общества. Все это имеет прямое отношение к феномену Гюнтера Грасса. Но прежде чем обратиться к нему, напомним хронику разыгравшегося скандала.

Скандальная хроника

В пятницу 11 августа в 17 часов 13 минут немецкое информагентство SID (Служба спортивной информации) поместило под рубрикой «Разное» краткое сообщение: «Лауреат Нобелевской премии по литературе Гюнтер Грасс признался в беседе с газетой „Франкфуртер альгемайне цайтунг“ (субботний выпуск), что являлся членом войск СС». Следом на сайте этой газеты появилась редакционная статья и фрагменты из упомянутой беседы, предваряющие большую публикацию субботнего выпуска — интервью с Гюнтером Грассом под сенсационным заголовком «Почему я прерываю мое молчание

через шестьдесят лет».[1] Так начался оглушительный скандал, эхо которого разнеслось по всему миру.

Речь в этом интервью шла о новой книге Грасса «Луковица памяти»,[2] которая носит характер художественных мемуаров и охватывает период с 1 сентября 1939 года, когда началась мировая война, до 1959 года, когда вышел в свет роман Грасса «Жестяной барабан». Но эти два десятилетия юности, человеческого и творческого становления писателя свелись в газетном материале к одному сенсационному факту — «служба в войсках СС».

При этом слухи о новой книге Грасса ходили довольно давно. Он работал над ней три года. На Франкфуртской ярмарке 2005 года издательство «Штайдль» уже намекало на ее скорое появление и на то, что это будет нечто вроде автобиографии. На самом деле к этому времени рукопись уже была у Хельмута Фрилингхауза, литературного редактора Грасса. К весне 2007 года редактура была практически завершена, и 17 марта, на юбилейном торжестве по случаю 80-летия Зигфрида Ленца, издатель Герхард Штайдль договорился с редакторами «FAZ» («Франкфуртер альгемайне цайтунг») о том, что газета получит эксклюзивную возможность представить новую книгу, дав отрывки из нее, развернутое интервью с автором, архивные фотографии и авторские иллюстрации (ведь Грасс с давних пор сам оформляет собственные книги, да и вообще литературное творчество неразрывно связано для него с изобразительным искусством).

В середине июля состоялась запись интервью. Собеседниками Грасса были Франк Ширрмахер, издатель «Франкфуртер альгемайне цайтунг», и редактор отдела литературы Хуберт Шпигель. Премьера книги намечалась на 1 сентября 2006 года, и газетная публикация должна была анонсировать эту премьеру. Примерно в это же время издательство, по заведенной в Германии традиции, начало рассылать гранки и так называемые экземпляры для прессы, чтобы литературные критики, редакции газет и журналов, телевизионных каналов и радиостанций могли заранее познакомиться с новинкой и подготовиться к премьере. Было разослано около четырехсот экземпляров. Это не так уж много. Бывает, что количество «предварительных экземпляров» доходит до нескольких тысяч. Вокруг них разыгрываются внутренние интриги, идет соперничество за то, кто получит право рецензировать книгу, особенно когда речь идет о потенциальном бестселлере, а таковым становится любое произведение Грасса. Весьма рано получил такой экземпляр, например, Ульрих Виккерт, самый популярный ведущий новостных программ

немецкого телевидения. Книга произвела на него сильное впечатление, поэтому он договорился с Грассом, что посвятит ей специальную телевизионную передачу, приуроченную к премьере «Луковицы памяти». Следует заметить, что, высылая «предварительные экземпляры», издательство требует не разглашать содержание книги до указанного срока. То же самое относится к книжным магазинам, которые заранее получают заказанные части тиража, но начинают продажи только в установленный день премьеры.

Словом, с середины июля о самом факте «службы Грасса в войсках СС» знали многие — например, тот же Ульрих Виккерт, — но никто не спешил делать из него сенсацию. Ни один журналист не обратился в издательство или к самому писателю с вопросом, с просьбой разъяснить или уточнить что-либо по поводу эпизода, который вызвал позднее столь шумный, затяжной и широкий скандал. Ответ напрашивается сам собой. Одни не читали книгу, поскольку до премьеры имелся запас времени. Другие прочли книгу целиком, а в ее контексте рассказанный Грассом военный эпизод собственной биографии воспринимался совсем не как скандальная сенсация с разоблачением.

В комментарии Франка Ширрмахера к опубликованному в «FAZ» интервью с Грассом прозвучал ключевой вопрос последующей дискуссии: почему Грасс на протяжении шестидесяти лет скрывал свою принадлежность к войскам СС?

Но можно ли утверждать, что он злонамеренно утаивал от всех этот факт? Начнем все-таки с того, что Грасс заговорил о прошлом по собственной воле, никто его не принуждал. К тому же в армейских архивах хранились соответствующие документы. Доступ к ним никогда не закрывался, биографам, историкам, литературоведам, журналистам достаточно было просто обратиться к ним, что и сделал 13 лет тому назад в ходе рутинных процедур некий представитель пенсионного ведомства. Впрочем, федеральный уполномоченный по охране персональных данных заявил, что для знакомства с архивными документами Грасса требуется разрешение писателя, который тут же официально открыл их для публичного ознакомления.

Далее, как выяснилось, о службе в войсках СС Грасс рассказывал в частных разговорах с коллегами. Австрийский писатель Роберт Шиндель определенно помнит это и называет свидетелей.[3]

Что же касается эволюции своих взглядов, то Грасс никогда не делал из них секрета. Состоял в детской и юношеской нацистских организациях. Был одурманен национал-

социалистическим воспитанием и пропагандой. Собственно, ничем не отличался от большинства немецких сверстников. Не задавал лишних вопросов о происходящем вокруг, а точнее, не задавался ими. Правду о преступлениях фашизма и их чудовищных масштабах осмыслял с трудом. Начатки политического сознания формировались под воздействием тех острых идейных споров, которые Грасс слышал, когда после плена работал на шахте. С течением времени стал убежденным антифашистом и социал-демократом, активно включился в политическую и общественную жизнь.

Второй вопрос, сразу же прозвучавший в комментарии Ширрмахера: почему «признание» состоялось именно сейчас? Ведь были же, дескать, многочисленные другие возможности или даже настоятельная необходимость проинформировать общественность по случаю того или иного аналогичного события, когда происходило очередное разоблачение или разыгрывался новый скандал, связанный с преодолением нацистского прошлого. Но ведь позиция Грасса в этом отношении всегда была совершенно недвусмысленна. Он последовательно осуждал тех, кто защищал свое нацистское прошлое, недостаточно решительно отказывался от него, релятивировал преступления фашизма или умалял собственную ответственность. Эти требования он неизменно предъявлял и самому себе, не признавая срока давности даже сейчас, по прошествии шестидесяти лет. Подозрения, будто Грасс хотел опередить события, поскольку в противном случае всплыли бы компрометирующие его документы из архивов Штази, попросту нелепы. «Дело» Грасса из этих архивов известно давно, он специальным личным письмом открыл его для исследователей.

За несколько дней скандал вокруг Грасса достиг невероятного размаха, а ведь книга к этому времени еще не поступила в продажу, даже рецензии на нее разрешалось публиковать только через две недели, поэтому издательство «Штайдль» приняло решение отменить ограничительный срок, назначенный на 1 сентября. За первую же неделю продаж разошелся весь стартовый тираж в количестве 150 тысяч экземпляров,[4] а вскоре были распроданы и следующие 100 тысяч. Это породило новую нелепую версию, будто скандал инсценирован специально для раскрутки новой книги. Ульрих Виккерт также перенес свою телевизионную презентацию «Луковицы памяти» на более ранний срок. Его передача — еще одно интервью с Грассом — вызвала ажиотажный интерес, который повлек за собою новую волну публикаций, теперь уже с развернутыми рецензиями на книгу. Эта волна хлынула далеко за

пределы Германии.[5] В Польше полемика вокруг Грасса приобрела особенно острый характер из-за ее политизации и требований, чтобы писателя лишили звания почетного гражданина его родного города Гданьска (Данцига). К этому требованию присоединился Лех Валенса, который пригрозил, что в противном случае сам откажется от звания почетного гражданина.[6] Прозвучали обращения к Нобелевскому комитету с призывом лишить Грасса присужденной премии, чего, собственно, комитет раньше никогда не делал.

Наконец, на книгу начали откликаться солидные рецензенты и литературные критики ведущих немецких газет. Они, как всегда, расходились во мнениях по отношению к Грассу. Обращали на себя внимание наиболее высокие оценки. Так уже упоминавшийся Хуберт Шпигель, литературный редактор «FAZ», написал: «Луковица памяти» — не автобиография, это роман о жизни Гюнтера Грасса. Это его величайшая и важнейшая книга со времен «Данцигской трилогии».[7]

На фоне всех этих событий публика с немалым нетерпением ожидала объявленной презентации книги в знаменитом брехтовском театре «Берлинский ансамбль», где 4 сентября Грассу предстояла личная встреча со своими многочисленными читателями. Презентация затевалась в виде традиционного «Голубого дивана», когда тот или иной известный писатель не только представляет свою новинку, читая фрагменты из нее, но и отвечает на вопросы ведущего, который обязан в интересах слушателей не слишком щадить выступающего. Грасс не обманул ожиданий. Театральный зал, рассчитанный на 750 мест, был переполнен, но не вместил всех желающих, поэтому в фойе был вынесен экран, на который шла трансляция со сцены. Второй канал немецкого телевидения ZDF показал целиком всю почти двухчасовую передачу.[8] На следующий день Грасс встретился с еще большим количеством публики во Франкфуртском оперном театре. Здесь, как и в Берлине, писателя принимали более чем благосклонно. С этого времени острота дискуссий явно пошла на убыль, но интерес к книге, судя по темпам продаж, продолжал оставаться высоким — она являлась бесспорным лидером в еженедельных списках бестселлеров.

Как он «учился страху»

У братьев Гримм есть «Сказка о том, кто ходил страху учиться». Грасс как бы и отсылает к ней читателей названием небольшой четвертой главы «Как я страху учился», которая

повествует о том, что ему пришлось пережить в последние месяцы войны. Страницы именно этой главы и стали поводом для скандала. Приведем здесь краткую реконструкцию фактического материала, привлекая не только эту главу, но и другие источники.

Еще в пятнадцатилетнем возрасте, то есть в 1943 году, Грасс из мальчишески глупого желания погеройствовать решил пойти добровольцем в подводники. Подводником его не взяли по малолетству, но заявлению, видимо, дали какой-то ход, поэтому, когда подошел нормальный призывной срок, он получил повестку.

Тут Грасс ссылается на пробелы памяти. Он не может вспомнить, какой была повестка, явствовало ли из нее, что его призывают в войска СС или это выяснилось уже на призывном пункте. Это дало повод усомниться в искренности писателя. Дескать, обычно даже в войска СС, не говоря уж о «черных СС», брали не просто добровольцев, требовалось еще и согласие родителей, даже рекомендация директора школы. Публицист Клаус-Райнер Рёль, который некогда издавал леворадикальный журнал «Конкрет» и был женат на Ульрике Майнхоф, учился в той же данцигской школе, что и Грасс. Был почти его ровесником. По его словам, повестку из войск СС нельзя было не узнать.

К тому же все боялись попасть туда, поскольку было известно, что солдаты из войск СС пленных не берут, зато и их самих расстреливают на месте. Рёль рассказал собственную историю. Он и еще несколько его ровесников получили запечатанный пакет, а к нему командировочное предписание явиться на сборный пункт в другой город. Уже на месте они догадались, что со сборного пункта их отправят в войска СС, вскрыли пакет и убедились в верности своей догадки. Пакет уничтожили, на сборном пункте соврали, будто потеряли его при бомбежке, и таким образом оказались в обычных армейских частях.[9]

Но ведь этот рассказ косвенным образом подтверждает то, что в последние месяцы войны войска СС набирали не только добровольцев, а призывники порой только на сборном пункте узнавали о своей судьбе.

Так или иначе, по словам Грасса, в сентябре 1944 года он был направлен в учебное подразделение войск СС. Похоже, память его подвела: документально зафиксированная дата его поступления в 3-е учебно-резервное подразделение — 11 ноября 1944 года. В конце февраля 1945 года он был приведен к присяге. Военная специальность: заряжающий танкового орудия. Из того времени, что шло обучение, Грасс несколько недель симулировал желтуху,

хотел избежать муштры. Сама принадлежность к войскам СС его, по все той же мальчишеской глупости, не смущала. Эти части казались ему армейской элитой, которую бросают на самые трудные участки, и только.

Затем Грасс попадает в разные подразделения 10-й танковой дивизии войск С С «Фрундсберг», которые наспех формировались и переформировывались, чтобы прикрыть участок фронта между населенными пунктами Мускау и Форст на левой стороне Нейсе, где войска Первого Украинского фронта под командованием маршала Конева готовили прорыв, начинавший грандиозную Берлинскую операцию. Первые трупы Грасс увидел еще на марше. Это были немецкие солдаты, висевшие на придорожных деревьях или на уличных столбах с табличками «дезертир».

Точной даты первого «огневого соприкосновения с противником» Грасс не помнит, называет только середину апреля, но, видимо, это было шестнадцатого числа, когда советские войска пошли в наступление. Всего несколько залпов «катюш» по леску, где расположилась рота, за три минуты выкосили половину личного состава. Подразделение Грасса было рассеяно, сама дивизия «Фрундсберг» вскоре попала в окружение. Грасс несколько раз оказывался на волосок от смерти. Этот кошмар, запомнившийся на всю жизнь, длился всего дня четыре.

Двадцатого апреля, в последний день рождения Гитлера, Грасс получил при орудийном обстреле два осколочных ранения. Ему сильно повезло, ранения были не слишком тяжелыми, но его увезли с передовой в тыловой госпиталь. А остатки дивизии «Фрундсберг», второй раз попавшие в окружение под Кошау, были почти полностью уничтожены вместе со множеством уходивших с ними гражданских лиц. Словом, Грассу удалось выжить самому, а еще посчастливилось не сделать ни единого выстрела.

Из госпиталя в Мариенбаде Грасс угодил 8 мая 1945 года прямиком в американский плен. В архивах сохранились некоторые документы о его пребывании как в госпитале, так и в американском лагере для военнопленных, где он был зарегистрирован под номером 31G6078785. Ни сам Грасс, ни его биографы, ни дотошливые журналисты к архивам не обращались, хотя, повторяем, доступ с ним был открыт, а если требовалось разрешение Грасса, то он такому доступу не препятствовал.

Кстати, в документе из госпитального архива Грасс числится обычным рядовым, а не «стрелком СС», как это полагалось делать по отношению к чинам войск СС, но ведь записи должны были делаться не со слов, а по солдатской книжке и личному жетону. В личных же данных американского документа он значится рядовым дивизии войск СС «Фрундсберг». В лагере для

военнопленных баварского Бад-Айблинга Грасс пробыл до 24 апреля 1946 года. При выходе он получил 107 долларов 20 центов за 134 дня работы.

Так завершилась военная эпопея «эсэсовца» Гюнтера Грасса. Осознание военных преступлений, их бесчеловечности и огромных масштабов, той роли, которую играли в этих преступлениях не только «черные СС», но и фронтовые войска СС, а также вермахт, пришло гораздо позднее, а с ним — чувство вины и стыда, не оставившие писателя до сих пор.

Грасс — № 1

Кто из ныне живущих немцев пользуется наибольшим авторитетом среди соотечественников? Чье суждение привлекает к себе всеобщий интерес? Кого цитируют чаще других? Ответам на эти вопросы посвятил свою недавнюю книгу «Лидеры общественного мнения, мыслители и провидцы» журналист Макс Хёфер.[10] А написать ее Хёфера, видимо, надоумила все та же «Франкфуртер альгемайне цайтунг», опубликовавшая в январе 2002 года рейтинговый список ста ведущих немецких интеллектуалов.[11] Список сопровождался шутливыми комментариями, чтобы рейтинг не воспринимался слишком уж всерьез, хотя все-таки он претендовал на некоторую объективность, так как за основу распределения мест бралось, в частности, количество упоминаний соответствующих персоналий в интернете.

Первая десятка рейтинга выглядела так:

1) Гюнтер Грасс, писатель (18 297);[12]

2) Юрген Хабермас, философ (14 781);

3) Рудольф Аугштайн, публицист, издатель журнала «Шпигель» (11 238);

4) Йозеф Ратцингер, на ту пору еще кардинал (10 446);

5) Петер Хандке, писатель (9 103);

6) Ханс-Магнус Энценсбергер, писатель (8 606);

7) Ульрих Бек, социолог (7 708);

8) Криста Вольф, писатель (7 646);

9) Мартин Вальзер, писатель (7 181);

10) Марсель Райх-Райницкий, литературный критик (6 534).

В этом списке обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, абсолютное преобладание тех, кто профессионально связан с литературой или журналистикой.[13] А во-вторых, значительный отрыв, с которым Гюнтер Грасс опередил остальных. Кстати, на следующий год газета, посчитав

новые данные, актуализировала рейтинговый список, и Грасс опять занял в нем самую верхнюю строчку.

Макс Хёфер решил подойти к рейтингу немецких интеллектуалов более основательно. За основу брались три критерия. Первым критерием служила частота упоминаний в электронных архивах крупнейших немецкоязычных газет и журналов. Такие архивы обычно хранят все опубликованные материалы за последние восемь — десять лет. В этих источниках Грасс набрал наибольшее количество упоминаний, а именно около шести тысяч.

Вторым критерием была частота упоминаний в немецкой версии «Google», поскольку там отражается деятельность не только прессы, но и всех современных средств массовой информации — от телевидения, радио и новостных агентств до общественных организаций, музеев, галерей и т. п. А еще немаловажным фактором Хёфер счел показатель влиятельности того или иного лидера общественного мнения внутри самой публичной элиты. Здесь лидирующая роль вновь выпала Грассу, который упоминается в 131-й биографии, хранящейся в крупнейшем частном информационном архиве Мунцингера.

Наконец, ежемесячный «журнал политической культуры» «Cicero» опубликовал уже весной 2006 года новый рейтинговый список из пятисот имен,[14] подтвердивший, что Грасс остается № 1 в немецкой публичной элите, опережая других писателей, публицистов, не говоря уж об интеллектуалах-политиках или ученых.

Подобные попытки составить рейтинг интеллектуалов вызывают к себе не только весьма ревнивое, но и оправданно скептическое отношение. Здесь не место открывать дискуссию на этот счет, интереснее поговорить о том, что подразумевает немецкое понятие «интеллектуал». Пока же отметим, что высокая популярность Грасса подтверждается вполне солидными социологическими учреждениями, каковым является, например, Демоскопический институт Алленсбаха. Согласно его опросам, проведенным в 2005 году, Грасс считается «самым значительным» немецким писателем послевоенного поколения.[15]

Писатель как интеллектуал

Не вдаваясь в обсуждение различия национальных трактовок понятия «интеллектуал»,[16] заметим, что в немецкой традиции именно писатель служит образцом подлинного интеллектуала.[17] Здесь интеллектуал — фигура, прежде всего, публичная. Он

призван инициировать общественные дискуссии, вести их или хотя бы принимать в них активное участие. Интеллектуал обращается к массовой аудитории, чтобы привлечь внимание к той или иной проблеме, которая обычно вызывает споры, носит характер острого конфликта, поэтому интеллектуал неизбежно поляризует общественное мнение, ища поддержку у сторонников и опровергая оппонентов. Для этого интеллектуалу необходимо обладать мастерством публичного красноречия, владеть искусством аргументации и эмоционального воздействия, наличие которых и предполагается у писателя.

Широкая публичная дискуссия сама по себе становится в современном обществе фактором политическим, следовательно, и фигура интеллектуала приобретает в этом смысле политическое содержание, но от политика и даже от общественного деятеля независимый интеллектуал отличается тем, что он не имеет ни мандата от избирателей или своей политической партии, ни легитимных полномочий от той или иной организации гражданского общества. Он выступает исключительно от своего имени, от себя лично и может опереться лишь на силу собственного авторитета.

Более того, независимость интеллектуала, свобода его суждений должна иметь соответствующую материальную основу. Как раз в этом отношении писатель-интеллектуал отличается от профессиональной интеллигенции, находящейся на службе у государства или частного капитала. Писатель является, по существу, индивидуальным предпринимателем, человеком свободной профессии, но его нельзя считать профессионалом в строгом смысле этого слова, так как писательская деятельность не предполагает ни образовательного ценза, ни обязательных квалификационных свидетельств, ни лицензионного допуска к профессии, она не подлежит какой-либо регламентации, не подчиняется гласным или негласным правилам, которые устанавливаются для других профессиональных корпораций.

К тому же интеллектуальная компетентность писателя выглядит совершенно иначе, чем компетентность эксперта и специалиста. Писателя-интеллектуала можно назвать воинствующим дилетантом, призванным задавать вроде бы простые и даже наивные вопросы, адресуя их экспертам и специалистам и привлекая порой общественное внимание к конкретным, частным случаям, усматривая в них проявление крупномасштабных, даже глобальных проблем.

Если суждение эксперта претендует на объективность, а истинность этого суждения имеет строгие, научные критерии проверки, если рекомендации специалиста оцениваются их

практическим результатом и эффективностью, то в выступлении писателя-интеллектуала важное, даже ключевое значение имеет субъективный, личностный элемент, общественная репутация, которые определяют доверие к сказанному слову.

Все это имеет самое непосредственное отношение к Грассу. Что касается образования, то он — во многом самоучка. Подобно Томасу Манну, Герману Гессе или Бёллю, он «университетов не кончал». У Грасса вообще были проблемы со школой, он оставался на второй год, аттестата зрелости не получил, зато позднее удостоился от многих университетов и академий звания почетного профессора и академика, да и сам возглавлял в качестве президента Берлинскую академию искусств. Это не мешало ему, начиная с 60-х годов, выступать с программными заявлениями, скажем, по образовательной реформе, по ключевым вопросам внешней и внутренней политики, по глобальным темам, таким, как экология или помощь развивающимся странам, причем, чтобы выслушать его мнение, Грасса приглашали авторитетнейшие мировые форумы, вроде «Римского клуба», конференции влиятельных профессиональных сообществ (например, учителей), партийные съезды.

Интеллектуальная биография Грасса читается как послевоенная история общественного диалога в Германии, как летопись ее важнейших публичных дискуссий, многие из которых инициировал Гюнтер Грасс, причем «запалом» для подобных дискуссий могла послужить как его публицистика, так и новый роман.

О полемическом размахе свидетельствует, например, пятисотстраничная книга, посвященная спорам вокруг грассовского романа «Долгий разговор» («Ein weites Feld», 1995). Ее авторы собрали и проанализировали более десяти тысяч (!) появившихся практически лишь за год сообщений телеграфных агентств, газетных и журнальных статей, записей теле- и радиопередач, предметом которых являлась книга Грасса, ее автор, полемика с ним или высказывания в его поддержку.[18] Мне самому довелось в то время находиться в Германии, общаться с Грассом, присутствовать на его чтениях. Запомнилось выступление Грасса в театре Гёттингена, заполненном до отказа. Запомнилось явственное ощущение, что публика собралась не только для того, чтобы поглазеть на скандального автора. Тон задавали слушатели, несомненно прочитавшие толстенный и сложный роман, охватывающий полтора столетия немецкой истории.

Впрочем, Грасс умеет общаться и с другой аудиторией, будь то партийный съезд социал-демократов, как это было еще в 1968

году в Нюрнберге, где Грасс выступил с одним из основных докладов, или недавний футбольный стадион, на который пришли — чтобы послушать Грасса — вовсе не ценители и знатоки литературы, а самые настоящие футбольные болельщики. В ходе избирательных кампаний, особенно в 1965 и 1969 годах, Грасс объехал сотни (!) городов, устраивая многолюдные встречи с избирателями. Случалось, его забрасывали яйцами и помидорами, но Грасс предпочитал ехать именно туда, где его ждали не единомышленники, а противники, которых было необходимо переубедить или хотя бы склонить к размышлению. Настойчивость, риторический дар и полемический задор приносили в конце концов если уж не победу над оппонентом, то его уважение, но главное — продвигали само обсуждение насущных проблем или, еще раз повторяя слова Канта, содействовали «публичному употреблению разума».

Казалось бы, уж кого-кого, а нас не удивишь ни встречей литератора с трудовыми коллективами, ни выступлением писателя на партийном съезде под бурные аплодисменты зала, но вот только Грасс сам организовывал свое участие в избирательных кампаниях, делал это по своей инициативе и за собственный счет. Больше того, например, в 1965 году он брал входную плату с пришедших на встречу с ним, так что два турне и пятьдесят два выступления в переполненных залах не только окупились, но и принесли доход, который пошел на закупку книг и создание библиотек в пяти подразделениях бундесвера, комплектацию которых он поручил своему другу, писателю Уве Йонсону. Будучи независимым от партийного финансирования, Грасс проявлял полную самостоятельность и относительно содержания своих выступлений, из-за чего социал-демократические функционеры не всегда могли сообразить, как расценивать ангажированность Грасса. В какой-то мере это касалось и взаимоотношений между Грассом и Вилли Брандтом, который предложил писателю дружеское «ты», прибегал к его помощи,[19] но не рискнул доверить ему какой-либо политической должности, хотя в свое время писатель Голо Ман даже предлагал выдвинуть Грасса кандидатом на пост обербургомистра Западного Берлина.

Грасс оставил заметный след не только в истории современной литературы, но и в общественно-политической жизни Германии. По его предложению и при самом непосредственном, деятельном участии в конце 60-х возникли инициативные организации избирателей (Wählerinitiativen), которые привели к развитию разнообразных гражданских движений и формированию партии «Зеленых». Идеи просвещения,

идеи воспитания и самовоспитания человека, художника, гражданина — сквозные мотивы всего творчества и всей общественной деятельности Гюнтера Грасса.

Четвертое время

«Что будет вчера, то было и завтра». Этой фразой начинается повесть Грасса «Встреча в Тельгте». Для его прозы характерно взаимное проникновение друг в друга разных пластов времени. Жгучая злободневность пронизана прошлым и насыщена будущим. А можно сказать, что прошлое остается остроактуальным или что нынешний день предопределен нашим отношением к будущему.

Сам временной диапазон эпической прозы Грасса чрезвычайно широк. Наиболее показательны в этом смысле его романы «Палтус» и «Крысиха». Действие последнего вообще начинается с мезозойской эры, охватывает всю историю человечества и заглядывает в постчеловеческую эпоху. При этом события не развиваются в хронологической последовательности. Однако речь не идет о привычных приемах ретроспекции или антиципации. Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно, непосредственно взаимодействуя друг с другом.

В повести «Головорожденные, или Немцы вымирают» Грасс вводит понятие «четвертого времени», для которого придумывает неологизм Vergegenkunft. Этот неологизм является слагаемым из частей немецких слов Vergangenheit (прошлое), Gegenwart (настоящее) и Zukunft (будущее). Получается что-то вроде «пронастодущее».

Поясняя свою мысль, Грасс в беседе с Зигфридом Ленцем сказал: «Настоящее (Gegenwart) — понятие весьма проблематичное. Даже начало нашей беседы уже стало прошлым. Нет ничего более преходящего, чем настоящее, ничего более мимолетного. Оно ускользает, словно миг, и не оставляет свободы действий. У настоящего мало простора. Поэтому в последнее время я предпочитаю, вроде бы играя, но в общем-то вполне серьезно, работать с понятием Vergegenkunft. Это четвертое время, которое позволяет преодолеть наши школьные разграничения прошлое—настоящее—будущее, запустить их параллельно или приблизить к себе, особенно будущее. Такая возможность есть и может быть — по крайней мере в книгах — предложена читателям, которые, как и автор, не хотят смириться с редукцией нашей действительности».[20]

Говоря о «четвертом времени», Грасс не имеет в виду всего

лишь литературный прием, когда реальные события развиваются естественным образом, а повествование то забегает вперед, то оглядывается назад. «Четвертое время» наряду с творческим воображением, индивидуальной и коллективной памятью, наитием, прозорливостью, предвидением представляются ему неотъемлемым свойством самой действительности.

«Четвертое время», объединяя прошлое, настоящее и будущее, воображение и реальность, не умещается в пределах одной, отдельно взятой книги Грасса, оно распространяется на циклы его произведений, на все его творчество, как и на всю его творческую биографию, общественную деятельность и частную жизнь. Отсюда странствия его персонажей, вымышленных и реальных, из книги в книгу, из художественной прозы в публицистику и бытовую повседневность[21] и обратно. Так Оскар Мацерат, главный герой «Жестяного барабана», становится центральной фигурой романа «Крысиха». Здесь ему исполняется шестьдесят лет, то есть после событий, завершавших «Жестяной барабан», минуло три десятилетия. Если тогда он умел возвращать своим барабаном прошлое, то теперь, сделавшись продюсером видеопроектов и владельцем фирмы «Post-Futurum», он может снять фильм, который до мельчайших подробностей воспроизводит будущее, что и происходит с торжеством по случаю сто седьмого дня рождения его бабки Анны Коляйчек, также хорошо известной по роману «Жестяной барабан». На день рождения собирается вся ее многочисленная кашубская родня, так что не зря «Крысиху» называли «суммой» всех прежних произведений Грасса.

«Крысиху» действительно нельзя читать без всей предшествующей прозы Грасса. То есть, конечно, можно, ибо каждая его книга вполне самостоятельна, но все-таки тогда будут прочитаны только верхние слои и не удастся уловить развитие сквозных тем, проследить судьбы общих персонажей, историю единого места действия, которым прежде всего является Данциг-Гданьск, а в «Палтусе» эта история исчисляется тысячелетиями и продолжается в «Крысихе», уходя в постчеловеческую эру.

Однако справедливо и обратное. Любая последующая книга Грасса заставляет вернуться к предшествующим. «Крысиха», продолжая биографию Оскара Мацерата, дает новое прочтение «Жестяного барабана». Эта особенность творчества Грасса во многом объясняет его отношение к переводам и переводчикам своих книг. Примечательно его желание обновить переводы «Жестяного барабана», хотя прежние переводы на основные языки — английский, французский и т. д. — до сих пор остаются весьма

популярными, авторы этих переводов признаны выдающимися мастерами своего дела, их работа удостоена всяческих литературных премий и иных наград. Ситуация приобрела конфликтный характер. Издателям в США или Франции, Испании или Италии не хочется отказываться от старого перевода, который стал едва ли не каноническим, они опасаются ненужной конкуренции между старым и новым переводом. Грасс же настаивает, протестует против нерешительности издателей, и в конце концов добивается того, что в 2009 году, к пятидесятилетию «Жестяного барабана», появятся либо совершенно новые, либо значительно переработанные переводы этого романа.

Сказанное выше имеет прямое касательство к «Луковице памяти». Формально автобиография ограничена хронологическими рамками двадцатилетия между началом Второй мировой войны и 1959 годом, когда вышел в свет «Жестяной барабан». Но на самом деле книга насыщена множеством эпизодов биографического или исторического характера, которые относятся к последующим десятилетиям и даже к самому недавнему времени. А кроме того, в ней присутствуют отсылки ко всем без исключения прозаическим книгам Грасса, к его пьесам, ко множеству его стихов, к ряду публицистических выступлений, не говоря уж о работах в сфере изобразительного искусства — скульптурах, графике, акварелях. Часто Грасс обходится лишь намеками, словно исходит из того, что его литературные произведения, причастность к конкретным событиям общественной жизни достаточно хорошо известны читателю.

В общем-то так оно и есть. Аудитория у Грасса не только велика, но и отличается постоянством внимания к писателю. Старшее поколение хорошо знает его книги, а у младшего есть возможность обратиться к любому из его произведений. Для немецкой публики это разумеется само собой, но и, например, в США, где Грасс чрезвычайно популярен, переведена вся его художественная проза, все пьесы, стихи, огромное количество публицистических статей. Грасс неоднократно встречался с американскими читателями, так что у них, как и у французских, голландских, датских, финских или испанских читателей, особых проблем с «Луковицей памяти» быть не должно. А вот у российского читателя могут возникнуть некоторые затруднения, так как даже крупные эпические произведения Грасса — «Палтус», «Крысиха», «Долгий разговор», не говоря уж о пьесах, стихах, публицистике — еще ждут своего перевода.

Встречи Грасса с зарубежными переводчиками его новых произведений предусмотрены договором писателя с издателем, который их и финансирует. Это требует немалых расходов, но Штайдль демонстрирует на простых расчетах, что издательству это выгодно, так как, во-первых, затраты с лихвой окупаются продажей прав на переводные издания (здесь также срабатывает принцип «снежного кома»: чем больше переводов, тем шире мировая известность автора, что оборачивается желанием еще большего количества стран переводить и издавать его), а во-вторых, можно почти не тратиться на литературных агентов, поскольку хороший переводчик, завязавший прочные личные отношения со всемирно известным автором и завладевший — обычно после конкурентной борьбы и своего рода естественного отбора — монополией на его переводы в собственной стране, справляется с пропагандистскими задачами не хуже любого профессионального литературного агента, которому приходится обслуживать сразу нескольких авторов.

Встреча Грасса с переводчиками длится несколько дней. Переводчики приезжают на нее, предварительно ознакомившись с новым произведением. Причем издательство, редакторы и секретари Грасса готовят для них разнообразные рабочие материалы. В случае с романом «Долгий разговор» это были карты и фотографии тех мест, где происходят события, справочный перечень реалий, отсылки к явным и скрытым цитатам и множество других вещей, которые переводчик далеко не всегда может найти сам. Для Грасса характерно наличие сквозных мотивов и персонажей, которые переходят из книги в книгу. Это обстоятельство также учитывается при составлении рабочих материалов. Словом, переводчик получает уникальную возможность сформулировать собственные вопросы, чтобы задать их непосредственно автору.

Затем происходит совместное чтение новой книги. Грассу достает терпения прочитать ее от начала до конца, страницу за страницей, абзац за абзацем, фразу за фразой, что сопровождается вопросами и ответами, разъяснениями, «лирическими отступлениями». Какие-то фрагменты он зачитывает вслух, чтобы переводчики уловили ритм и интонацию текста (ведь он и пишет свои книги, проговаривая каждую фразу). Здесь же присутствуют сотрудники Грасса, представители издательства. Но ведь и каждый переводчик — знаток произведений Грасса. При этом датчанина может заботить проблема, которая еще не пришла в голову испанцу, или

наоборот. Попутно происходит обмен мнениями относительно наиболее трудных мест, обсуждаются варианты, испрашивается отношение к ним автора.

В мае 2005 года Грасс собрал в Данциге (Гданьске) своих переводчиков, чтобы обновить перевод «Жестяного барабана». Хотя некоторые из переводов этого романа выполнены выдающимися мастерами своего дела, но прошли десятки лет со времени выхода в свет английского, французского или испанского издания. Что-то в этих переводах неизбежно устарело, а что-то понадобилось переосмыслить из-за уже упоминавшихся сквозных тем, мотивов, реалий и персонажей. На сей раз Грасс водил переводчиков по своему родному городу, рассказывал о себе. Кстати, при встрече с переводчиками, многие из которых поддерживают личные дружеские отношения с Грассом, важна не только непосредственная работа над текстом, но и вечерние, застольные или прогулочные беседы.

По результатам каждой из рабочих встреч составляется специальный протокол, в котором фиксируются все заданные вопросы и полученные ответы, а также просьбы о дополнительных разъяснениях. Такой свежий протокол относительно «Жестяного барабана» насчитывает более полутора тысяч позиций, хотя, казалось бы, роман давно изучен литературоведами вдоль и поперек, подробно проанализирован и прокомментирован исследователями в бесчисленном множестве научных работ, диссертаций. Сам же опыт работы переводчиков с Грассом живо описан ими в недавней книге «Палтус говорит на многих языках». [22]

Луковица памяти

Но вернемся к конфликту вокруг новой книги Грасса.

Собственно говоря, эпизод с призывом семнадцатилетнего подростка в войска СС вполне зауряден. Подобные истории с одногодками Грасса на исходе войны, когда их все реже спрашивали, в какие части они хотели бы пойти, и все чаще расстреливали — за нежелание воевать, за испуг, дезертирство или просто за то, что отбился от своих, — исчислялись десятками тысяч. Да, несколько дней, проведенных Грассом на передовой, врезались в память, а главное — породили у него «неотступное чувство, что выжил лишь случайно». [23]

Только все же новая книга совсем не об этом. Она посвящена поиску ответов на два вопроса. Первый из них преследовал писателя на протяжении всей его творческой, духовной жизни, что нашло отражение в каждой из его книг и сохраняет

актуальность по нынешний день: каким образом Германия, давшая миру великих просветителей и гуманистов, сформировавшая классическую систему школьного образования и педагогики, которая считалась одной из лучших в мире, пришла к национал-социализму, чьи идеи до сих пор продолжают находить сторонников среди молодых немцев?

Есть и второй вопрос. Что повернуло жизнь мальчика из провинциальной семьи мелких лавочников? Судьбу обычного данцигского подростка, который не поражал окружающих выдающимися способностями, учился так себе, оставался на второй год и даже изгонялся из школы, а получить аттестат зрелости так и не успел — помешала война. Казалось бы, все препятствовало тому, чтобы он стал художником и писателем, — мещанское происхождение, далеко не интеллектуальное окружение, тяготы военного времени и ранних послевоенных лет. «Когда б вы знали, из какого сора…» Но что-то или кто-то вдохнули же в него тягу к искусству, творческую искру, гражданское чувство, взялась же откуда-то энергия, необходимая для самореализации. Вот над чем размышляет писатель в «Луковице памяти» — книге, которую Грасс предварил строкой: «Посвящается всем, у кого я учился».

К идее написать мемуары Грасс долго относился весьма скептически, да и получилась у него не документальная автобиография, а художественное произведение, где, как и в самой жизни, фантазия, вера, заблуждение, надежда, ожидание или предчувствие оказываются гораздо сильнее реальности, особенно если речь идет о воспоминаниях, позднейшем осмыслении того, что некогда произошло. Есть, например, в книге эпизод, когда Грасс исполняет джазовую композицию вместе с великим Сачмо. Грасс и впрямь играл когда-то в маленьком джазовом оркестре, был, так сказать, перкуссионистом, использовал в качестве музыкального инструмента стиральную доску и наперстки. Вместе с двумя друзьями он выступал в дюссельдорфском ресторанчике. Однажды туда заглянул Луи Армстронг, находившийся на гастролях. Темпераментное трио настолько завело его, что он попросил принести из машины трубу и присоединился к нему. По словам бывшего партнера Грасса, игравшего на банджо, все это придумано, но вполне могло бы состояться, поэтому пусть уж считается правдой. Сам же Грасс рассказывал об этом случае своему биографу совершенно всерьез, так он и вошел в солидную книгу Михаила Юргса «Гражданин Грасс».[24]

Есть в «Луковице памяти» и другой эпизод, когда Грасс бросает кости со своим приятелем по американскому лагерю для

военнопленных. Играют на то, кому выпадет стать великим церковным иерархом, а кому — знаменитым писателем. Выиграл нынешний папа Йозеф Ратцингер. Журналисты, прочитав эти страницы книги, обратились за разъяснениями в Ватикан. Там благоразумно отказались от комментариев. А что же Грасс? Через двенадцать лет к нему и впрямь пришла мировая слава. Но это уже другая история.

Юбилей

Салман Рушди, которого связывают с Гюнтером Грассом дружеские отношения, однажды не без ехидства заметил, что когда немецкие журналисты приходят брать у него интервью, они непременно заводят разговор о нобелевском лауреате: «Неужели вы и впрямь считаете Грасса великим писателем? Да, „Жестяной барабан“ — шедевр. Но что дальше?..» А затем всегда следует просьба рассказать о последней встрече Рушди с Грассом, причем журналистов живо интересуют любые подробности и мельчайшие детали: как выглядел Грасс, что сказал, о ком отозвался критически, кого похвалил…

Грасс для Германии — это, говоря словами Пастернака, «новость, которая всегда нова». Буквально нет недели, чтобы немецкая пресса, радио и телевидение не сообщили читателям, слушателям и зрителям об очередном выступлении писателя, об участии в том или ином общественном мероприятии, гражданской инициативе и даже просто о его публичном высказывании. Причем каждое такое сообщение немедленно обрастает множеством комментариев, нередко полярного свойства. Немецкая публика крайне неравнодушна к Грассу. Его сторонников и противников объединяет одно — повышенное внимание к творчеству и общественной деятельности этого писателя.

Пожалуй, ни один юбилей последнего времени не отмечался в Германии с таким размахом, как недавнее восьмидесятилетие Гюнтера Грасса. Особенно активно в торжествах участвовали четыре города. Гданьск, прежний Данциг, где 16 октября 1927 года родился нобелевский лауреат, организовал многодневную программу, в ходе которой состоялась международная конференция, посвященная его творчеству, и большая выставка скульптурных и графических работ Грасса. Юбиляр сам приехал в свой родной город, где среди прочих чествователей его поздравляли Лех Валенса и бывший президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер.

Затем эстафету подхватил Гамбург, где Академия искусств также устроила художественную выставку работ Грасса, а его друзья — среди них Зигфрид Ленц — выступили с чтением отрывков из произведений юбиляра.

Гёттинген, где находится издательство «Штайдль», выпускающее книги Грасса, отметил юбилей писателя грандиозным вечером, на котором присутствовало две с половиной тысячи гостей, среди них — прежний канцлер Герхард Шрёдер и действующий председатель бундестага Вольфганг Тирзе. В городе не нашлось зала, который сумел бы вместить такое количество гостей, поэтому вечер состоялся в бывшем железнодорожном депо, специально переоборудованном по случаю юбилея. Впрочем, сам вечер телевидение транслировало «живьем», да еще повторяло программу на следующий день. Немецкие радио- и телевизионные каналы вообще отнеслись к юбилею Грасса с беспрецедентным вниманием. Скажем, все радиостанции АРД провели накануне юбилея совместную четырехчасовую передачу под названием «Оптимистичный Сизиф», которая рассказывала о литературном творчестве Грасса, об основных вехах его творческой биографии, о его общественной деятельности. Телевидение продемонстрировало несколько художественных фильмов по произведениям Грасса и документальных фильмов, посвященных писателю, в том числе — новый полуторачасовой фильм под знаменательным названием «Неудобный».

Наконец, в Любеке, где теперь живет Гюнтер Грасс, прошло официальное празднество, на котором юбиляра лично поздравил действующий президент ФРГ Хорст Кёлер. В своей поздравительной речи президент не мог обойти автобиографическую книгу Грасса «Луковица памяти», публикация которой вызвала огромный резонанс не только в Германии, но и за пределами страны.[25] Однако, говоря об этом, президент Кёлер особо подчеркнул, что «Луковица памяти» является свидетельством того, с какой жаждой нового, жаждой искусства и волей к творчеству начинало свою послевоенную жизнь поколение сверстников Грасса.[26] Как отметил Кёлер, Грассу снова и снова удавалось добиваться того, чтобы об его книгах спорили, чтобы литература и литературная жизнь играли важную общественную роль.

У нас же, повторяю, до сих пор изданы далеко не все романы Грасса, не говоря уж об его публицистике. А ведь попытка осмыслить сложный и противоречивый феномен Грасса помогла бы глубже понять послевоенное развитие Германии, историю, как теперь говорится, «общественного дискурса», в котором эта

фигура сыграла самую значительную роль. Это нужно не только для того, чтобы пристальнее присмотреться к немецкому опыту преодоления двух вариантов тоталитарного прошлого, но и для того, чтобы мы смогли лучше разобраться в самих себе.

notes

Примечания

1

Warum ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche. Eine deutsche Jugend: Günter Grass spricht zum ersten Mal über sein Erinnerungsbuch und seine Mitgliedschaft in der Waffen SS. — FAZ, 12. August 2006.

2

Günter Grass. Beim Häuten der Zwiebel. Göttingen: Steidl, 2006.

3

Правда, Шиндель не может указать точную дату и место, но ему кажется, что один из разговоров происходил на встрече писателей «Группы 47» 25 мая 1990 года под Прагой, куда их пригласил новоизбранный президент Вацлав Гавел. Если это действительно так, то примечателен контекст разговора. Злободневной темой была тогда люстрация бывших сотрудников спецслужб, а спустя несколько дней разразился скандал, связанный с сотрудничеством Кристы Вольф со Штази. Среди главных «обвинителей» выступил Франк Ширрмахер из «FAZ», а Гюнтер Грасс взял Кристу Вольф под защиту.

4

Для сравнения можно указать, что предшествующий бестселлер Грасса «Траектория краба» стартовал тиражом в 50 тысяч экземпляров, а к настоящему времени продано более 400 тысяч.

5

В России появилось более двухсот публикаций на эту тему, главные телевизионные каналы посвящали ей специальные новостные сюжеты. Радиостанция «Эхо Москвы» устроила часовую передачу, целиком повторив беседу Грасса с Ульрихом Виккертом в синхронном переводе.

6

Польские дискуссии о Грассе заслуживают отдельного разговора. Заметим лишь, что состоялся обмен письмами между писателем и главой муниципалитета Гданьска, что завершилось урегулированием конфликта.

7

Hubert Spiegel. Ist die schwarze Köchin da? — FAZ, 26. August 2006.

8

Запись передачи была помещена и в интернете.

9

Welt am Sonntag, 20. September 2006.

10

Max A. Höfer. Meinungsführer, Denker, Visionäre. Wer sie sind, was sie denken, wie sie wirken. Frankfurt am Main: Verlag Eichborn, 2005.

11

В свою очередь, «FAZ» повторила на немецком материале эксперимент известного американского юриста и публициста Ричарда Познера, выпустившего годом раньше вызвавшую довольно шумный интерес книгу с рейтингом интеллектуалов: Richard Posner. Public Intellectuals: A Study of Decline. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

В скобках указывается количество упоминаний.

То же самое можно сказать и обо всей рейтинговой «сотне», а ведь она отбиралась из представителей разных сфер публичной деятельности.

14

Das große Cicero-Ranking 2006 — Die 500 Intellektuellen Deutschlands. — Cicero, April 2006.

Allensbacher Berichte, № 14, 2005.

16

Ср.: Кристоф Шарль. Интеллектуалы во Франции. М.: Новое издательство, 2005.

Georg Jäger. Schriftsteller als Intellektuelle http://www.iasl.uni-muenchen.de/discuss/lisforen/intell.htm

Oskar Negt (Hg.). Der Fall Fonty. «Ein weites Feld» von Günter Grass im Spiegel der Kritik. Göttingen: Steidl, 1996.

19

Грасс помогал спичрайтерам Вилли Брандта. Именно Грассу приписывают авторство знаменитой фразы Брандта: «Mehr Demokratie waagen!» («Отважиться на расширение демократии!»). Участвовал он и в написании Нобелевской речи Вилли Брандта.

20

Phantasie als Existenznotwendigkeit — in: Günter Grass. Werkausgabe in zehn Bänden. Bd. 10 Gespräche. Neuwied: Luchterband, 1987. S. 261–262.

Именно так следует понимать, например, «застолья» Грасса с реальными историческими персонажами прошлых веков, для которых он — искусный повар, даже награжденный призами за кулинарное мастерство, — готовит особые блюда, или его беседы со своими литературными героями.

Helmut Frielinghaus (Hg.). Der Butt spricht viele Sprachen. Grass-Übersetzer erzählen. Göttingen: Steidl, 2002.

23

«Das konstante Gefühl, zufällig überlebt zu haben» — Günter Grass im Gespräch mit Volker Neuhaus. In: Günter Grass. Der Autor als fragwürdiger Zeuge. München: dtv, 1997.

Michael Jürgs. Bürger Grass. Biografie eines deutschen Dichters. München: C. Bertelsmann, 2002.

25

К этому времени издательство «Штайдль» выпустило документальный сборник, который подводил итоги широкой дискуссии о книге «Луковица памяти». Эта дискуссия ознаменовалась прямо-таки фантастическим количеством — «многие десятки тысяч» (!) — публикаций, выступлений, рецензий, восторженных и критических отзывов и т. д. См.: Martin Köbel (Hrsg). Ein Buch, ein Bekenntnis. Die Debatte um Günter Grass' «Beim Häuten der Zwiebel». Göttingen: Steidl, 2007 (S. 357).

http://eng. bundespraesident.de/-,2.641475/Laudatio-von-Bundespraesident-.htm